

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

VII

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1958

СОДЕРЖАНИЕ

П. И в и ч (Нови Сад). Основные пути развития сербохорватского вокализма	3
П. Я. С к о р и к (Ленинград). К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков	21

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Материалы к IV Международному съезду славистов	36
П. С. К у з н е ц о в (Москва). О дифференциальных признаках фонем . . .	55
А. Г р а у р (Бухарест). Структурализм и марксистская лингвистика . . .	62

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. С. Т р у б е ц к о й. Мысли об индоевропейской проблеме	65
--	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

М. Ш. Ш и р а л и е в (Баку). О диалектной основе азербайджанского национального литературного языка	78
Н. И. Д у к е л ь с к и й (Ленинград). Метод пересадки звуков речи в фонетике	85
Д. Э. И б а р р а Г р а с с о (Боливия). Иероглифическая письменность индейцев Андского нагорья	97
В. З. П а н ф и л о в (Ленинград). Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний (К проблеме слова)	105
В. Г. А д м о н и (Ленинград). Завершенность конструкции как явление синтаксической формы	111
В. И. А б а е в (Москва). Из истории слов. I	117
А. Г. Л ы к о в (Краснодар). Некоторые особенности суффикса лица -чик(-чик)	122
З. Я. Ф у т е р м а н (Киев). К вопросу о возвратных и усилительных местоимениях и о так называемых «возвратных глаголах» в современном английском языке	125
Л. Р. З и н д е р (Ленинград). Несколько слов о значении сопоставительной фонетики	127

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Л. С. Б а р х у д а р о в и Г. В. К о л ш а н с к и й (Москва). К вопросу о возможностях машинного перевода	129
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О. Н. Т р у б а ч е в (Москва). <i>K. Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků</i>	134
А. С. П о с в я н с к а я (Москва). <i>Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Splawiński, S. Urbańczyk. Gramatyka historyczna języka polskiego</i>	137
О. Б. Т к а ч е н к о (Киев). <i>Pochodzenie polskiego języka literackiego</i> . . .	141
А. Б. П р а в д и н (Тарту). <i>H. Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Tl. I</i>	146
И. Г. Д о б р о д о м о в (Москва). <i>Є. В. Кротевиц, Н. С. Родзевич. Словник лінгвістичних термінів</i>	148
В. П. Т и т о в а (Черновцы). Курс де лимбэ молдовеняскэ литэратэ контемпоранэ	151
Б. И. Н а д е л ь (Ленинград). <i>V. Pisani. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino</i>	156
Р. Г. П и о т р о в с к и й (Кишинев). <i>F. N. Politzer and R. L. Politzer. Romance trends in 7th and 8th century Latin documents</i>	159
Н. Д. А н д р е е в (Ленинград). <i>P. С. Гуляресский и В. С. Гриснин. Языки мира</i>	161
М. Н. П е т е р с о н и В. В. В е р т о г р а д о в а (Москва). <i>В. А. Кочергина. Начальный курс санскрита</i>	162
Р. М. Ф р у м к и н а (Москва). <i>J. Marouzeau. Notre langue. Enquêtes et récréations philologiques</i>	163
Г. А. М е н о в щ и к о в (Ленинград). <i>A. Thibert. English-Eskimo, Eskimo-English dictionary</i>	164

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Э. В. С е в о р т я н (Москва). На восьмом съезде Общества турецкого языка	166
Н. З. Г а д ж и е в а (Москва). Координационное совещание по вопросам грамматики языков народов СССР	169
В. А. У с п е н с к и й (Москва). Совещание по статистике речи	170
Ц. М л а д е н о в и К. К о с т о в (София). О диалектологическом атласе болгарского языка	173
Хроникальные заметки	174
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	176

П. ИВИЧ

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕРБОХОРВАТСКОГО ВОКАЛИЗМА

§ 1. В настоящем очерке мы попытаемся осветить в основных чертах пути развития сербохорватской системы вокализма. Исходя из того, что она собой представляла в конце праславянской эпохи, и затем проследившая ее отражение в памятниках письменности, мы дойдем до рассмотрения ее в современных говорах. При этом главное внимание будет сосредоточено на числе дифференцированных единиц (фонем) и на их взаимоотношениях, в особенности на дифференциальных признаках (важнейших фонологических свойствах, определяющих различие между фонемами или рядами фонем).

Для осуществления поставленной задачи придется по-новому осветить материал, почерпнутый из памятников письменности и диалектов. Дело в том, что все имеющиеся описания памятников и диалектов, как правило, рассматривают фонетический инвентарь текстов или народных говоров в виде суммы отдельных фактов, а не как систему. В частности, при изучении языка памятника обычно в центре внимания исследователя находятся графемы, или судьба праславянских звуков, а не та звуковая система, на которой базируется текст. Поэтому в ряде случаев мы будем принуждены пересмотреть существующую интерпретацию языковых особенностей памятника. Точно так же придется в имеющихся описаниях народных говоров отделить то, что является фонемой, от того, что представляет собой ее позиционный вариант.

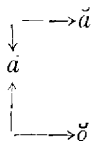
Краткость изложения вынуждает нас придать очерку характер сводки — изложить лишь основные пути развития, отказавшись от полноты освещения вопроса и рассмотрения отдельных частных моментов и примеров¹.

Упрощение унаследованной системы вокализма

§ 2. Ясны и бесспорны причины тех перемен, которые, особенно в начальный период развития отдельных славянских языков, коренным образом изменили систему вокализма каждого из них. Вокализм раннего периода праславянской эпохи отличался чрезвычайной сложностью, асимметричностью и прежде всего наличием в общем очень большого числа дифференцирующих признаков. Дифференцирующую функцию имели противопоставления гласных низкого и высокого подъема (например, $o \sim u$), затем переднего и заднего ряда (например, $\text{ь} \sim \text{ѣ}$), нелабиализованных и лабиализованных (например, $y \sim u$), полного образования и редуцированных (большинство гласных $\text{ь} \sim \text{ѣ}$ и ь), ртовых и носовых (большинство гласных $\text{ь} \sim \text{ѣ}$ и ь). К этому следует прибавить и богато развитую систему

¹ Все-таки даже далеко не полный анализ системы вокализма сербохорватских говоров выявляет значительно большее разнообразие типов и оттенков, чем это было принято считать.

просодических противопоставлений, так как язык был политоническим с разноместным ударением. Наконец, развитие количественных отношений в конце праславянской эпохи и в начальный период отдельной жизни славянских языков довело эту сложность и перегруженность до предела. После периода, в котором, например, *ǫ* противопоставлялось *ā*, при сокращении долгот в известных позициях появилось отношение:



Вскоре затем удлинение $\check{o} > \bar{o}$, например в случаях типа *bǫgъ > bōg* во многих славянских языках, в частности и в сербохорватском, создало четырехчленное отношение типа $\bar{a} \sim \check{a} \sim \bar{o} \sim \check{o}$. Таким образом, перегруженность системы гласных удвоилась: вместо прежнего положения, когда каждый гласный мог быть только долгим или только кратким, создалось такое положение, когда все гласные могли быть и долгими и краткими. Количество дифференцированных гласных (иначе говоря, число комбинаций существующих гласных с возможной их акцентировкой) колоссально возросло. Если же принять во внимание еще и *г* и *л*, то можно утверждать, что их число на сербохорватской почве несомненно было больше сорока и приближалось к цифре пятьдесят.

Конечно, и эта перестройка системы гласных давно известна в науке, но мы были вынуждены на ней остановиться, так как она оказалась импульсом для последующих изменений. Принцип экономии фонологических дифференцирующих средств начал действовать с большой силой.

§ 3. Одновременно с появлением долгот в примерах типа *bog* или несколько позже в сербохорватском языке утерялись противопоставления по редуцированности и по носовому признаку, противопоставления же по месту артикуляции (гласные переднего и заднего ряда) в полной мере или частично слились с противопоставлениями по признаку участия губ (по лабиализованности). Это конкретно означало, что:

1) редуцированные гласные в некоторых позициях утратились, а в некоторых перестали быть редуцированными, что обнаруживается в их способности принимать на себя количественные противопоставления (ср. случаи, например, *dān* и *drānci*, где *ā* является рефлексом редуцированного, получившего долготу);

2) носовые гласные утратили свой носовой признак¹;

3) *ы* и *и* объединились, а различие между *ѣ* и *ѥ* в сербохорватском языке было утеряно еще раньше.

Объединение звуков, указанных в пункте 3, осуществилось в пользу нелабиализованных гласных переднего ряда; таким образом, *ы* дало *и* и *ѣ > ѥ*. В этой связи становится ясным, почему, например, в латинских памятниках письменности XI—XII вв., содержащих сербохорватские личные и географические имена, последовательно пишется

¹ Встречается, правда, и в современном сербохорватском языке произношение носовых гласных, а именно перед щелевыми согласными. Так, например, в литературном языке в таких словах, как: *женски*, *бронза*, *браниша*, *манжетна*, *конферисати*, *симфонија*, обычно произносятся носовой гласный, за которым следует обязательное произношение недлительного и редуцированного носового сонорного согласного при условии непрерывного прохождения воздушной струи через полость рта. Однако носовые гласные в этом случае имеют лишь фонетическое значение и не содержат в себе фонологического качества.

e или *i* на месте объединившихся в звучании редуцированных гласных¹. Если бы рефлекс обеих редуцированных гласных не произносился как гласный переднего ряда (или хотя бы в области между передним и средним рядом), его отражение в памятниках той эпохи не ограничивалось бы столь последовательно гласными переднего ряда.

§ 4. После этих изменений в сербохорватском языке осталось семь гласных: переднего ряда *i*, *ь*, *ѣ* и *e* и заднего *и*, *о* и *а*. В некоторых диалектах на северо-западе, а именно в кайкавском, а также и в некоторых северо-западных чакавских говорах (в части Истрии) *и*, видимо, на крайнем северо-западе штокавских говоров (в части Славонии, см. § 11), сохранился в виде отдельной фонемы и рефлекс носового *ѣ* со звуковым качеством *ѣ* (между *о* и *и*).

§ 5. Фонетические и фонологические отношения между гласными заднего ряда в такой системе совершенно ясны. Это ступенчатое трехчленное или четырехчленное противопоставление. Гласные же переднего ряда ставят перед нами немало серьезных проблем прежде всего по причине противоречия, создавшегося между древнейшей фазой их развития и позднейшими результатами его. Современные рефлексy в большей части области распространения сербохорватского языка указывают на то, что *ь* был более открытым, чем *e* (рефлексy колеблется от *а* до *e*), а *ѣ* был более закрытым (рефлексy от *e* до *i*). Иными словами, сопоставление положения по диалектам приводит к такому ряду:

i
ѣ
e
ь
а

Однако древнейшие тексты не подтверждают этого предположения. Обозначение редуцированного гласного в период до его замены колеблется между *e* и *i*, в то время как *ѣ*, как правило, передается в виде *e*. Больше того, перегласовка *ѣ* > *а* в известных позициях (типа *orah*, *gizdo* и т. п.), на которую обратил внимание П. Скок², а после него и М. Маленки³, свидетельствует о том, что в каком-то периоде, очевидно доисторическом, *ѣ* в сербохорватских говорах был более открытым, чем *e*. Это означает, что для первичной фазы развития сербохорватского языка характерен такой ряд:

i
ь
e
ѣ
а

Этот факт ставит нас перед серьезной проблемой, до сих пор недостаточно исследованной: как объяснить изменение отношения *ь* — *e* — *ѣ* в координально ему противоположное: *ѣ* — *e* — *ь*? Если *ь* первоначально

¹ Ср., например: V. J a g i ć, Woher das sekundäre *a*?, «Archiv für slav. Philol.», IV, 1880; P. S k o k, Supetarski kartular, Zagreb, 1952, стр. 245.

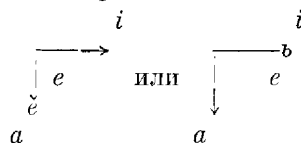
² P. S k o k, Iz slovenačke toponomastike, «Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino», VIII, Ljubljana, 1931; ег о же, Bugarški jezik u svetlosti balkanistike, «Јужнословенски филолог», XII, Београд, 1933, стр. 96—99; ег о же, Leksikologijske studije, «Rad Jugoslav. akad. znanosti i um.», knj. 272, Zagreb, 1948, стр. 34—38.

³ М. М а л е н к и, Još o razvoju *ѣ* > *а* u srpskohrvatskom jeziku, «Јужнословенски филолог», XI, 1931, стр. 217—219.

был более открытым, чем *e*, и затем стал более закрытым, то как могло случиться, что он не совпал с этим гласным? И точно так же, как *ь* из звука более закрытого, чем *e*, мог стать более открытым и при этом не совпал с последним?

Сразу, казалось бы, на этот вопрос легко дать простой убедительный ответ: весь процесс можно объяснить различиями в количестве. Известно, что *ь* по своему происхождению всегда долгий, *e* — всегда краткий, а *ь* представляет собой звук короче краткого. Известна также во многих языках (в частности, например, в латинском, немецком, да и в современном сербохорватском) тенденция к произношению долгих гласных — как более закрытых и кратких гласных — как более открытых. Это могло бы означать, что количественное различие обусловило полное изменение первоначальных отношений указанных трех гласных и что в то же время оно сохранило эти гласные в период развития указанного процесса от их взаимного совпадения (т. е. в то время, когда *ь*, становясь более закрытым, достиг качественной окраски гласного *e*, он отличался от *e* долготой). Однако такое предположение, сколь привлекательным оно бы ни казалось, не может быть правильным, прежде всего по причинам хронологического порядка. В эпоху изменения отношений между *ь*, *e* и *ь* в смысле их звуковой окраски как гласных все эти три звука уже могли быть и долгими и краткими. Необходимо, значит, искать другие объяснения.

Несомненно одно: *ь* не был просто *ä*, а также и *ь* не был вполне равен *e*; в противном случае процесс, ведущий к более закрытому произношению первого или более открытому произношению второго гласного, неизбежно привел бы к слиянию с *e*. Оба гласных должны были иметь что-то специфическое, что обеспечило бы процессы:



§ 6. Обычно считают, что *ь* в своем первоначальном произношении в сербохорватском языке содержал известный элемент дифтонгичности. Упомянутые выше выводы П. Скока подтвердили вероятность этого предположения. Перегласовка *ь > a* в позиции *п о с л е* некоторых согласных проще всего объясняется тем, что в т о р а я часть артикуляции *ь* была открытой, в то время как начальная, более закрытая часть поглощалась предыдущим согласным. П. Скок зашел так далеко, что даже высказал предположение о качестве *ь* в виде *ia* или под. В этом, однако, трудно с ним согласиться. Такое предположение противоречит свидетельствам памятников письменности, содержащим сербохорватские имена, в которых вплоть до XIII в. (и почти до XIV в.) воспроизводится рефлекс *ь* только монофтонгическими графемами (*e*, позднее и *i*). Кроме того, если бы первым компонентом произношения *ь* был действительно *i*, он вызвал бы неизбежно йотирование предшествующего согласного, а если бы второй компонент соответствовал *a*, то он и разделял бы судьбу этого гласного. Все это приводит к заключению, что по своему качеству *ь* в сербохорватском языке первоначально представлял собой дифтонг неполного образования (*ea* или нечто подобное). Звуковое различие между первым и вторым компонентом этой фонемы не было настолько велико, чтобы получить свое отражение при воспроизведении сербохорватских имен в древних памятниках письменности.

§ 7. Звук, получившийся в результате объединения редуцированных гласных, первоначально был несомненно более закрытым, чем *e*, что про-

является в его обозначениях в памятниках, колеблющихся между *e* и *i*. Но это все же не значит, что интересующий нас звук был просто между *e* и *i*. По-видимому, его артикуляция была несколько оттянутой назад к среднему ряду, до некоторой степени подобно польскому *u*. Этим объясняется не только тот факт, что данный звук мог выступать как более открытый, чем *e*, и не сливаться с ним, но и объясняются рефлексы его *ə* и *o* в некоторых периферийных говорах.

§ 8. Таким образом, система вокализма сербохорватского языка после слияния *э* с *ь* и *и* с *і*, а также замены носовых все еще не была стабилизирована. Происшедшие изменения, в основном, были направлены к тому, чтобы привести гласные к такой системе, в которой дифференцирующую функцию осуществляли бы только два вида противопоставлений: передние—задние и низкие—высокие. Все же качество гласных *ѣ* и *ь* не укладывалось в полной мере в эту систему. Их качество отличалось от качества ближайших к ним гласных и другими моментами. Поэтому они подверглись новым изменениям.

§ 9. Эволюция *ѣ* в большинстве говоров развивалась в направлении монофтонгизации путем уподобления второго компонента первому: $\widehat{e\ddot{a}} > e$ или под. Так *ѣ* оказался среди гласных переднего ряда между *e* и *i*. Этот процесс начался настолько рано, что в некоторых районах уже в XI в. *ѣ* был более закрытым, чем *e*. В части чакавских говоров указанная ассимиляция происходила особенно рано в тех случаях, когда после *ѣ* не было твердого зубного согласного, способствовавшего менее палатальной артикуляции второго компонента $\widehat{e\ddot{a}}$. Это обусловило двоякую замену *ѣ* в данных говорах: *e* перед твердыми зубными, *i* в других позициях (известный закон Якубинского и Мейера). В некоторых окраинных говорах на юго-востоке (например, призренская или косовская зона) и на крайнем северо-западе (чакавские говоры в кварнерской зоне), возможно, был и прямой переход *ѣ* в *e*, без предшествующей ступени *e*. В этих говорах, вообще говоря, не обнаруживается случаев перехода $\widehat{e\ddot{a}} > i$ в известных фонетических позициях, которые мы находим в других экавских (и екавских) говорах, как доказательство того, что качество *ѣ* до его замены и здесь было закрытым. Точно так же не исключена возможность того, что в некоторых центральных говорах, из которых позднее развился екавский диалект, монофтонгизация не была завершена в полной мере, т. е. *ѣ* сохранял качество $\widehat{e\ddot{e}}$ или под.

§ 10. В большинстве говоров эволюция рефлекса редуцированного гласного развивалась в направлении полного включения его в группу гласных переднего ряда. Как правило, при этом он становился более открытым. В большинстве кайкавских говоров данный звук совпал с *e* (местами же с $e < \check{e}$), а в большинстве штокавских, а также, вероятно, и чакавских говоров перешел в *ă*. В призренско-тимоческой диалектной зоне на юго-востоке процесс, однако, был в значительной мере иным: отход *ь* от гласных переднего ряда увеличился, и рефлекс редуцированного стабилизировался в системе гласных как *ə* — звук, отличающийся от *a* более высоким подъемом, а от *o* и *u* — отсутствием лабиализации. При условии изменения $\widehat{e\ddot{a}} > e$ получилась в этих говорах шестичленная система вокализма с тремя рядами гласных¹:

u ə i
o a e

¹ Ср., например, матерпал и объяснения А. Белича (А. Б е л и ћ, Дијалекти Источне и Јужне Србије, Београд, 1905).

циях было два разных рефлекса, и как затем могло случиться, что в настоящее время в той же местности обнаруживается только один из этих рефлексов.

§ 12. Свидетельства подобного рода мы имеем в большинстве дубровницких рукописей XIV в. Там на месте ъ пишется *e* или *a*, а на месте ě — *i* или *e* (что соответствует системе, данной в § 11 под рубрикой «а»). Интересно отметить, что в данном случае речь идет о рукописях, писанных кириллицей, так что возникает вопрос: почему писцы не пользовались графемами ъ или ѣ вплоть до того времени, пока соответствующие фонемы не совпали с некоторыми из других гласных. Ответ следует искать в области истории культуры: в средние века писцы так называемой «сербской канцелярии» Дубровницкой республики хотя и пользовались кириллицей в дипломатической переписке с сербскими и боснийскими правителями и феодалами, все же были воспитаны на традициях латинской письменности. Поэтому они, как правило, недостаточно понимали значение в кириллице таких графем, как ъ и ѣ, для которых в латинице нет эквивалентов, что их приводило при пользовании этими знаками к многообразным ошибкам¹.

М. Решетар, имеющий огромные заслуги в исследовании истории сербохорватского языка этой эпохи, все же не понял, что явление колебания между *e* и *i* при обозначении рефлекса ě в действительности указывает на произношение этого звука как среднего между *e* и *i*. Кроме того, когда Решетар писал свои труды, не было известно, что еще существуют штокавские говоры, сохраняющие подобное качество ě. В связи с этим Решетар не мог использовать также того факта, что первые ученые, изучавшие эти говоры², на месте рефлекса ě писали то *e*, то *i*. Только позднее было доказано³, что здесь дело в сохранении ě как особой фонемы, которую недостаточно подготовленные исследователи, будучи в то же время тонкими наблюдателями, воспринимали то как *i*, то как *e*. Естественно, то, что произошло с этими учеными, значительно легче могло случиться со средневековыми писцами.

§ 13. В описанной выше семичленной системе гласных (§ 11, а), которую мы находим в Дубровнике в XIV в., было одно пустое место. Среди гласных заднего ряда не хватало парного гласному ě (= *e*). На рубеже XV в. это пустое место было заполнено. Рефлекс *!*, сохранившийся до тех пор в звуковой системе языка, пишется в текстах той эпохи различно: то как *u*, то как *o* или *uo*. В то же время появляется, наряду с прежним *e* и *i*, и написание *ie* для рефлекса ě. Таким образом, получается восьмичленная система вокализма:

<i>u</i>	<i>i</i>
<i>o</i>	<i>ĕ</i>
<i>o</i>	<i>e</i>
<i>a</i>	<i>ä</i>

Как вообще часто бывает в таких случаях, появилась тенденция сохранения индивидуальности фонем *e* и *o*, находящихся между *e* и *i* и между *o* и *u*, при помощи более сильной дифтонгизации. Таким образом создается екавское произношение. Существенное значение имеет в данном слу-

¹ Ср. об этом М. Rešetar, Die ragusanischen Urkunden des XIII.—XV. Jahrhunderts, «Archiv für slav. Philol.», XVI—XVII, 1894—1895 и его же, Najstarija dубровачka проза, Београд, 1952.

² См., например: Lj. Miletich, Ueber die Sprache und Herkunft der sog. Krašovanner in Süd-Ungarn, «Archiv für slav. Philol.», XXV, 1903; М. Филиповић, Галипольски Срби, Београд, 1946.

³ E. Petrović, Graiul Carasovenilor, București, 1935; П. Пивћ, [Извештај о испитивању говора ...], «Гласник САН», II, 2, Београд, 1950, стр. 315.

чае тот факт, что здесь мы встречаемся с позднейшим процессом, а не с сохранением старого положения. Несмотря на то, что мы располагаем большим количеством памятников, относящихся к различным эпохам, только в течение XIV в. в латинских рукописях, а в конце этого века в рукописях, писанных кириллицей, обнаруживается в значительной мере екавский рефлекс $\dot{e}$. Характерно, что параллельно с дифтонгизацией $\dot{e}$ развивается дифтонгизация рефлекса $! > \dot{u}o$ в той же местности. Поэтому екавский рефлекс $\dot{e}$ в сербохорватских говорах не может быть использован в качестве аргумента в пользу дифтонгической природы праславянского $\dot{e}$ ¹.

§ 14. Восьмичленная система, образовавшаяся в результате включения рефлекса $!$, просуществовала не долго. Очень скоро, уже в начале XV в., рефлекс редуцированного в Дубровнике совпал с a ; при этом и дифтонги $\dot{u}o$ и $\dot{ie}$ не были вполне стабильными. Особенно неустойчивым оказался дифтонг $\dot{u}o$. В различных языках как частое явление, обусловленное асимметрией речевых органов, наблюдается то, что некоторые гласные переднего ряда высокого и среднего подъема не имеют себе парных заднего ряда. Так случилось, что рефлекс $!$ в большинстве екавских говоров до конца XV в. совпал с u , в то время как в некоторых говорах восточной Боснии он дал uo (сочетание двух фонем), а на о-ве Ластово — o . Этот последний процесс станет понятнее, если принять во внимание, что на о-ве Ластово и в рефлексе $\dot{e}$ первый компонент не совсем развит: не обнаруживается двусложное произношение ie (ije), как в большей или меньшей степени в других екавских говорах, но закрепился рефлекс je ($= ie$). В соответствующей группе uo произошло упрощение, в частности, и потому, что, вообще говоря, u не входило в звуковую систему говора.

Что касается дифтонга $\dot{ie}$, то он в некоторых екавских говорах, например в жумберацком², сохранился в виде отдельной фонемы по крайней мере в известных позициях, в то время как в других позициях он превратился в сочетание фонем je или ie (ije). Таким путем система вокализма свелась к пяти классическим гласным:

$u \quad i$
 $o \quad e$
 a

В части екавских говоров в Черногории, вдоль южной границы сербохорватской языковой территории сохранился гласный $\ddot{a}$ как рефлекс редуцированного, так что там мы имеем:

$u \quad i$
 $o \quad e$
 $a \quad \ddot{a}$

§ 15. В большинстве других штокавских, а также и чакавских говоров семичленная система вокализма, данная в § 11 (пункт «а»), свелась в течение XIII и XIV вв. к указанной системе пяти гласных: $\ddot{a}$ ($< b$) объединилось с a , а e ($< \dot{e}$) с i или e — при этом значительно раньше, чем екавские говоры оформили свой рефлекс $\dot{e}$. Разумеется, такая эволюция не давала возможности для более длительного сохранения (да, в основном, и для образования) качества o или $\dot{u}o$ из $!$ в екавских и икавских говорах. Это отмечается и в соответствующих письменных памятниках, где не обнаруживается или же очень редко встречается обозначение данного звука знаками o или uo .

¹ В этом отношении положение в сербохорватском языке интересно и как параллель тому, что наблюдается в некоторых русских говорах.

² Ср материал в кн.: Milko Porović, Žumberački dijalekat, Zagreb, 1938.

В отличие от других штокавских говоров, говоры, расположенные вдоль северной границы сербохорватской территории (Славония, Воеводина, северная Сербия), долго сохраняли неизменное *e* (= *ě*). Поэтому в Славонии еще в XV в. обнаруживались постоянные колебания в написании *e* и *i* на месте этимологического *ě*¹, а на северо-восточной границе компактной некогда сербохорватской этнической территории в Банате (район Рекаша и Банатской Черной горы к востоку от Темпшвара) и в настоящее время рефлексом *ě* служит звук, средний между *e* и *i*². То же самое можно сказать и о двух архаических говорах переселенцев из северной и северо-восточной Сербии, а также о крашованском и галлипольском говорах³. В говорах Рекаша, Банатской Черной горы и в части крашованского говора в настоящее время мы имеем шестичленную систему гласных⁴:

u i
o e
a ä

Между этим типом и данным выше типом черногорских говоров (§ 14) различие этимологического порядка: здесь *e* очень закрытое, происходит из *ě* и ему соответствует также закрытое *o*, в то же время как *ä* не является рефлексом *ь*, а восходит к древнему *e* (и *ě*), переставшему быть парным гласному *o*. Это нам объясняет причину стабилизации позиции рефлекса *ě* как отдельной фонемы.

В части крашованских сел, где сохранился звук *ä* как рефлекс редуцированного гласного (крашованы — выходцы из зоны призренско-тимочских диалектов), обнаруживается более сложное состояние⁵:

u ä i
o e
a ä

Таким образом, в данном случае и противопоставление по лабализации оказывается дифференцирующим фактором (ср. стандартную призренско-тимочскую систему, которая отличается от приведенной меньшим числом гласных переднего ряда — § 10).

Наконец, в говоре галлипольских сербов (выселившихся в XVI—XVII вв. из долины Великой Моравы во Фракию), в котором *ě* задержал свое качество *ě*, а *e* и *o* остались артикуляционно с прежним подъемом, сохранилась асимметричная шестичленная система⁶:

u i
o e ě
a

Во время больших миграционных передвижений начиная с XV в., когда северные штокавские районы интенсивно заселялись пришельцами из южных областей, утерялось особое качество *ě*=*ě* в северной штокавской зоне. Современные штокавские говоры, сохранившие качество *ě*, частью являются говорами старых переселенцев, а частью — говорами,

¹ S. Ravičić, указ. соч.

² П. Ивић, Једна досад непозната група штокавских говора: говори с неза-
мешеним јатом, «Годишњак Филоз. фак-та у Новом Саду», књ. I, Нови Сад, 1956.

³ E. Petrović, указ. соч.; П. Ивић, [Извештај о испитивању говора ...].

⁴ По материалу автора.

⁵ По материалам автора.

⁶ По материалам автора.

утратившими непосредственную связь с основной территорией распространения сербохорватского языка.

§ 16. В кайкавских диалектах семичленная система вокализма (§ 11) оказалась довольно стабильной. В ряде говоров она сохранилась¹; при этом во многих местах рефлекс ! сошел с более старым $\text{q} < \text{q}$, а кое-где наряду с $\text{e} < \text{ě}$ обнаруживается и $\text{e} < \text{ь, ѝ}$.

В других говорах между тем $\text{q} > \text{o}$ или u (таким образом сложилась шестичленная система гласных, структурно подобная одной из указанных в § 15). В некоторых районах e перешло в e и система вокализма свелась на пятичленную.

§ 17. Этим в основных чертах завершается обзор упрощения² старой системы вокализма в сербохорватских диалектах. В результате анализа этого процесса можно установить следующие основные положения: 1) число гласных значительно уменьшилось (пять, реже шесть и только кое-где семь в сравнении с их первоначальным числом 11); 2) число дифференциальных признаков также сильно уменьшилось (два, максимум три в сравнении с прежними пятью; ср. § 2); 3) в этой эволюции отразилось большое различие между пятью «классическими» гласными, как правило, сохранившимися во всех говорах, и другими гласными, которые исчезли или сохранились в значительно более узких ареалах.

Дальнейшая эволюция системы вокализма в некоторых диалектах

§ 18. Во многих окраинных говорах после фазы упрощения вокализма последовали новые изменения, которые вызвали перестройку, пополнение или усложнение системы.

На юго-востоке области распространения сербохорватского языка, где контакт с турецким языком был особенно интенсивным, гласный ə (в турецком написании ı) в турецких словах не был субституирован, как в других говорах, а вошел в сербохорватскую речь. Это можно сказать не только о говорах призренско-тимочской группы, где вообще известна фонема ə (как рефлекс редуцированного гласного), но также и о некоторых говорах на Косове и в Метохии, где редуцированный сменился гласным a . В некоторых городах этой области, например в Вучитрне³, где скрещиваются сильное турецкое и албанское влияния, обнаруживается, кроме ə , и ï — также в заимствованных словах. Таким образом, здесь бытуют четыре гласных верхнего подъема, которые имеются в турецком и албанском языках:

$\text{u} \quad \text{ï}$
 $\text{ə} \quad \text{i}$

Дифференцирующими факторами, создающими различие между этими гласными, являются область артикуляции (передняя/задняя) и участие губ (лабиализованные/нелабиализованные гласные).

¹ Ср., например, материалы С. Ивичича и др. (S. Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, «Ljetopis Jugoslav. Akad. znanosti i um.», 48, Zagreb, 1936). Такое положение в системе гласных можно проследить и по материалам языка кайкавских писателей XVI—XVII вв., которые дают Ф. Фанцев (F. Fancev, Beiträge zur historischen serbokroatischen Dialektologie, «Archiv für slav. Philol.», XXXI—XXXII, 1910—1911) и Р. Алексич, Р. Алексич, Прилози историји кайкавског дијалекта, «Јужнословенски филолог», XVI, 1937).

² Значение упрощения системы вокализма особенно ясно показал М. Павлович (М. Павлович, Примери историског развитка српскохрватског језика, Београд, 1956, стр. 14—16, гл. «Појаве вокалског упрошћавања изговора»).

³ По материалу Г. Елезовича (см. Г. Елезович, Речник косовско-метохијског дијалекта, свеска I—II, Београд, 1932—1935).

Система вокализма в целом в этих говорах выглядит так:

$$\begin{array}{cc} u & \bar{a} & \bar{i} & i \\ & o & & e \\ & & a & \end{array}$$

В говоре галлипольских сербов наличествует также несубституированное турецкое $\bar{a}$, так что современная система гласных в этом говоре выглядит так¹:

$$\begin{array}{cc} u & \bar{a} & i \\ & & e \\ o & a & e \end{array}$$

§ 19. В говоре Мрковичей в окрестностях Бара в Черногории $\bar{a}$, как и во многих приморских говорах, перешло в $\bar{a}$. Это изменение само по себе не имеет фонологического значения, а только фонетическое, но позже произошло сокращение безударных долгих гласных, в результате чего образовалось краткое безударное $\bar{a}$, отличное от краткого безударного a . Это означает, что в безударных слогах в этом говоре обнаруживается семичленная система гласных².

$$\begin{array}{cc} u & i \\ o & e \\ \bar{a} & \bar{a} \\ a & \end{array}$$

Казалось бы, что эта система богаче, чем система гласных в ударных слогах, но в действительности здесь дело идет о частичной компенсации утерянного количественного противопоставления: семи гласным в безударных слогах противостоят двенадцать (шесть долгих и шесть кратких) в ударных.

§ 20. Во многих говорах чакавского диалекта вокализм долгих слогов подвергся еще большим изменениям. Кроме перемещения $\bar{a}$ в направлении к o , появился и больший подъем или дифтонгизация e и o . Так, в лабинском говоре в Истрии сложилась система³:

$$\begin{array}{cc} u & i \\ \widehat{uo} & \widehat{ie} \\ o\bar{a} & \end{array}$$

Факультативно на месте дифтонгов $\widehat{uo}$, $\widehat{ie}$ и $\widehat{o\bar{a}}$ произносятся монофтонги o , e , $\bar{a}$.

В старом Граде на о-ве Хвар, где $\bar{a}$ дало $\bar{o}$, первичные долгие гласные o и e дифтонгизировались, появилось новое $\bar{a}$ в результате удлинения первичного краткого a ⁴. Таким образом сложилась характерная шестичленная система гласных с долгими ударными слогами:

$$\begin{array}{cc} u & i \\ \widehat{uo} & \widehat{ie} \\ o & a \end{array}$$

¹ По материалу автора.

² По материалам Р. Бошковић, О природе, розвитку и заменима гласа x у говорима Црне Горе, «Јужнословенски филолог», XI, 1931), а также Л. Вуйовича (Л. Вујовић, Историски пресјек губљеног глагољске рекције у пригорским говорима, «Јужнословенски филолог», XX, 1953—1954).

³ По материалам А. Белича (А. Белић, Извештај о прибирању дијалектолошке грађе, «Годишњак Српске Краљевске Акад.», XXVI, Београд, 1914) и М. Малецкого (М. Małeckі, Przegląd słowiańskich gwar Istrii, Kraków, 1930, стр. 61).

⁴ М. Нрасте, Čakavski dijalekat ostrva Hvara, «Јужнословенски филолог», XIV, 1935, стр. 5.

Дифференциальным признаком, создающим различие данных двух рядов гласных, является участие губ: лабиализованные гласные противопоставляются нелабиализованным в отличие от шестичленной системы вокализма, данной в §§ 14 и 15, где функцию дифференцирования выполняет противопоставление передних гласных задним.

§ 21. В истрийских говорах переходного чакавско-словенского типа изменения этого порядка пошли дальше. Там система вокализма оказалась сложнее, поскольку сохранилось особое качество $\check{e}$ (= e или под.), а кроме того и гласный u подвергся изменениям. Так, в Драпчичах в северной Истрии обнаруживаем в долгих слогах¹:

u		i
o	$\ddot{o}$	e
o^a		e^a

Звук $\ddot{o}$ здесь является рефлексом исконного $\bar{u}$ (в то время как современное $\bar{u}$ восходит к i), а o^a (открытое o) образовалось из $\bar{a}$. Характерно, что и в данном случае включается третий дифференцирующий признак — лабиализованность произношения, но на этот раз у гласных переднего ряда.

Неподалеку от Драпчичей, в населенном пункте Слум, где, как и во многих говорах соседнего словенского языка, o и e подвергались процессу изменения в зависимости от того, находились ли они под исконным ударением, положение еще более сложное²:

u		$\ddot{u}$		i
				e^i
o			e	
	o^a		e^a	
		a		

Тенденция к дифтонгизации $\check{e} > e^i$ свидетельствует еще об одной общей изоглоссе со словенскими диалектами.

§ 22. Во многих кайкавских говорах также возник ряд значительных инноваций в системе вокализма. Характерен пример вокализма кратких ударных слогов в Бедийи³:

$\ddot{u}$		i
o		e
	$\ddot{a}$	

Гласный $\ddot{a}$ восходит здесь к e , в то время как современное o в этом говоре получилось из a ($koK\ s\ddot{a} < kak\ se$).

Недостаток материалов в имеющейся литературе не дает нам возможности более точно описать разнообразные типы процессов в кайкавских говорах. Все же, в качестве иллюстрации, может быть приведен пример системы гласных долгих ударных слогов в окрестностях Вирья⁴:

u	i
o	e
$\ddot{a}$	e^a

¹ По материалам И. Рибарича (J. Ribarić, Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, «Српски дијалектолошки зборник», IX, 1940).

² По материалам И. Рибарича (J. Ribarić, указ. соч.).

³ По материалам С. Ивšича (S. Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, стр. 86).

⁴ По материалам Ф. Фанцева (F. Fancev, Beiträge zur historischen serbokroatischen Dialektologie, «Archiv für slav. Philol.», XXIX, 1907).

В то время как здесь *u* восходит к древнему *u*, *i* — к древним *i* и *ы*, а *ā* — к *ā*, гласный *o* происходит из *o*, *ρ* и *l*, гласный *e* является рефлексом редуцированного *ě*, а *e^a* — рефлекс *e* и *ę*. Вообще же по своей структуре эта система вокализма имеет много общего с системой гласных в Рекаше, Банатской Черной горе и в некоторых крашованских селах (§ 15).

В противоположность этой шестичленной системе, в которой члены всех трех пар противостоят друг другу по признаку места артикуляции и по признаку лабиализации как дополнительного свойства, в Клошtare обнаруживается шестичленная система долгих ударных слогов, в которой у гласных нижнего подъема роль дифференцирующего фактора играет только место артикуляции, а у гласных верхнего подъема — только участие губ¹:

<i>ü</i>	<i>i</i>
<i>o</i>	<i>e</i>
<i>a</i>	<i>e^a</i>

Здесь *ü* происходит из *u*, *ρ* и *l*, гласный *i* — из *i* и *l*, *o* — из *o*, *a* = *a*, в то время как *e* и *e^a* того же происхождения, как и в окрестностях Вирья.

§ 23. Если обобщить результаты позднейшей эволюции системы гласных, происшедшей после упрощения праславянского состояния, то можно установить следующее: 1) число гласных в основном увеличилось до семи (только в одном случае оказалось более семи, а именно — девять гласных; ср. § 21); 2) число дифференциальных признаков осталось строго ограниченным (два или три); 3) в редких, правда, случаях из системы выпадали отдельные «классические» гласные.

Характерно, что явления, описанные в §§ 18—22, почти всегда ограничены небольшими ареалами на периферии области распространения сербохорватского языка. Как правило, — это говоры, структура которых сильно изменилась в результате внешнего влияния. Между тем основная часть сербохорватских диалектов обнаружила в этом отношении необычайный консерватизм. Никаких новых перемен не произошло с тех пор, как были заменены характерные для праславянского языка гласные (*ь*, *ѣ*, *ρ*, *ę*, *ы*, *ѧ*, а также *и*!).

Распределение гласных

§ 24. Для значительной части территории распространения сербохорватского языка, прежде всего для весьма обширного ареала пятичленной системы вокализма, характерно очень свободное положение гласных. Каждый гласный может быть под ударением (при этом под любым из существующих) и без ударения, в начале, в середине и в конце слова, а также и перед, и после любого согласного. Колоссальная разница с положением, например, в праславянском или в русском языке здесь очевидна. Это, несомненно, является одним из важнейших следствий эволюции сербохорватского вокализма. Единственные ограничения в положении гласных в этих говорах мы наблюдаем при их сочетании. Ясно выражается тенденция избегать таких сочетаний, как *pītao* > *pīto* или *pīta*, *jēdanaest* > *jēdanajst* или *jēdanest*.

Иною представляется картина в большинстве говоров, где имеется более пяти гласных. Ограничения, связанные с позицией в слове (начальной, средней или конечной), равно как и относящиеся к сочетаниям с от-

¹ По материалам Ф. Фанцева (указ. соч.).

дельными согласными, редко встречаются и здесь, но часто обнаруживаются различия в системах долгих и кратких гласных, а также и между ударными и безударными гласными. Для иллюстрации мы приведем здесь лишь несколько типичных примеров, без всякой попытки раскрыть положение в целом, что, в частности, в настоящее время невозможно вследствие недостаточной изученности многих говоров.

§ 25. В крашованском диалектном типе с *ə* (§ 15) объединились *a* и *ə* в безударных слогах прежде всего в тех морфемах, которые во всех случаях остаются безударными. Подобное явление обнаруживается и в говорах призренско-тимочской группы (§ 10)¹. Кроме того, в крашованских говорах отсутствует различие между безударным *ě* и *i*. Таким образом, во всех этих говорах вокализм безударных слогов сводится к классической пятичленной системе (§ 14).

В говоре галлипольских сербов в противоположность семичленной системе гласных в ударных и долгих безударных слогах (§ 18) выступают шесть гласных в кратких заударных слогах и всего четыре гласных в кратких предударных:

а)	<i>u</i>	<i>ə</i>	<i>i</i>	б)	<i>u</i>	<i>ə</i>	<i>i</i>
	<i>o</i>	<i>a</i>	<i>e</i>			<i>a</i>	

§ 26. В говоре Старого Града на о-ве Хвар (ср. § 20) в кратких ударных слогах (за исключением конечного слога) находим всего четыре гласных:

<i>u</i>	<i>i</i>
<i>o</i>	<i>e</i>

В кратких безударных слогах выступают все пять классических гласных, в то время как в долгих безударных слогах обнаруживаются также пять гласных, но иного качества: здесь наличествуют все гласные, приведенные в § 20, кроме *a*.

В говоре Драшничей в северной Истрии (ср. § 21) в предударных слогах *ô* (<*u*) и *e* (<*ě*) слились с *i*, так что вокализм свелся к пяти классическим гласным.

§ 27. Указанные различия в основном не отличаются от тех, которые являются обычными, например, для русского языка. С точки зрения сербохорватского языка важно, что они, как правило, обнаруживаются в говорах, структура которых подверглась сильному влиянию неславянских языков (ср. § 23).

Слогообразующие *r* и *l*

§ 28. В настоящей статье автор сознательно до сих пор не принимал во внимание слогообразующие *r* и *l* как звуки, входящие в систему вокализма. Это было вызвано специфическими свойствами самих звуков, которые и не дают нам права на их простое включение в схемы, отражающие систему вокализма. Однако оба эти звука вплоть до XIV в. входили в систему гласных всех сербохорватских говоров. Они могли быть не только слогообразующими, но и ударными. Точно так же оба эти звука могли быть и краткими, и долгими. Их отношение к неслоговым

¹ Материал, который собрали А. Белич и М. Станоевич (см. А. Белич, Диалекти Источне и Јужне Србије; М. Станоевич, Северно-тимочки дијалекат, — «Српски дијалектолошки зборник», кн. II, Београд, 1911), показывает, что безударное *a* часто дает *ə*, а безударный редуцированный — *a*. Анализ этих примеров приводит к выводу, что противопоставление этих двух гласных в безударных слогах нейтрализуется по крайней мере во многих позициях.

r и *l* определялось позиционно: *r* и *l* принимали на себя функцию гласных в тех случаях, когда не примыкали к другим гласным в той же морфеме (в случаях, как *zarđala*, граница морфем обеспечивает сохранение слогаобразующей функции *r*). Иными словами, неслоговые *r* и *l* были лишь позиционными вариантами безударных гласных *r* и *l*, подобно тому как *i* и *u* во многих языках представляют собой варианты фонем *i* и *u*.

§ 29. Указанное положение нигде не могло полностью сохраниться. В большинстве сербохорватских говоров слоговое *l* сменилось другими звуками. В качестве фонемы оно сохранилось в нескольких населенных пунктах на о-ве Крк¹, в тимочском диалекте и в соседних с ним говорах², а также в говоре некоторых крашованских сел³. Однако ни в одном из этих трех ареалов не сохранилось $\bar{l}$ (в двух же последних утерены вообще все количественные противопоставления).

В отличие от *l* слогаобразующее *r* и в настоящее время сохраняется в большинстве сербохорватских диалектов⁴. Больше того, сохраняются и количественные противопоставления для *r* — как в ударных, так и в безударных слогах (естественно, таких противопоставлений нет в тех говорах, где их нет и для других гласных). Кое-где все же (в значительной части чакавских говоров и в некоторых штокавских, например в Дубровнике и Мостаре) произошло сокращение $\bar{r}$. Кроме того, в известных областях, и притом только периферийных, по-видимому всегда под чужим влиянием, вообще утеряно всякое *r*.

В говорах Призрена и Печи *r* перешло в *ar*⁵; подобное же явление обнаруживается и в тех крашованских селах, где сохраняется фонема *a* (там и $l > al$)⁶. В разных чакавских говорах находим развитие $r > ar$, в то время как на Кварнерских островах также произошло изменение $r > ar$ (конкретными рефlekсами являются *ar*, *er*, *or*, в зависимости от рефlekса редуцированного).

Характерно, что процесс развития *r* и *l* в сербохорватском языке в основном подчинился принципу, лежащему в основе процесса развития гласных: сербохорватская эволюция вокализма в общем сократила число унаследованных ею гласных наполовину (ср. § 17, п. 1).

§ 30. Вопреки всему тому, что сказано в § 28, *r* — не совсем равноправный член в системе гласных сербохорватских говоров. Не только потому, что *r* встречается значительно реже других гласных, но и потому, что позиционно он подвергается значительным ограничениям, которых не знают другие гласные. Этот звук, как правило, обнаруживается под ударением или в морфемах, где ударность чередуется с безударностью. Кроме того, *r* не встречается во флексах и словообразовательных суффиксах, а также в префиксах, энклитиках и проклитиках. В одном слове *r* может быть только один раз. Наконец, гласный *r* не может стоять после некоторых согласных, как, например, после *l*, *n*, *l*, *n*, *j*,

¹ V. O b l a k, Zum silbenbildenden *l* im Slavischen, «Archiv für slav. Philol.», XVI, стр. 200—201.

² А. Б е л и ћ, Дијалекти Источне и Јужне Србије, стр. 91—105.

³ Е. Р е т р о в и ћ, указ. соч., стр. 84—86.

⁴ Изменение *-l* (в конце слога или слова) $> -o$ (а также выпадение *h*) в большинстве штокавских говоров привело к известным изменениям в фонологических отношениях между слоговым и неслоговым *r*. О положении в современном сербохорватском литературном языке см. П. С. К у з н е ц о в, О фонологической системе сербохорватского языка, ИАН ОЛЯ, т. VII, вып. 2, 1948, стр. 132—133 и R. J a k o b s o n, On the identification of phonemic entities, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», V, стр. 209.

⁵ По материалам автора.

⁶ По материалам автора.

ć, đ, ž и т. п. (Это последнее ограничение очень важно: такого порядка ограничения обычно существуют для согласных, и в этом случае гласный *ǝ* имеет свойства согласного *ǝ*.) Все сказанное о *ǝ* в полной мере относится и к *ǝ* в тех говорах, где оно сохранилось¹.

Особенности сербохорватской просодии

§ 31. Как известно, сербохорватский язык относится к тем языкам, в которых не только ингерентные свойства гласных, но и просодические моменты² играют роль дифференциальных признаков. Это положение унаследовано еще от праславянского языка. Или, точнее, сербохорватский язык унаследовал из праславянского языка просодические противопоставления: по месту ударения, по качеству ударения (восходящее/нисходящее) и по его количеству (как в ударных, так и в безударных слогах). Восходящие ударения могли стоять в слове на любом слоге, а нисходящие — первоначально только на первом слоге. Но уже в очень ранних фазах развития сербохорватского языка обнаруживаются в нем нисходящие ударения и в средних, и в конечных слогах.

§ 32. Ни в одном говоре сербохорватского языка унаследованная просодическая система не осталась неизменной. Общий процесс упрощения привел прежде всего к ликвидации различия между двумя краткими ударениями, и так образовалась система трех ударений: долгое нисходящее $\sim$, долгое восходящее $\sim$ и краткое $\sim$. Вслед за этим изменением, общим для всех говоров, наступило уравнивание долгих ударений в центральной и восточной зоне. Так, например, в полной мере омонимы стали слова *šīd* «judicium» и *šīd* «vas». Таким образом, в арсале, охватывающем большую часть области распространения сербохорватского языка, исчезли противопоставления по качеству ударения и система ударений свелась на две единицы: $\sim$ (долгое ударение) и $\sim$ (краткое ударение). Так число возможностей акцентировки существенно уменьшилось. Прежде ударение — нисходящее или восходящее — могло стоять на любом слоге в слове, так что число возможностей акцентировки, не считая количественных свойств, было равно удвоенному числу слогов (алгебраически выражено: $x = y \times 2$); после упрощения число возможностей акцентировки, принятое в указанном смысле, оказалось равным числу слогов ($x = y$), поскольку в новых условиях и ударение могло стоять на любом слоге, но не было больше различия в восходящих и нисходящих типах ударения.

§ 33. В некоторых говорах эволюция на этом прекратилась и на юго-востоке в призренско-тимоческой зоне ликвидировались все количественные противопоставления, так что из просодических явлений только место ударения сохранило функцию дифференцирования.

Однако в большинстве говоров появился так называемый новошtokавский перенос ударения. С конечных и средних слогов ударение отошло на один слог ближе к началу слова. При этом на новом месте ударения появились новые восходящие интонации, что вызвало восстановление противопоставления по качеству ударения в долгих и кратких слогах

¹ В современном литературном языке *ǝ* вновь обнаруживается — и притом в иностранных словах типа *ansambl* (П. Зорһић, Самогласничко *ǝ*, «Јужнословенски филолог», XI, 1931). Появление этого *ǝ* позиционно обусловлено (с гласными выступает только согласный *ǝ*, даже в парадигмах тех же слов: род. падеж *ansambla* и т. п.). Это *ǝ* не может стоять под ударением, за исключением иностранных или диалектных имен, обычно топонимов (*Vilaga* и т. п.).

² О сущности этих свойств см. новейшую работу Р. Якобсона и М. Халле (R. J a k o b s o n, M. H a l l e, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956). Просодические свойства рассматриваются здесь в связи с гласными, потому что они сосредоточиваются прежде всего в гласных как носителях слоговости.

(в некоторых штокавских говорах только в долгих слогах, поскольку краткого восходящего ударения нет). Все же в новой системе ударений число ударных возможностей не увеличилось. Нисходящие ударения могли стоять только на первом слоге, а восходящие — на всех слогах, кроме последнего.

В смысле ударных возможностей это означает:

$$x \frac{\text{Восходящие ударения } y-1}{\text{Нисходящие ударения } 1} = y \quad (\text{число слогов в слове})$$

Другими словами, противопоставление ударения по качеству, которое возникло на первом слоге, явилось лишь компенсацией за потерянную возможность акцентировки последнего слога. Однако это никак не умаляет значения того факта, что в большей части штокавских говоров имеется четыре вида ударения: нисходящие $\sim$ и $\approx$ и восходящие $/$ и $\backslash$.

§ 34. В некоторых посавских говорах, сохранивших старое долгое восходящее ударение ($\sim$), также произошел новоштокавский перенос, что привело к образованию системы пяти ударений: $\sim$, $\approx$, $/$ в долгих слогах и $\approx$ и $\backslash$ в кратких. В некоторых из этих говоров отсутствует $\backslash$, так что в системе остается лишь четыре ударения.

Таким образом, в настоящее время в сербохорватском языке существуют следующие системы ударений:

(§ 33, начало)



(§ 32—33)



(§ 32)



(§ 32)



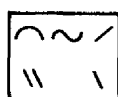
(§ 33)



(§ 34)



(§ 34)



§ 35. Очень характерна корреляция, точнее равновесие, которое существует между числом гласных фонем (принимая во внимание только ингерентные их свойства) и числом ударений. В тех говорах, где имеется четыре или пять ударений, как правило, наличествует только пять классических гласных (+ $\bar{r}$), большее же число их обнаруживается там, где всего лишь три ударения или меньше. Число комбинаций существующих гласных с возможными ударениями всегда остается в определенных границах и почти никогда не переходит цифру 25¹. Это пра-

¹ Диалекты, положенные в основу литературного языка и занимающие очень большую территорию, имеют 24 таких комбинации (шесть гласных, считая и $\bar{r}$, помноженное на число ударений 4). Большее число комбинаций — в посавских говорах с системой пяти ударений ($6 \times 5 = 30$) и в тех екавских говорах, в которых $\bar{z}$ продолжает быть особой фонемой (т. е. $24 + 2 = 26$). Существует также и один черногорский говор с $\bar{a}$, сохранивший все четыре штокавских ударения, где число комбинаций составляло бы 28. Однако в этом говоре (у васоевичей) восходящие ударения не имеют фонологической самостоятельности. Они обнаруживаются только на предпоследнем слоге перед кратким последним, как, например, *seštra* или *národ*, перед энклитиками же произносится *seštra (je)* или *naròd (je)*, что указывает на то, что формы с восходящими ударениями суть лишь позиционные варианты, появляющиеся в конце речевого такта. Поэтому комбинации гласных с этими ударениями в говоре васоевичей нельзя принимать во внимание на общих основаниях.

вило является результатом тенденции к экономии дифференциальных средств, упомянутой в § 2. В одних говорах упрощение системы вокализма достигается прежде всего уменьшением числа гласных, а в других главным образом уменьшением числа ударений.

§ 36. Упрощение системы вокализма во многих говорах, и прежде всего в периферийных, шло также по линии ликвидации количественных противопоставлений в безударных слогах во всех или только определенных позициях. Характерно, что этот процесс, вообще известный под названием сокращения долгот, охватил — в большой степени или в полной мере — все говоры, в которых больше шести гласных (+г). Это значит, что здесь существует в некотором роде обратная пропорция между ролью ингерентных и ролью просодических дифференцирующих факторов.

§ 37. Подводя итог нашему анализу можно установить, что в сербохорватских говорах ясно обозначаются два полярно противоположных типа вокализма (включая сюда и просодические свойства). С одной стороны стоят говоры, характеризующиеся следующим: 1) пятью гласными +г; 2) тем, что система гласных тождественна в долгих и кратких, а также в ударных и безударных слогах; 3) четырьмя (реже пятью) различными ударениями; 4) сохранением количественных противопоставлений в безударных слогах во всех или во многих позициях.

Этому структурному типу противостоит другой (его можно назвать периферийным), имеющий следующие характерные черты: 1) шесть или больше гласных, обычно +г (которого нет в некоторых говорах этой группы, в то время как в других наряду с ним обнаруживается и /); 2) различие между системой гласных в долгих и кратких слогах или (либо и) между системами в ударных и безударных слогах; 3) максимум три различных ударения; 4) исчезновение количественных противопоставлений в безударных слогах во всех или во многих позициях.

Естественно, нет полного совпадения изоглосс каждого из указанных свойств, так что можно было бы построить целую шкалу переходных типов и вариантов. Но принцип противопоставления центра и периферии этим не был бы нарушен — выявились бы только различные оттенки. Характерно, что, с одной стороны, все свойства первого типа обнаруживаются в чрезвычайно широкой центральной зоне, которая простирается от Адриатического моря, от окрестностей Дубровника и Макарска вплоть до северной Воеводины — до района Субботицы и Кикинды, с другой стороны, — второй тип одинаково хорошо представлен в таких говорах, как слумский — на западной границе (§ 21), мрковицкий — на южной границе (§ 19) и тимочский — на восточной границе (§§ 10 и 25). Характерным для сербохорватской эволюции гласных является, конечно, первый тип; представителями же второго типа оказываются говоры, структура которых изменилась в результате контакта с соседними языками.

П. Я. СКОРИК

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИХ
ЯЗЫКОВ

Наименование «чукотско-камчатские языки» вводится впервые, поэтому, прежде чем излагать существо вопроса, следует объяснить название и обосновать необходимость его введения. В лингвистической литературе принято совершенно механически объединять языки народностей, составляющих коренное население Чукотки и Камчатки, точнее — языки чукотский (луораветланский), корякский (нымыланский), ительменский (камчадалский) и керекский¹, с другими, генетически разнородными языками под общим искусственным названием «палеоазиатские языки». Условность этого объединения обнаружилась еще в 20—30-х годах XX в., когда было установлено, что к «палеоазиатским», наряду с языками, которые в генетическом отношении стоят изолированно, относят три совершенно не связанные между собой группы родственных языков².

Одну из таких родственных групп и составляют перечисленные выше языки: чукотский, корякский, ительменский и керекский³, которые до настоящего времени не имели объединяющего названия. Иногда эту группу называют языками чукотскими или чукотско-корякскими. Но ни тот, ни другой вариант нельзя признать удачным: в первом случае на всю группу распространяется название одного (чукотского) языка, а во втором наименование группы отражает лишь два языка из четырех (чукотский и корякский). Попытка же отразить в наименовании группы все четыре родственных языка привела бы к созданию слишком громоздкого термина.

¹ Керек — небольшая этническая группа, родственная корякам и чукчам. Имевшиеся до настоящего времени очень скудные отрывочные сведения о языке керек не позволяли решить вопрос о том, является ли он самостоятельным языком или же диалектом другого языка. Материалы, собранные в течение двух последних лет, свидетельствуют о том, что речь кереков представляет собой самостоятельный язык, родственный в равной мере как корякскому, так и чукотскому языкам.

² См.: W. Bogoras, Chukchee, в кн. «Handbook of American Indian languages, by F. Boas», part 2, Washington, 1922; сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III — «Языки и письменность палеоазиатских народов», М. — Л., 1934, стр. 3; И. И. Мещанинов, Палеоазиатские языки, ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 6; его же, Основные задачи в области изучения палеоазиатских языков, «Вестник ЛГУ», 1948, № 1.

³ На чукотском языке говорит основное коренное население Чукотского национального округа, Нижне-Колымского района Якутской АССР и некоторое количество коренного населения Алютского района Корякского национального округа. Носителями корякского языка является основная часть оленеводов в некоторое количество прибрежного коренного населения Корякского национального округа. Доныне считавшийся диалектом корякского языка алыторский распространен в Алютском, Карагинском и частично в Тигильском районах того же округа. Ительменский и керекский языки быстро утрачиваются: ительмены ассимилируются коряками и русскими, а керекы — чукчами. На ительменском языке в настоящее время говорит небольшая группа населения Тигильского района Корякского национального округа, проживающая на территории западного побережья Камчатки от с. Седанка на севере до с. Сопочное на юге. Еще меньшую этническую группу (всего несколько семей) составляют носители керекского языка. Они живут смешанно с чукчами в Анадырском районе Чукотского национального округа, близ бухты Угольной, по реке Майпо-Пильгино.

Между тем, поскольку носители этих языков являются основным коренным населением Чукотки и Камчатки, то вполне правомерно, как нам кажется, принять удобное и довольно точное наименование, объединяющее эти языки по территориальному признаку, — «чукотско-камчатские языки».

I

Проведенные в области чукотско-камчатских языков исследования позволяют определить основные черты их сходства и различия и тем самым установить как наличие родства между этими языками, так и степень обособленности каждого из них.

В области звукового состава чукотско-камчатские языки характеризуются значительным единообразием вокализма и консонантизма. Система гласных в этих языках представлена шестью основными фонемами [а, е, и, о, у, э]¹. Общими чертами их консонантизма является наличие гортанных согласных, отсутствие звонких смычных согласных, а также отсутствие противопоставления твердых согласных мягким². Наиболее обширна звуковая система ительменского языка, в которой имеются не свойственные трем остальным языкам согласные *з, ж, х*, а некоторые общие всем чукотско-камчатским языкам гласные и согласные в этом языке имеют резко выраженные варианты. Самым бедным по звуковому составу является керекский язык, в котором отсутствуют даже такие звуки, имеющиеся во всех остальных чукотско-камчатских языках, как гласные *о, е* и согласный *г*. Трем из четырех языков этой группы (чукотскому, ительменскому и корякскому³) присущ сингармонизм гласных. Во всех чукотско-камчатских языках имеются в основном однотипные чередования согласных, которые наиболее распространены в чукотском языке и в наименьшей степени — в ительменском.

Фонетические схождения и расхождения между чукотско-камчатскими языками, как правило, сводятся к регулярным звуковым соответствиям, которые в значительной мере обусловлены различием звуковых систем. Так, в керекском гласному *о* других языков чукотско-камчатской группы регулярно соответствует гласный *у* (чукотск. *омом*, корякск. *омом*, ительм. *омом*, керекск. *умум* «тепло»), а гласному *е* — гласные *а* (чукотск. *режм-реж*, корякск. *јешеш*, ительм. *решне*, керекск. *јашаш* «куропатка») или *и* (чукотск. *мемэл*, корякск. *мемэл*, ительм. *мемэл*, керекск. *мимэл* — «тюлень»⁴).

Согласному *р* чукотского языка соответствуют согласный *ј* в корякском⁵ и *з* в ительменском, а в керекском — либо *ј*, либо *н* (например: чукотск. *қораң*, корякск. *қојаңа*, ительм. *қоз*, керекск. *кујакуј* «олень»; чукотск. *румекешэк*, корякск. *јумекешэк*, керекск. *нумекешэк*

¹ Здесь и в дальнейшем звуки чукотско-камчатских языков передаются посредством русского алфавита, дополненного несколькими знаками, необходимыми для изображения звуков, не свойственных русскому языку.

² В корякском и ительменском языках имеются отдельные случаи противопоставления некоторых твердых согласных мягким: в корякском языке противопоставляются *л — ль, н — нь*, в ительменском — *л — ль, н — нь, с — сь*. Однако эти противопоставления довольно редки и фонематичность их пока окончательно не установлена.

³ Под корякским языком здесь и в дальнейшем имеется в виду положенный в основу корякской письменности чавчувенский диалект с примыкающими к нему другими диалектами. Некоторые диалекты корякского языка (алюторский и другие), о которых речь будет впереди, имеют специфические черты, резко отличающие их от чавчувенского диалекта.

⁴ В разных чукотско-камчатских языках этим словом называются различные виды тюленя: в чукотском и керекском языках — перпа, в корякском и ительменском — лахтак.

⁵ В алюторском диалекте согласному *р* чукотского языка соответствует либо *р*, либо *т*.

«собирать»). Начальному *г* чукотского и корякского языков в керекском, как правило, соответствует согласный *к*, а в ительменском — *к'*¹ (чук. *генулин*, коряк. *генулин*, керек. *нанули*, ительм. *к'нукаңин* «съеденный»). Кроме того, имеются менее распространенные соответствия, например, согласному *ч* чукотского и корякского языков в керекском иногда соответствует согласный *ј* (чук. *чакэгэ́т*, коряк. *чакэгэ́т*, керек. *јакэгэ́т* «сестра»), чукотскому согласному *з* в корякском и керекском языках соответствует согласный *ј* (чук. *јагнак*, коряк. *јајнак*, керек. *јајнак* «встречать») и др. Все перечисленные звуковые соответствия в совокупности с другими звуковыми закономерностями создают довольно значительные фонетические расхождения чукотско-камчатских языков между собой.

Специфику морфологии всех чукотско-камчатских языков составляет префиксально-суффиксальная агглютинация, которая является ведущим способом словообразования и словоизменения, общим для всех этих языков. Грамматическая общность языков выявляется также при рассмотрении систем склонения имен и спряжения глаголов². В чукотско-камчатских языках выделяются одни и те же типы склонения, для которых характерен определенный состав падежей, а также различие или неразличие в косвенных падежах грамматического числа. В системах склонения всех этих языков имеются одинаковые по своему грамматическому значению субъектно-объектные падежи и однородный в основном (хотя и различный по количеству) состав падежей, выражающих другие грамматические отношения. В чукотско-камчатских языках, за исключением ительменского, не только личные местоимения, но и имена имеют формы лица (например, чукот. *аачекегэм* «юноша-я», *аачекегэт* «юноша-ты» и т. д.), причем качественные прилагательные не склоняются по падежам, а изменяются лишь по лицам и числам (например, коряк. *нэкэтумују* «сильные-мы», *нэкэтутују* «сильные-вы» и т. д.). Глаголы в чукотско-камчатских языках имеют одни и те же грамматические категории (вид, залог, лицо, число, время и наклонение), выражаемые, в основном, одинаковыми языковыми средствами. В сильно развитых системах спряжения имеются отличные от форм глаголов непереходных формы переходного глагола; посредством специальных показателей в них отражаются не только субъект, но и прямой объект действия.

Структурная общность чукотско-камчатских языков дополняется материальным сходством их аффиксального аппарата. Поскольку аффиксация, как это уже отмечалось выше, является ведущим способом словообразования и словоизменения в рассматриваемых языках, сходства и различия аффиксов являются одним из основных свидетельств степени близости и обособления отдельных чукотско-камчатских языков. Три из четырех языков этой группы — чукотский, корякский и керекский — обнаруживают большое и примерно равное сходство в отношении аффиксальных средств морфологии. При этом выявляется большая близость керекского языка к корякскому, нежели к чукотскому — при наличии у него значительных отличий от обоих этих языков. Интересно отметить, кроме того, что керекский язык близок к чукотскому как раз в той части аффиксального аппарата, в которой последний отличается от корякского языка. Поэтому в конечном итоге различий между корякским и керекским языками

¹ При помощи апострофа (') здесь и в последующих примерах обозначается гор-
танный смычный согласный.

² Словоизменение в языках чукотской группы различается в основном по линии
категории числа: в чукотском и ительменском языках имеется единственное и множе-
ственное число, а в некоторых диалектах корякского языка и в керекском — к тому
же еще и двойственное.

в отношении аффиксов не меньше, чем между корякским и чукотским. Что касается ительменского языка, то его аффиксальные отличия от трех других языков значительно превышают материальную общность с ними в этой области.

Размеры статьи не позволяют дать подробное сравнение очень обширного аффиксального аппарата чукотско-камчатских языков. Ниже приводятся только сопоставления падежных аффиксов и некоторых глагольных форм.

Количество падежей в системе склонения существительных в разных языках чукотско-камчатской группы различно. Полярные позиции занимают корякский язык, имеющий десять падежей, и ительменский язык, в котором их всего шесть. Для всех четырех языков общими по своему значению являются шесть падежей, в большей или меньшей степени различающихся своими показателями, которые могут иметь по несколько фонетических вариантов.

Общность и различие падежной аффиксации по всем четырем языкам видны из следующей таблицы¹:

Падежи	Языки			
	чукотский	корякский	керекский	ительменский
Абсолютный (основной)	-н, -лгэн, -ңэ, -нэ	-н, -лнэн, -ңе, -ңа	-н, -ңал, -ңа	-ч, -чх, -м, -х
Творительный (орудийный и эргативный)	-(т)е, -(т)а	-(т)е, -(т)а	-(т)а	-(и)л, -(е)л, -(а)л
Местный	-к, -кэ	-к, -кэ	-к, -кэ	-енк
Исходный	-јпэ, -гэпэ, -епэ	-ңкэ	-ңкы	-хал
Дательно-направительный	-гтэ, -гтэ	-ң, -јтэң -етэң	-ң, -јтэң	-анке
Сопроводительный (отвечает на вопросы: «с кем?», «с чем?»)	г(е)-, -(т)е, г(а)-, -(т)а, га-, -ма	г(ејкэ)-, -(т)е, г(ајкэ)-, -(т)а, г(асэн)-, -ма	н(а)-, -(т)а, н(а)-, -ма	к'-, -м

Все чукотско-камчатские языки, исключая ительменский, помимо перечисленных шести падежей, имеют назначительный падеж (отвечает на вопросы: «в качестве кого?, чего?»). В чукотском и корякском языках показателем этого падежа является суффикс -(н)у, -(н)о, в керекском — -(н)у. В чукотском языке, кроме того, есть еще падеж относительный (отвечает на вопросы: «по кому?», «по чему?») с показателем -гјит, -гјет. В корякском имеются три падежа: продольный (отвечает на вопросы:

¹ Парадигма склонения существительных корякского языка приведена по данным чавчуевского диалекта, ительменского — по данным северного (седакинского) диалекта. В чукотском и керекском языках склонение существительных по диалектам не различается. Аффиксы склонения и спряжения в ительменском языке, а также часть примеров взяты из грамматического очерка С. Н. Стебницкого «Ительменский язык» (сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III).

«вдоль кого?», «вдоль чего?») с показателями *-jпэң, -епэң, -гэпэң*; касательный (отвечает на вопрос: «за что?», например, «потянул») с показателями — *-jите, -jета* и повествовательно-каузативный (отвечает на вопросы: «о ком?», «о чем?», «из-за кого?», «из-за чего?») с показателями — *-кјит, -кјет*.

Сравнительно большее материальное сходство аффиксов обнаруживают чукотско-камчатские языки, в том числе и ительменский, в системе спряжения глаголов. Приведем лишь несколько примеров.

Непереходный глагол

Изъявительное наклонение

Время	Я з ы к и			
	чукотский	корякский	керекский	итель- менский
Настоящее:				
1-е лицо ед. числа	<i>т-, -ркэп</i>	<i>тэку-тэко-, -ң</i>	<i>тку-, -ң</i>	<i>т-, -зкичен, - зкечан</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэт-, -рк, -ркэп</i>	<i>мэтку-/мэтко-, -лаң</i>	<i>тэку-, -лаңи</i>	<i>н-, -зкичен/ -зкечан</i>
Прошедшее				
1-е лицо ед. числа	<i>т-, -к,</i>	<i>т-, -к</i>	<i>т-, -к</i>	<i>т-, -к (-кичен/ -кечан)</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэт-, -мэк</i>	<i>мэт-, -ла (мэк)</i>	<i>мэт-, -ламэк</i>	<i>н-, -к (-кичен/ -кечан)</i>
Будущее:				
1-е лицо ед. числа	<i>тре-/тра-, -г'е/-г'а</i>	<i>тэје-/тэја-, -ң</i>	<i>чија-, -ң</i>	<i>т-, -алкечан</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэтр-/мэтра- -г'е/-г'а</i>	<i>мэче-/мэча-, -ң</i>	<i>мича-, -ң</i>	<i>н-, -алкечан</i>

Увещательное наклонение

1-е лицо ед. числа	<i>м-, -к</i>	<i>м-, -к</i>	<i>м-, -к</i>	<i>м-, -к (-кечан)</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэн-, -мэк</i>	<i>мэн-, -ла,</i>	<i>мэн-, -ла</i>	<i>мэн-, -к (-кечан)</i>

Сослагательное наклонение

1-е лицо ед. числа	<i>т'э-, -к</i>	<i>т'е-/т'а-, -к</i>	<i>т'а-, -к</i>	<i>тк'-, -к</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэн'э-, -мэк</i>	<i>мэн'е-/мэн'а-, -ламэк</i>	<i>мэн'а-, -ламэк</i>	<i>нк'-, -к</i>

Переходный глагол

Форма 3-го лица мн. числа субъекта и 3-го лица ед. числа объекта («они его»)

Время, наклонение	Я з ы к и			
	чукотский	корякский	керекский	итель- менский
Настоящее:				
изъяв.	<i>не-/на-, -ркэп</i>	<i>неку-/нако-, -ңэп</i>	<i>нку-, -ңэн</i>	<i>ап-, -н</i>
Прошедшее:				
изъяв.	<i>не-/э-, -н</i>	<i>не-/э-, -н</i>	<i>на-, -н</i>	<i>ан-, -һэн</i>
Будущее:				
изъяв.	<i>нере-/нара-, -ңэп</i>	<i>неје-/наја-, -ңэп</i>	<i>наја-, -ңэн</i>	<i>ан-, -аһэн</i>
увещев.	<i>'эн-, -н (-г'ен/-г'ан)</i>	<i>'эн-/'ан-, -н (-г'ен/ -г'ан)</i>	<i>'ан-, -н (-г'ан)</i>	<i>хан-, -һэн</i>
сослаг.	<i>н'енэ-/н'анэ-, -н (-г'н/-г'н)</i>	<i>н'енд-/нанд-, -н (-г'ен/-г'ан)</i>	<i>н'анэ-, -н (-г'ан)</i>	

Наряду с приведенными здесь формами настоящего времени в чукотском и керекском широко употребляются еще формы настоящего длительного (аориста), причем в обоих языках они имеют почти одинаковое материальное выражение. Так, например, в формах 1-го лица ед. числа переходного глагола в чукотском языке имеется префикс *н-* и суффикс *-игам/-егэм*, в керекском языке — префикс *н-* и суффикс *-шум*; в переходных глаголах того же лица и числа в чукотском языке — префикс *нине* *-/нена-* и суффикс *-игэм/егэм*, в керекском — префикс *нине* и суффикс *-шум*. Наличие аориста и одинаковое оформление его в чукотском и керекском сближает эти языки, обособляя их от других чукотско-камчатских языков, в частности от корякского (точнее — его чавчувенского диалекта).

Материальное сходство наблюдается также в образовании всех других глагольных форм, форм прилагательных, местоимений и других частей речи, а также в области словообразования чукотско-камчатских языков. При этом в отношении и этих форм близость между чукотским, корякским и керекским языками значительно большая, чем между ними же и ительменским языком.

Характерной чертой общности чукотско-камчатских языков в области грамматического строя является также инкорпорация. Как известно, инкорпорация представляет собой временное объединение в потоке речи нескольких основ в единое морфологическое целое, посредством чего выражаются грамматические отношения, являющиеся по существу синтаксическими [например: чукотск. *мэт-копра-итэват-эргэн* «сеть ставим», корякск. *мэтко-қоја-шетал-лаң* «(около) оленей работаем» и т. п.]¹. Этот своеобразный грамматический прием объединяет чукотско-камчатские языки² и резко выделяет их из всех соседних языков.

Другой наиболее характерной чертой общности синтаксиса чукотско-камчатских языков является наличие двух основных конструкций глагольного предложения: номинативной и эргативной. В номинативной конструкции сказуемое в безобъектной форме (переходный глагол) согласуется в лице и числе с наименованием субъекта в основном (абсолютном) падеже, например керекск. *тэјэкку нат'ај'эл'аттэјэкку* «вы смаетесь». В эргативной конструкции сказуемое в субъектно-объектной форме (переходный глагол), согласуясь в лице и числе с наименованием прямого объекта в основном падеже, посредством особых показателей отражает лицо и число субъекта, наименование которого выступает в косвенном (эргативном) падеже, например корякск. *ојачека нај' онаш јэјаква* «юноши настягли моржей».

Общность лексического состава чукотско-камчатских языков обнаруживается прежде всего в местоимениях и наречиях, затем в тех частях словаря, которые связаны с обозначением возрастных групп людей, родства и свойства, частей тела, наименованиями жилища, оленеводства, охоты, явлений природы, мировоззрения и вообще всех тех областей материальной и духовной культуры, которые являются общими для носителей этих языков. См. общность личных местоимений:

¹ Подробнее об инкорпорации см.: П. Я. Скорик, Очерки по синтаксису чукотского языка. Инкорпорация, Л., 1948; его же, Инкорпорация в чукотском языке как способ выражения синтаксических отношений, ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 6.

² В основном это относится к чукотскому, корякскому и керекскому языкам. В имеющихся материалах по ительменскому языку инкорпорирование занимает сравнительно небольшое место, причем встречаются преимущественно именные инкорпоративные образования.

	Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Ительменский язык
ед. число				
1-е лицо	гэм	гэм.мо	умнчу	кэм.ма
Основа	гэм	гэм	ум	кэм
2-е лицо	гэти	гэччи	эңңчу	кэза
Основа	гэн	гэн	эн	кэн
3-е лицо	этилон	энно	эннчу	эна
Основа	эн	эн	эн	эн
дв. число				
1-е лицо	—	муји	мэј	—
Основа	—	муј/мој	мэј	—
2-е лицо	—	туји	тэј	—
Основа	—	туј/тој	тэј	—
3-е лицо	—	эччи	иччи	—
Основа	—	эј	иј	—
мн. число				
1-е лицо	мури	мују	мэјкку	муза
Основа	мур/мор	муј/мој	мэј	муз
2-е лицо	тури	тују	тэјкку	туза
Основа	тур/тор	туј-/тој-	тэј	туз
3-е лицо	этри	эччу	иикку	итх
Основа	эр	эј	иј	тх

В других частях словарного состава имеется сравнительно небольшое количество слов, общих для всех родственных языков. В качестве иллюстрации могут быть приведены, например, следующие:

Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Ительменский язык	Значение
пэнлок	пэнлок	пэнлук	пэн'кос	«спрашивать»
шала	шала	шала	hwалч	«нож»
и'тэн	и'ннин	и'нэна	хэитэн	«шея»
кукеңэ	кукеңэ	кукаңа	кукеч	«котел»
лиңлиң	лиңлиң	лиңлиң	луңулуңу	«сердце»
гиңгиги	гиңгигиң	'иңин'эң	хилэгэн	«сеть»
јанот	јанот	јанут	јанотк	«спачала»
јатјол	јатјол	јатјул	чэ'ол	«лиса»
'и'нэ	'егэлңэн	'и'эңа	хэиһинэ	«волк» и др.

Тем не менее процесс обособления отдельных языков чукотско-камчатской группы наблюдается в первую очередь в области словарного состава, и лексические различия в указанных языках значительно превышают различия в грамматике.

Особенно большие расхождения в лексике имеются между ительменским и остальными тремя языками чукотско-камчатской группы. В ряде случаев ительменские слова являются общими с корякскими, а чукотские — с керекскими, например:

Чукотские	Корякские	Керекские	Ительменские	Значение
мигчиретэк	шетатак	микчијетэк	шетаткас	«работать»
мемэл	калил'эн	мимэл	келил'ан	«нерпа»
ун'ел	мемэл	ун'ал	мемэл	«лахтак» и др.

Имеется ительменская лексика, общая с чукотской и корякской, но отличная от керекской, например: чукотск. *јэлкетэк*, корякск. *јэлкетэк*, ительм. *јэлкеткес*, керекск. *г'ијак* «спать». Некоторые ительменские слова общи с корякскими и керекскими, но отличны от чукотских, например: корякск. *пенкел*, керекск. *панкан*, ительм. *пекел*, чукотск. *к'ели* «шапка». Однако в ительменском языке есть и такие слова, кото-

рыс роднят его с чукотским и керекским, но отличают от корякского, например: чукотск. *ненекеј*, керекск. *нананақи*, ительм. *нененекеча*, корякск. *қајэкмиңэн* «ребенок» и некоторые другие.

Остальные три языка — чукотский, корякский и керекский — имеют в области лексики большую общность. Значительную часть их словаря составляют слова, общие для всех трех языков:

Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Значение
<i>чотчот</i>	<i>чотчот</i>	<i>чутчут</i>	«подушка»
<i>еек</i>	<i>ејек</i>	<i>аакаңа</i>	«лампа»
<i>лелеләэн</i>	<i>лелеләэн</i>	<i>лилиқал</i>	«рукавица»
<i>тешэк</i>	<i>тешэк</i>	<i>чиш'атэк</i>	«грести»
<i>чаметак</i>	<i>чаметак</i>	<i>јамитак</i>	«подкрадываться»
<i>кепер</i>	<i>кепеј</i>	<i>капааңа</i>	«росомаха»
<i>мимәл</i>	<i>мимәл</i>	<i>мимләңа</i>	«вода»
<i>рэркә</i>	<i>јэјка</i>	<i>икаңа</i>	«морж»
<i>әлиәлү</i>	<i>әлиәл</i>	<i>лүлү</i>	«олень (дикий)»
<i>пәнлок</i>	<i>пәнлок</i>	<i>пәнлук</i>	«спросить»
<i>екэк</i>	<i>акэк</i>	<i>аккаңа</i>	«сын» и многие др.

В то же время по своей лексике керекский язык является как бы промежуточным звеном между чукотским и корякским языками. В одной части своей лексики керекский сходен с чукотским языком и отличается от корякского, например:

Чукотский язык	Керекский язык	Корякский язык	Значение
<i>кәтгәнтатэк</i>	<i>кәт'әнтатэк</i>	<i>кәләләләтэк</i>	«бежать»
<i>чимгук</i>	<i>чим'ук</i>	<i>чечкејүңэк</i>	«думать»
<i>коргәч'атэк</i>	<i>кујүч'атэк</i>	<i>јуемэк</i>	«радоваться»
<i>әтләгән</i>	<i>әтәңна</i>	<i>етич</i>	«отец»
<i>шакотшак</i>	<i>шакутшак</i>	<i>шәләләтшак</i>	«сидеть»
<i>ринтэк</i>	<i>нитэк</i>	<i>јуңлэк</i>	«бросить» и др.

В несколько меньшем количестве слов, по имеющимся материалам, керекский сходен с корякским языком и отличен от чукотского, например:

Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Значение
<i>еметэк</i>	<i>аак</i>	<i>аак</i>	«волочить»
<i>почалгән</i>	<i>әлләләңи</i>	<i>илләқал</i>	«рука»
<i>керкер</i>	<i>һашкеј</i>	<i>һашқи</i>	«женский комбинезон»
<i>тәһәткук</i>	<i>ачагәтәк</i>	<i>атајәл'атэк</i>	«смеяться» и др.

Значительная часть лексики керекского языка не имеет генетической общности с лексикой как корякского, так и чукотского языков. При этом в одних случаях керекские слова противостоят словам, являющимся общими для чукотского и корякского языков, например:

Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Значение
<i>тергәтэк</i>	<i>тејңатэк</i>	<i>јәңаиләк</i>	«плакать»
<i>тиркәтир</i>	<i>тиңкәтиј</i>	<i>пә'әл'ан</i>	«солнце»
<i>јороңә</i>	<i>јојоңә</i>	<i>ин'ә'ә</i>	«полог»
<i>инирәин</i>	<i>инији</i>	<i>пәкәллиһаң</i>	«оденло»
<i>әвкуч</i>	<i>қәләшол</i>	<i>һаниккәләң</i>	«муж»
<i>јул'ејил</i>	<i>јул'ејил</i>	<i>чикаккаңа</i>	«евражка»
<i>емчаочалгән</i>	<i>имчечук</i>	<i>инчул'ән</i>	«горюстай» и др.

В других случаях — это слова, различные для всех трех языков, например:

Чукотский язык	Корякский язык	Керекский язык	Значение
<i>такал</i>	<i>таноналла</i>	<i>чкалки</i>	«сова (полярная)»
<i>текежэк</i>	<i>кеңеичитэк</i>	<i>и'ниниэк</i>	«бороться»
<i>пекэчалээн</i>	<i>чејеј</i>	<i>ич'акуна</i>	«кулик»
<i>каметвак</i>	<i>еијик</i>	<i>аккајэк</i>	«кушать» и т. п.

Особенностью керекской лексики является то, что, будучи в большей своей части генетически общей с лексикой чукотского и корякского языков, она и в этой части имеет значительные отличия, обусловленные специфичностью звукового состава и аффиксации слов в керекском языке.

Фонетическая и структурная общность чукотско-камчатских языков, материальное сходство их грамматических средств и общность значительной части лексики свидетельствуют о несомненном генетическом единстве этих языков и являются достаточно твердым основанием для выделения их в группу родственных. При этом, как уже отмечалось, родство чукотского, корякского и керекского языков является более близким, чем трех этих языков с ительменским.

II

В лингвистике до настоящего времени еще не выработаны твердо установленные, одинаковые для всех языковых групп критерии выделения диалектов. Применяемый в этих целях принцип степени взаимопонимания представителей языковых подразделений дает широкие возможности для субъективного толкования в каждом отдельном случае, являясь слишком общим и неопределенным. Как известно, невозможность обслужить одной письменностью резко расходящиеся диалекты, которые по существу являются близко родственными языками, привела к необходимости внести существенные изменения в классификацию некоторых групп языков народов Севера¹. Традиционная классификация чукотско-камчатских языков, установленная еще при довольно слабой изученности их диалектов, также не может считаться окончательной. Диалектный состав этих языков в настоящее время исследован все еще далеко недостаточно. Однако имеющиеся сведения свидетельствуют о необходимости уточнить существующую классификацию и прежде всего пересмотреть вопрос о диалектном составе корякского языка.

В корякском языке насчитывают восемь диалектов: чавчувенский, на котором говорит основная часть оленеводов, составляющая почти половину коряков, алюторский, охватывающий вторую по величине группу населения, и шесть диалектов, распространенных среди менее многочисленных групп коряков: анукинский, карагинский, итканский, паланский, паренский и каменский.

В этой группе особо выделяются чавчувенский и алюторский диалекты, резко отличающиеся друг от друга своими специфическими признаками. Так, например, в области фонетики эти два диалекта различаются звуковым составом (алюторский имеет согласный *p*, чавчувенский его не имеет), сферой действия гармонии гласных и ассимиляции согласных. В области морфологии эти диалекты характеризуются различными системами как склонения имен (в чавчувенском — десять падежей, в алюторском — девять, причем различаются также и показатели некоторых одинаковых для обоих диалектов падежей), так и спряжения глаголов (в чав-

¹ См., например, решение по вопросу о создании письменности на диалектах хантыйского языка, принятое на Совещании по языкам народов Севера в 1952 г. («Из постановления совещания по языкам народов Севера», ВЯ, 1953, № 2, стр. 140).

чувшенском имеется одно настоящее время, в алыторском — два; значительны отличия форм второго прошедшего времени). Неодинаковы также формы качественных прилагательных, качественных наречий и причастий. В отношении фонетических и морфологических признаков, а также некоторых частей лексики алыторский диалект имеет большую близость с чукотским языком, чем с чувшенским диалектом корякского языка. Однако от чукотского языка он также имеет большие отличия. Схождения и расхождения алыторского диалекта с чувшенским диалектом и чукотским языком могут быть проиллюстрированы следующими примерами.

Из области фонетики

Чувшенский диалект корякского языка	Алыторский диалект корякского языка	Чукотский язык	Значение
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	----------

а) звуковые соответствия

<i>којоңа</i>	<i>кораңа</i>	<i>кораңа</i>	«олень»
<i>мучгин</i>	<i>мургин</i>	<i>мургин</i>	«мой»
<i>кепел</i>	<i>канап</i>	<i>кепер</i>	«росомаха»
<i>ојачек</i>	<i>урасик</i>	<i>орачек</i>	«юноша»
<i>чутку</i>	<i>гутку</i>	<i>нутку</i>	«здесь»

б) стечение согласных

<i>тәлек</i>	<i>тлаккы</i>	<i>тәлек</i>	«идти»
<i>пәкијәк</i>	<i>пкирәк</i>	<i>пәкирәк</i>	«приходить»

в) ассимиляция гласных

<i>ңәшәтәт</i>	<i>ңәшәсәт</i>	<i>ңеүәкет</i>	чувш.: «жена» алыторск. и чукотск.: «жен- щина», «девушка»
<i>мәччалла</i>	<i>мәтјалла</i>	<i>мәтјет</i> (<i>мәтјенмык</i>)	«прибыли (мы)»

Из системы склонения имен

Падежи	Чувшенский диалект	Алыторский диалект ¹	Чукотский язык
Абсолютный ед. число	-н	-н	-н
дв. число	-т	-т	—
мн. число	-у/-о; -хи/-ве	-уши	-т
Дательно-направительный ²	-јтәң } -етәң }	-ң	-етә -еты
Исходный	-үңо		-јпә, -гәпә
Эргативный (личных местоимений)	-нан	-нанны, -наннын	-нан

¹ Примеры по корякскому языку взяты из работы С. Н. Стебницкого «Алыторский диалект нымыланского (корякского) языка» (сб. «Советский Север», 1, Л., 1938).

² У нарицательных существительных в косвенных падежах грамматическое число не различается.

Как видно из последнего сопоставления, двум различным падежным формам (исходного и дательно-направительного) чукотского языка и час-

чувенского диалекта корякского языка в алюторском диалекте соответствует одна падежная форма. Следует, однако, отметить, что наряду с указанной формой на *-ң* в алюторском диалекте иногда употребляется форма на *-ңкал*, тождественная форме исходного падежа в ительменском языке. Однако исключительно редкое употребление этой формы в алюторском диалекте свидетельствует, очевидно, о том, что она сохранилась там пережиточно. Продолжим наше сопоставление.

Из системы спряжения глагола

	Чавчуевский диалект	Алюторский диалект	Чукотский язык
--	------------------------	-----------------------	-------------------

а) настоящее время непереходного глагола¹

1-е лицо ед. числа	<i>тэку-/тэко-, -ң</i>	<i>т-, -ткэн</i>	<i>т-, -ркэн</i>
2-е лицо ед. числа		<i>н-, -игэм</i>	<i>н-, -игэм/-егэм</i>
1-е лицо мн. числа	<i>мэтко-, -лап</i>	<i>мэт-, -латкэн</i>	<i>мэт-, -ркэн</i>
2-е лицо мн. числа		<i>н-, -муружи</i>	<i>н-, -мури-/море</i>

б) настоящее время переходного глагола (субъектно-объектные формы)

Форма 1-го лица ед. числа субъекта	<i>тэку-/тэко-, -ги, -ге</i>	<i>т-, -ткэнигэт</i>	<i>т-, -ркэнигэт/ -ркэнегэт</i>
Форма 2-го лица ед. числа объекта		<i>н-, -игэт</i>	<i>нине-/нена-, -игэт/-егэт</i>
Форма 1-го лица мн. числа субъекта	<i>мэтко-, -лаңтэк</i>	<i>мэт-, латкэ- нитэк</i>	<i>мэт-, -ткэнитэк/ -ркэнетэк</i>
Форма 2-го лица мн. числа объекта		<i>н-, -туружи</i>	<i>нине-/нена-, -му- ри/-море</i>

¹ Как уже отмечалось (стр. 29), алюторский диалект имеет два настоящих времени (1-е и 2-е), что отличает его от чавчуевского диалекта, имеющего одно настоящее, и сближает с чукотским языком. Формы второго настоящего в алюторском диалекте корякского языка обнаружены И. С. Вдовиным, который любезно предоставил мне также приведенные здесь примеры на эти формы.

Формами второго настоящего времени в алюторском диалекте и в чукотском языке выражается длительное, не ограниченное во времени действие, в отличие от форм первого настоящего, которое обозначает действие, протекающее в момент речи; ср., например: алюторск. *мэтэтки-шаткэн*, чукотск. *мэтэткишэркэн* «ночуем» (в момент речи), но алюторск. *нэткишмуружи*, чукотск. *нэткишмури* «ночуем» (вообще); алюторск. *мэтпэлаткэнитэк*, чукотск. *мэтпеларкэнетэк* «(вас) оставляем» (в момент речи), но алюторск. *нэпелатуружи*, чукотск. *ненапеламоре* «(вас) оставляем» (вообще). В чавчуевском диалекте оба эти значения выражаются одной формой настоящего времени, например: *мэткуткишэң* «ночуем» (и в момент речи, и вообще), *мэткопелантэк* «(вас) оставляю» (и в момент речи, и вообще).

В прошедшем втором времени (непереходного и переходного глаголов (формы 3-го лица в алюторском диалекте отличаются от соответ-

ствующих форм чавчувенского диалекта и чукотского языка: чавчув. *гелелинеш*, алюторск. *галалаң(эт)*, чукотск. *гелелинет* «шли»; чавчув. *генулинеш*, алюторск. *ганулаң(эт)*, чукотск. *генулинет* «съели (их)». Такие же примерно отличия для этих двух диалектов можно наблюдать на примерах формы 3-го лица качественных прилагательных (чавчув. *н'инэқинеш*, алюторск. *н'инэлаң*, чукотск. *н'инэқинет* «быстрые»), а также форм качественных наречий (чавчув. *нэмел'еш*, алюторск. *нэмал'а*, чукотск. *нэмел'еш* «хорошо»). В указанных диалектах различаются также деепричастия в той своей форме, которая выражает второстепенное действие, сопутствующее основному (чавчув. *тэлама*, алюторск. *тэлакама*; ср. чукотск. *тэлама* «идя»). Не менее существенные различия наблюдаются между алюторским и чавчувенским диалектами по линии словообразования и в области лексики.

Резкое расхождение между чавчувенским и алюторским диалектами было в свое время отмечено крупнейшим исследователем корякского языка С. Н. Стебницким, который одно время был склонен относить алюторский диалект не к корякскому, а к чукотскому языку¹. Однако с этим трудно согласиться. Из приведенного сопоставления видно, что алюторский диалект имеет с чукотским языком такие фонетические и морфологические различия, которые значительно выходят за рамки обычных диалектных расхождений. Вместе с тем, как показал учет материалов по керекскому языку, собранных во время экспедиций Института языкознания АН СССР в 1954—1955 гг. и в 1956 г., специфические черты алюторского диалекта корякского языка, отличающие его от чавчувенского диалекта и чукотского языка, во многом являются общими с чертами керекского языка.

Общность между алюторским диалектом и керекским языком наблюдается в области фонетики, морфологии и лексики; однако по всем этим линиям имеются и глубокие расхождения. Наиболее характерной чертой фонетической общности алюторского диалекта и керекского языка, ограничивающей их от чукотского языка и от чавчувенского диалекта, является то, что в алюторском диалекте, как и в керекском языке, нет гармонии гласных. Правда, в алюторском диалекте имеются отсутствующие в керекском языке гласные *о* и *е*, однако они встречаются очень редко и никогда не чередуются по закону гармонии гласных. Кроме того, в керекском языке и алюторском диалекте имеет место не свойственное чавчувенскому диалекту и чукотскому языку стечение согласных (в керекском языке оно распространено гораздо шире, чем в алюторском диалекте), а также редукция некоторых суффиксов в конце слова. Вместе с тем в алюторском диалекте существуют гласные *р* и *г*, которых, как отмечалось выше, нет в керекском языке. Между алюторским диалектом и керекским языком имеются такие звуковые соответствия, которые не связаны с отсутствием в керекском языке указанных согласных. И алюторский диалект, и керекский язык имеют также специфические для каждого из них случаи ассимиляции согласных. Определенные фонетические схождения и расхождения между алюторским диалектом и керекским языком можно видеть из следующих сопоставлений, в которых первыми даются алюторские слова, вторыми — керекские; *рараңа/јааңа* «жилье», *ит'эн/и/ј'ан* «кухлянка», *энкэ/энчи* «там», *татаул/јајул* «лиса», *қорақа/қујакуј* «олень», *тумакашэк/нумакашэк* «собирать», *тэмэт-кук/тэмэттук* «избивать (убивать)», *нымкэк/нымкэки* «много» («многочисленный») и т. д. Фонетические расхождения между керекским языком,

¹ С. Н. Стебницкий, Алюторский диалект нымчалского (корякского) языка, стр. 97—102.

с одной стороны, и чавчуvenским и аляutorским диалектами корякского языка, а также чукотским языком — с другой, часто определяют их различия и в области словозменения. Так, например, если в чукотском языке глагол в 1-м лице ед. числа будущего времени имеет префикс *тре-/тра-*, в аляutorском диалекте корякского языка — *тра-*, в чавчуvenском диалекте — *тэје-/тэја-*, то в керекском — это будет префикс *чија-* (чукотск. *трепкирэркэн*, аляutorск. *трапкитэткэн*, чавчуv. *тэјепкијэјки*, керекск. *чијапкији* «буду приходить»).

В области морфологии общим для аляutorского диалекта и керекского языка является наличие двух настоящих времен глагола, как в чукотском; однако в глагольных формах чукотского языка различаются единственное и множественное числа, а в аляutorском диалекте и керекском языке — единственное, двойственное и множественное.

Аляutorский диалект по формам настоящего второго внешне несколько отличается от более сходных между собой в этом отношении чукотского и керекского языков, например: чукотск. *тури нснпсламоре*, керекск. *тэјэку нинаплатэјэку*, аляutorск. *турушши нэпиплатурушши* «вас оставляем». Вместе с тем наличие форм двойственного числа в аляutorском диалекте и в керекском языке объединяет последние, отличая их от чукотского языка. Что же касается чавчуvenского диалекта, то он, как уже отмечалось, глагольных форм настоящего времени не имеет вообще.

Глагольными формами настоящего первого аляutorский диалект сходен с чукотским языком и отличается от керекского, который в отношении этих форм сближается с чавчуvenским диалектом, например: чукотск. *тэнтэркэн*, аляutorск. *тэнтэткэн*, чавчуv. *тэконтоң*, керекск. *тэкунтуң* «выхожу». Однако это сближение чисто внешнее: по своему значению указанные формы керекского языка тождественны аляutorским и чукотским и, так же, как и последние, отличаются от чавчуvenских форм, хотя и имеют с ними внешнее сходство (чукотск. *тэлэркэн* «иду», *нэлэјгэм* «хожу», аляutorск. *тэлэткэн* «иду», *нэлэјгэм* «хожу», керекск. *тэкулаң* «иду», *нэлајум* «хожу», чавчуv. *кул-ң* «иду», «хожу»).

Прошедшее второе в чукотском и керекском языках и в чавчуvenском и аляutorском диалектах корякского языка имеет одинаковое грамматическое значение, но различается своим оформлением, например: чукотск. *гел'улинет*, керекск. *нал'улаңи*, чавчуv. *гел'улинеи*, аляutorск. *гал'улаң(эт)* «увидели (их)».

Различаются своими показателями и формы других лиц этого времени, например: чукотск. *гепиңкумури*, чавчуv. *гепиңкумују*, аляutorск. *гепинкумуришши*, керекск. *гепинкумэјэку* «прыгали (мы)»; чукотск. *гел'умури*, чавчуv. *гел'умују*, аляutorск. *гал'умуришши*, керекск. *нал'умэјэку* «увидели (нас)».

В системе склонения аляutorский диалект корякского языка в основном сходен с керекским языком, но, как от чавчуvenского диалекта и чукотского языка, отличается от него тем, что вместо форм дательного-направительного и исходного падежей имеет одну падежную форму (см. стр. 31); различны в аляutorском диалекте и керекском языке также показатели сопроводительного падежа (керекск. *накујама*, аляutorск. *авэнкорама* «с оленем», «с оленями»), эргативного падежа личных местоимений (керекск. *умнан*, аляutorск. *гэмнанна* «я», керекск. *тэјэнан*, аляutorск. *торгэнанна* «вы» и т. д.¹) и, кроме того, показатели некоторых форм других частей речи.

¹ Оформлением этого падежа аляutorский диалект отличается также от чавчуvenского диалекта и чукотского языка (чавчуv. и чукотск. *гэман* «я», чавчуv. *мочгэнан*, чукотск. *торгэнан* «мы»).

Алюторский диалект имеет много общего в области лексики с чавчувенским диалектом, а также с керекским и чукотским языками, причем в последнем случае — чаще всего в той части словаря, в которой чавчувенский диалект разнится от чукотского языка, например:

Чукотский язык	Чавчувенский диалект корякского языка	Керекский язык	Алюторский диалект корякского языка	Значение
<i>мигчиретэк</i>	<i>жетатэк</i>	<i>микчиетэк</i>	<i>ситатэк</i>	«работать»
<i>јэлкетэк</i>	<i>јэлкетэк</i>	<i>чи'јок</i>	<i>јэлкатэк</i>	«спать»
<i>нермеџин</i>	<i>накет'уџин</i>	<i>накет'уџи</i>	<i>некатгалаџ</i>	«сильный»
<i>џэнур</i>	<i>теџэн</i>	<i>унка</i>	<i>џэнур</i>	«как» («подобно»)
<i>этлэгэн</i>	<i>енич</i>	<i>этэнца</i>	<i>аллагэн</i>	«отец» и т. п.

Часть слов алюторского диалекта не сходна ни с лексикой чавчувенского диалекта, ни с лексикой чукотского и керекского языков, например:

Чукотский язык	Чавчувенский диалект корякского языка	Керекский язык	Алюторский диалект корякского языка	Значение
<i>пекэчэлэгэн</i>	<i>чејеј</i>	<i>ич'икуца</i>	<i>ијургэн</i>	«кулик»
<i>нененэ</i>	<i>кэмиџэн</i>	<i>пипипи</i>	<i>унуну</i>	«ребенок»
<i>энџо(рэ)</i>	<i>иэ'ајок</i>	<i>иџу</i>	<i>орагасаџ</i>	«затем»
<i>миџка</i>	<i>миџка</i>	<i>миџи</i>	<i>мајак</i>	«где»
<i>кордэлэгэн</i>	<i>анапел</i>	<i>куј'ица</i>	<i>кутгэџун</i>	«паук» и др.

Значительная часть алюторской лексики, генетически общей с лексикой указанных двух языков и диалекта или некоторых из них, в результате специфичности фонетики алюторского диалекта настолько резко отличается от лексики этих языковых подразделений, что общность соответствующих слов выявляется лишь при помощи специального анализа, например:

Чукотский язык	Чавчувенский диалект корякского языка	Керекский язык	Алюторский диалект корякского языка	Значение
<i>решэмреш</i>	<i>јешјеш</i>	<i>јашјаш</i>	<i>роро</i>	«куропатка»
<i>меџин</i>	<i>меки</i>	<i>маки</i>	<i>мигги</i>	«кто»
<i>р'енун</i>	<i>јэнне</i>	<i>јаџун</i>	<i>тинга</i>	«что»
<i>решэл'эџ</i>	<i>јашэл'эн</i>	<i>јашэл'эн</i>	<i>лаул'ан</i>	«белка»
<i>јатјол</i>	<i>јајол</i>	<i>јајул</i>	<i>татул</i>	«лиса»
<i>рэркэ</i>	<i>јэјка</i>	<i>икаџа</i>	<i>тэтка</i>	«морж»
<i>румекешэк</i>	<i>јумекешэк</i>	<i>нумекешэк</i>	<i>тумекешэк</i>	«собирать» и др.

Итак, в конечном итоге лексика алюторского диалекта корякского языка не менее своеобразна, чем фонетика и грамматика этого диалекта.

Все сказанное о так называемом алюторском диалекте корякского языка свидетельствует о том, что он отличается от чавчувенского диалекта того же языка так же глубоко, как и от других языков чукотской группы. Это дает достаточное основание для выделения его как самостоятельного языка. К алюторскому языку следует отнести карагинский и паланский диалекты, которые близко примыкают к этому языку, по существу являясь его диалектами. Остальные корякские диалекты близки к чавчувенскому

диалекту, хотя (за исключением апукинского) и имеют отличия от него, но, как свидетельствует имеющийся материал, значительно меньшие, нежели алюторский, карагинский и паланский. Поэтому чавчувенский, апукинский, каменский, паренский и итканский диалекты, как нам кажется, могут быть объединены как диалекты корякского языка. Если произвести такое уточнение (а это сделать крайне необходимо), то в чукотско-камчатской группе вместо четырех будет насчитываться пять языков.

Таким образом, предлагаемая классификация чукотско-камчатских языков вместе с их диалектами представит следующую схему:

1) чукотский язык, который, по неполным сведениям, подразделяется на пять диалектов: уэлленский (восточный), певекский (западный), энмылинский, нунлигранский и хатырский, имеющих сравнительно небольшие фонетические, лексические и еще меньшие морфологические различия;

2) корякский язык, состоящий из пяти диалектов: чавчувенского, апукинского, каменского, паренского и итканского. Из них первые два имеют лишь сравнительно небольшие фонетические и лексические различия, а три остальные отличаются еще и по линии некоторых морфологических явлений;

3) алюторский язык, состоящий из трех диалектов: алюторского, карагинского и паланского, очень незначительно различающихся между собой лишь в области фонетики и лексики;

4) керекский язык, подразделяющийся на два диалекта: майна-пильгинский и хатырский, которые, по предварительным сведениям, имеют не только фонетические и лексические, но и морфологические различия;

5) ительменский язык, в котором от многочисленных в прошлом диалектов в настоящее время сохранились лишь некоторые: седанский, хайрюзовский, напанский и сопочновский, отличающиеся друг от друга в области фонетики, лексики и морфологии.

Было бы неоправданной смелостью утверждать, что предложенная здесь классификация окончательна. Как уже отмечалось, многие диалекты чукотско-камчатских языков изучены пока слабо, а в отдельных случаях они еще даже не до конца выявлены. Поэтому приведенная схема неизбежно будет уточняться. Но можно с уверенностью сказать, что это уточнение коснется только диалектов, а не языков, о которых в настоящее время имеются достаточные сведения.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ К IV МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

«Вопросы языкознания» неоднократно сообщали о подготовке советских и зарубежных ученых к IV Международному съезду славистов, который должен состояться в Москве с 1 по 10 сентября 1958 г.

В № 4 за 1956 год в статье «О некоторых актуальных задачах современного советского языкознания» редакция известила о подготовленном Советским комитетом славистов списке вопросов, подлежащих обсуждению до съезда. Советский комитет славистов поставил перед учеными-славистами, помимо литературоведческих вопросов, тридцать вопросов, охватывающих основные проблемы славянского языкознания:

- 1) Каковы основные задачи и проблемы типологии славянских языков?
- 2) Каков был характер лексических взаимодействий славянских литературных языков в разные периоды их истории?
- 3) Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?
- 4) Каковы типы лексической омонимии в системе славянских языков (общее для всех славянских языков, индивидуальное для отдельных славянских языков)?
- 5) Каковы принципы составления дифференциальных двуязычных словарей славянских языков (русско-чешского, чешско-русского, чешко-польского и т. п.)?
- 6) Каковы принципы составления сопоставительного словаря современных славянских литературных языков?
- 7) Что нового внесла структуральная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков?
- 8) Какие новые возможности для изучения истории праславянского языка дает так называемая «внутренняя реконструкция»?
- 9) Применим ли сравнительно-исторический метод при реконструкции синтаксических явлений языка дописанного периода?
- 10) В каких случаях следует учитывать явления фонетической субституции в истории праславянского языка?
- 11) Какова была структура слога в праславянском языке?
- 12) Какие древние типы именных основ сохранились в поздний период истории праславянского языка?
- 13) Когда возникла полная форма прилагательного и каково было ее значение в праславянском и древних славянских языках?
- 14) Каково было видовое значение глагольных основ в праславянском языке?
- 15) Каковы общие и частные закономерности развития глагольной системы в славянских языках?
- 16) Каковы основные отличия именной и глагольной суффиксальной системы праславянского, праиндоевропейского и отдельных славянских языков?
- 17) Каковы пути развития отменного глагольного и отглагольного именного словообразования в славянских языках?
- 18) Каковы специфические способы выражения модальности в славянских языках?
- 19) Каковы основные задачи сравнительного изучения интонации предложения в славянских языках?
- 20) Существовало ли балто-славянское языковое и этническое единство и как следует его понимать?
- 21) Как следует представлять территорию славянской прародины?
- 22) К каким периодам относятся факты разделения славян на основные ветви?
- 23) Какова роль отдельных балканских языков в формировании южнославянских языков?
- 24) Какова роль субстрата в развитии фонетической системы и грамматического строя отдельных славянских языков?
- 25) Какова роль славянского адстрата и субстрата в развитии фонетической системы и грамматического строя соседних неславянских языков и каково их значение для изучения славянской исторической фонетики и грамматики?

26) Что может дать лингвистическое картографирование для классификации славянских языков?

27) Как Вы относитесь к вопросу о возможности построения лингвистического атласа отдельных групп славянских языков или славянских языков в целом? Каково должно быть построение такого атласа?

28) Отражают ли и в какой мере диалекты отдельных славянских языков племенные языки?

29) Каково значение диалектных данных для построения исторического синтаксиса отдельных славянских языков?

30) Какой из славянских алфавитов древнее — глаголица или кириллица; какой из этих алфавитов создан Кириллом и Мефодием?

Советский комитет славистов получил от ученых разных стран значительное число ответов, которые будут опубликованы в отдельном сборнике, посвященном предстоящему съезду. «Вопросы языкознания» помещают в настоящем номере ряд ответов на один из предложенных вопросов: *Существовало ли балто-славянское языковое и этническое единство и как следует его понимать?* В последующих номерах будут публиковаться ответы на ряд других вопросов.

Ответы К. Яначка, В. Георгиева, М. Будимира, П. Троста, И. Лскова, Э. Дикенмана, Л. Треймера печатаются в переводе А. К. Кошелева; ответ Т. Лера-Славинского — в переводе Л. Е. Бокаревой.

Вопрос «Существовало ли балто-славянское языковое и этническое единство и как следует его понимать?» сформулирован так, что затрудняет до некоторой степени однозначный ответ. Ведь языковое и этническое единство трудно считать совершенно друг друга покрывающими понятиями. Известно из данных истории, что могут встретиться случаи, когда различные этнические единства пользуются общим, с небольшими различиями, языком — достаточно указать в данном случае на современных сербов и хорватов, которые отличаются как в антропологическом отношении, так и культурно-историческими традициями, но говорят на едином языке, являющемся, без сомнения, выражением общих и, между прочим, унифицирующих тенденций развития; и наоборот, существуют единства этнически однородные, осознающие культурно-национальную общность, но пользующиеся в повседневной жизни (а иногда и в литературе) двумя различными языками, — что мы видим в Германии (языки нижненемецкий и верхненемецкий), во Франции (язык французский, провансальский и кельтские наречия в Бретани) или в России (во многом различные между собой наречия северновеликорусское и южновеликорусское).

Нельзя, следовательно, в отношении балто-славянской проблемы дать одновременно ответ на вопрос о языковом и этническом единстве этих групп. Предшествовавшие исследования этой проблемы принимали во внимание почти исключительно его языковую сторону, и поэтому только в этой области мы можем попытаться дать более или менее определенный ответ. Для меня лично этот ответ в основном представляется бесспорным: языковые предки балтов и славян пережили в определенную эпоху период общего языкового развития, о чем показательно свидетельствует ряд изменений и грамматических новообразований, общих тем и другим языкам, но чуждых остальным индоевропейским, а также значительная общность словаря — хотя как в грамматическом строе, так и в словаре встречаются и различия между ними, унаследованные частично из периода праиндоевропейской общности, а частично из периода обособленного развития обеих групп после распада балто-славянской общности, продолжавшейся не менее, чем несколько веков. Я не хочу подробно обосновывать это предположение, так как я уделил этому достаточно внимания в моих предшествующих работах, прежде всего в работе «О происхожде-

нии и прародине славян» («O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian», Poznań, 1946, 237 стр., 6 карт), а также в исследовании «Языковая балто-славянская общность и проблема происхождения славян» («Wspólnota językowa bałto-słowiańska a problem etnogenezy Słowian», «Slavia Antiqua», t. IV (1953), Poznań — Wrocław, 1954, стр. 1—21), в которых учтена предшествующая литература, касающаяся этого вопроса¹.

Что касается дополнительного вопроса: как следует понимать балто-славянское «языковое единство»? — то надо сказать, что о настоящем «единстве» в полном смысле этого слова не может быть речи. С одной стороны, необходимо помнить о том, что ни одно языковое целое с достаточно широким территориальным распространением не может быть вполне монолитным, так как единство языкового развития зависит от непосредственных общественно-языковых контактов, возможных только при очень ограниченном пространстве, намного меньшем, чем то, которое вне всякого сомнения было характерно для балто-славянского языкового единства. Однако, с другой стороны, сравнительно-исторические данные — хотя и очень незначительные и в конечном счете единичные, — касающиеся индоевропейского языка-основы, из которого произошли наречия предков балтийских и славянских племен, несомненно указывают на то, что эта основа была отнюдь не монолитной и что вокруг нее объединялись действительно близкие, но достаточно различающиеся между собой языковые группы, так что наречия будущих балтийских и славянских племен не образовали в пределах языкового индоевропейского мира какой-нибудь компактной группы с определенными задатками будущего совместного языкового развития. Условия для такого развития возникли, разумеется, только после окончательного ослабления связей с другими диалектными группировками вследствие обстоятельств, благоприятствовавших сближению и концентрации племен, говоривших на довольно близких наречиях. Это произошло, по всей вероятности, в результате параллельного направления миграции и территориального сближения новых районов поселения, где они, кроме того, подверглись влиянию общего инородного этническо-языкового субстрата, довольно быстро ассимилированного в языковом отношении².

Все эти обстоятельства, в том числе имеющая не последнее значение и ассимиляция одного и того же языкового субстрата, привели, несомненно, к усилению общих тенденций развития в языке этих племен — тенденций, исследованных в какой-то степени еще из праиндоевропейской эпохи, хотя до того времени недостаточно определившихся³.

Развитие этих общих языковых тенденций не могло, очевидно, уничтожить полностью всех различий, которые были свойственны наречиям балтов и славян еще в предшествующий период, хотя и способствовало, несомненно, значительному их ограничению. Образовавшаяся на такой основе общность развития балто-славянского наречия не могла, однако, стать «языковым единством» в полном смысле этого слова, но, несомненно,

¹ Уже после выхода в свет этих работ появилось на русском языке обширное исследование проф. Я. Огрембского «Славяно-балтийское языковое единство» (ВЯ, 1954, №№ 5, 6). Находясь в печати моя статья, также касающаяся данного вопроса, под заглавием «Балто-славянская общность и проблема этногенеза славян» (в сб. «Вопросы славянского языкознания», вып. 3, в печати).

² Ср. мои замечания по данному вопросу в журналах «Slavia Antiqua» (t. IV (1953), Poznań—Wrocław, 1954, стр. 15) и «Вопросы языкознания» (1955, № 1).

³ Затронутые здесь вопросы рассматриваются мною в работе «Индоевропейские основы языковой балто-славянской общности», печатающейся в польском сборнике к IV Международному съезду славистов («Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej», t. I).

была о б щ н о с т ь ю развития, о существовании которой в прошлом не позволяют сомневаться многочисленные общие грамматические новообразования и лексические связи балто-славянских языков.

Что же касается этнической стороны балто-славянской проблемы, то необходимо помнить, что подтверждение языковой общности, которая объединяла когда-то предков балтов и славян в какое-то более или менее замкнутое языковое единство, не решает данной проблемы. Язык действительно является одним из важнейших элементов этнического своеобразия каждого общества, но, однако, не единственным и не решающим. Кроме языка, в его состав входят и другие важные элементы материальной и культурно-исторического характера, от которых зависят в большей степени, чем от языка, его оформление и развитие. Здесь идет речь, с одной стороны, о физических особенностях членов соответствующего общества и о сумме наложенных на него физических черт, оказывающих, разумеется, влияние, степень которого еще недостаточно выяснена научно, на духовное развитие и на зависящую от него эффективность в производительности труда.

С другой же стороны, этот процесс зависит от духовного развития всего общества и прежде всего от его уровня, проявляющегося в материальной, духовной и общественной культуре. К необходимости учета всех этих факторов приводят исследования в области антропологии, истории материальной культуры, в первую очередь, археологии, а также этнологии и истории общественного строя. Их результаты — до сих пор еще очень неравномерные по уровню и качеству — отчетливо указывают, что пути и темпы развития и изменения любого из компонентов, составляющих этническое своеобразие общества, различны и часто противоположны, несмотря на общность объекта эволюции, которым является данное общество. Это очень затрудняет, а иногда делает просто невозможным удовлетворительное определение этнического характера общества, о котором идет речь. Эти трудности тем более усиливаются, чем дальше в прошлое мы удаляемся, стремясь охарактеризовать определенное общество в одном из прошлых периодов его развития, так как в нашем распоряжении оказывается все меньше фактического материала.

Если речь идет о балто-славянской проблеме, то — минуя ее языковую сторону, образующую особую и в значительной степени замкнутую в себе проблему — мы в конце концов ограничены только теми данными, которые нам дает антропология, а также и доисторическая археология. Первая из этих наук не располагает историческим материалом, характеризующим непосредственно то время, которое смогли бы предположительно отнести к балто-славянскому периоду, и ограничивается в этом отношении лишь ретроспективными заключениями, основанными на современном и историческом материале, в результате чего ее выводы должны ограничиваться лишь общими гипотезами. Они излагаются в соответствии с новейшими взглядами Чекановского¹ в подтверждение того, что в северо-индоевропейских группах, а именно у восточных, скандинавских и некоторых западных германцев, а также у первобытных балтов в антропологической структуре северный элемент преобладает над средиземноморским, у славян же раннего исторического периода, кроме этих двух компонентов, проявляется также лапоновидный. Опираясь на антропологические данные, надо было бы сделать вывод, что балты и славяне раннего исторического периода наряду с общими имели также су-

¹ Ср. работу Я. Чекановского «Введение в историю славян» (J. Czekański, *Wstęp do historii Słowian*, 2 wyd., Poznań, 1957, стр. 33—34), а также работу того же автора, печатающуюся в польском сборнике к IV Международному съезду славистов (т. I).

щественно различные черты, и нет оснований предполагать, что в более ранний период эти различия были меньшими, чем в эпоху, доступную нашему непосредственному исследованию. Однако выводы эти сомнительны и ненадежны, так что трудно придавать им большое значение, хотя они в общем соответствуют данным языкознания в отношении взаимных связей племенных предков балтов и славян.

К более точным выводам приводят археологические исследования, касающиеся материальной культуры на территории поселения балтийских и славянских племен исторического периода. Данные эти подтверждают именно то, что выступающие в этих районах в неолитический и бронзовый период культурные объединения, известные в науке под названием ржучевской, тшинецкой, долужижской и восточнобалтийской культур, несмотря на некоторые различия между ними, все же указывают на более или менее отчетливую связь с так называемой культурой шнуровой керамики, проникновение которой в первые века второго тысячелетия до нашей эры охватило огромные пространства центральной, восточной и юго-восточной Европы, от Рейна на западе за Волгу на восток, от Ютландии и Скандинавии на севере до Балканского полуострова и Черноморского побережья на юге.

Культура эта считается всюду в науке археологическим эквивалентом обществ, говоривших на индоевропейских наречиях, а ее распространение равнозначным языковой индоевропеизации пространств, охватываемых ею. Таким образом, здесь надо искать индоевропейских предков балтийских и славянских племен. Но так как распространение носителей шнуровой керамики достигло территории от Одры к северо-востоку почти до бассейна Оки, где до этого были поселения носителей культуры так называемой гребенчатой керамики (идущей от подножья Урала), и сравнительно быстро ассимилировало эту культуру, заимствуя лишь незначительные культурные элементы, то кажется наиболее правдоподобным, что именно в основе этого смещения культур с рсшающим преобладанием индоевропейской культуры шнуровой керамики следует видеть археологический эквивалент языковой балто-славянской общности. Параллелизм между ними тем более разителен, что как и культура шнуровой керамики на территории от бассейна Одры на западе и включая бассейн Оки на востоке никогда не образовывала совершенно монолитной целостности, а состояла из нескольких, в небольшой степени отличающихся, хотя и близких между собой культурных групп, при этом в результате общей ассимиляции так называемой уральской культуры (или гребенчатой керамики), объединенных сильнее, чем остальные «шнуровые» скопления, — так же и языковая балто-славянская группа, как мы знаем из предшествующих рассуждений, никогда не была ни однородной, ни совершенно монолитной и несмотря на это пережила достаточно долгий период общего развития.

Кроме того, распад балто-славянской общности и возникновение на ее месте обособленных славянских и балтийских языковых групп также находит соответствующее отражение в археологии: в ранний период бронзового века на западной части территории, о которой идет речь, в результате распространения лужицкой культуры, которая направила племена, населяющие пространства бассейнов Одры, Вислы, Буга и верхнего Днепра, по пути нового культурного развития, отличного от развивающейся по прежнему пути восточно-балтийской культуры в бассейне реки Преголы, Немана и дальше на восток. Параллелизм, существовавший между описанными процессами распространения культуры шнуровой керамики и позднее лужицкой культуры, возникновения и распада языковой балто-славянской общности кажется настолько очевидным, что мы

можем с достаточным основанием опереться на него при хронологическом, хотя бы и приблизительном, определении этих процессов, имеющих основное значение для проблемы этногенеза славянских и балтийских народов. Нам помогает в этом отношении археология, так как лингвистика здесь бессильна.

Так, период распространения культуры шнуровой керамики на территории, о которой идет речь, и ассимиляция ею уральской культуры (гребенчатой керамики) в начале второго тысячелетия до н. э. дает нам одновременно *terminus a quo* языковой индоевропеизации этих пространств и одновременно возникновения языковой балто-славянской общности. Экспансия лужицкой культуры, разделяющая примерно в середине того же тысячелетия западную часть этой территории от восточной, создает *terminus ad quem* существования общности и одновременно обозначает начало обособленного праславянского и балтийского языкового развития. Период существования балто-славянской языковой общности, таким образом, продолжался 500—600 лет¹.

Возможно, что, кроме этих хронологических указаний, можно было бы использовать археологические данные, касающиеся материальной культуры «шнурового» общества на балто-славянской территории, для определенных выводов в отношении духовной и общественной культуры предков балтийских и славянских племен, но рассуждения на эту тему, не имеющие, однако, до сих пор необходимой предварительной разработки, завели бы нас слишком далеко.

Т. Лер-Сплавинский (Краков)

Очень большое впечатление в смысле близкой родственности балтийской и славянской языковых групп производит, как известно, значительная близость их в лексическом отношении, и в этой области, конечно, то, что в свое время отметил И. М. Эндзелин в «Славяно-балтийских этюдах» (Харьков, 1911, стр. 192—200), получило еще большее подтверждение в словаре Р. Траутмана. Важно при этом, конечно, не столько количество общих словарных элементов, сколько их характер — принадлежность их главным образом к основному словарному фонду. Естественный вывод, который нужно сделать из этого факта, — признать для давнего прошлого тесную связь между собою языков-предков славянской и балтийской группы. Это признание не решает, однако, достаточно определенно вопроса о времени и такой близости: это время могло быть не очень удаленным от того, когда еще совершался распад индоевропейского «языка», и обе ветви могли унаследовать и в значительной степени только сохранить эту близость; но могло быть и так, что они после эпохи радикального разрыва друг с другом снова на относительно долгое время сошлись, жили в контакте и вместе вырабатывали лексические особенности, отделяющие их от других индоевропейских ветвей. Склониться к тому или другому предположению следует лишь после учета всех других черт, которые могут свидетельствовать о родственности этих языковых групп.

¹ Вопрос связи языковых и археологических данных в отношении к проблеме балто-славянской общности был предметом моих исследований в статье «Археологическая основа балто-славянской языковой общности» («*Pro archeologiczne wspólnoty językowej balto-słowiańskiej*», — «*Slavia Antiqua*», t. VI, в печати), которая представляет собой ответ на аргументацию проф. Костшевского в работе «Отношения между лужицкой и балтийской культурами и вопрос балто-славянской языковой общности» (J. K o s t r z e w s k i, *Stosunki między kulturą łuzicką i bałtycką a zagadnienie wspólnoty językowej balto-słowiańskiej*, «*Slavia Antiqua*», t. V (1954—1956), Poznań, 1956). Этому же вопросу посвятил свои исследования, почти целиком совпадающие по выводам с моими, проф. В. Хепсел в работе, печатающейся в польском сборнике к IV Международному съезду славистов (т. I).

Мнения Я. С. Отрембского (см. ВЯ, 1954, № 5, стр. 34), будто ему удалось устранить важнейший фонетический аргумент Эндзелина, обосновывавший гипотезу, что предки балтийских и славянских народов представляли собой самостоятельные группы племен, говоривших на очень близких диалектах, — не совсем одинаковые условия рефлексации в славянской и балтийской группах индоевропейского *s*, принять нельзя. Из аргументации самого Отрембского следует, что дело, во-первых, идет в основном о фонетической изоглоссе не только славяно-балтийской, но одновременно и индо-иранской, т. е. о черте значительно более глубокой древности, чем предполагаемая славяно-балтийская как таковая; во-вторых, если даже принять отстаиваемую Отрембским возможность балтийской рефлексации *šk* из *ski* (там же, стр. 33), его славянские параллели (стр. 33—34) переходу *šć > šk > šk* не имеют должной убедительности.

Славянские рефлексы *šk > šk* сплошь поздние (относятся к различным языкам и говорам при их особом развитии).

Разговор о них надо вести в отношении большого частного материала, относящегося к изменениям не только *šk > šk*, но и *sp > šp*, *st > št* и др. Не случайно поэтому Отрембский говорит, что «вопрос об условиях возникновения в славянской языковой группе сочетания *šk* из палатального сочетания *s'k* должен быть рассмотрен особо» (там же, стр. 34) (добавим — не только «палатального»: др.-русс. *скора*, совр. *шкура*, укр. *шкіра*, чеш. *škudla* при ст.-чеш. *skudla* и под.). В иллюстрации Отрембского попали даже польск. *szkudła* «гонт», относительно позднее заимствование из немецкого (в последнем из лат.; ср.: *scandula*, *scindula*), и *szezudła* «костыли; ходули», почему-то (без специальной аргументации) сближаемое с первым (с этим польским словом ср. чеш. *štidla*, *štihla* «костыль»), хотя семантическая связь этих слов очень сомнительна, если не более.

Сходство и различие акцентологических явлений между обеими языковыми группами, если не касаться явлений бесспорно позднейших, свидетельствует о том, что древнейшее ударение, как в наибольшей мере ясно из литовских фактов, на балтийской почве в основном, видимо, долго сохраняло в парадигмах склонения и спряжения свой морфологический характер — разноместность в соответствующих надежных формах и в соответствующих формах лиц и чисел и т. д. В древнейшем славянском языке эта разноместность сохранилась значительно меньше. Там, где она наблюдается, она едва ли не в большинстве случаев вторична — вызвана действием закона Фортунатова — де Соссюра. Ни на какие серьезные выводы относительно глубокого различия между обеими группами этот факт, впрочем, не указывает. Нужно думать только, что состояние в этом отношении древнейшего славянского языка лишь отражает более позднюю стадию развития, чем та, которая представлена литовским языком.

Принципиального значения не может также иметь то, что касается изменения характера интонаций (и количества), унаследованных соответственно происхождению определенных гласных звуков из «праиндоевропейских»: внутри каждой из сопоставляемых языковых групп изменения (вплоть до прямой противоположности) не меньше, чем между ними в целом (если такое сопоставление вообще возможно).

Наиболее, казалось бы, веское доказательство в пользу особенной близости славянских и балтийских языков в акцентологическом отношении — закон Фортунатова — де Соссюра может быть, как доказывал Н. В. Ван-Вейк, явлением параллельного развития в обеих ветвях. Закон Г. Хирта (перенос ударения с конечных гласных на предшествующие

акутированные) даже с тем важным ограничением для славянских языков, которое внес Т. Лер-Сплавинский, принимающий такой перенос только с конечных краткостей и циркумфлектированных долгот («Symbolae grammaticae», vol. II, Cracoviae, 1928), вызывает вообще сомнения (см. мои замечания в сборнике «Вопросы славянского языкознания», кн. 4, Львов, 1955, стр. 16—17). Не наимного убедительнее и другие сближения акцентологического характера (метатония в сушинах, интонация некоторых окончаний в склонении и др.).

В области м о р ф о л о г и и обращает на себя внимание значительная разница между формами склонения в славянских и балтийских языках, с одной стороны, и формами с п р я ж е н и я (включая ряд словообразовательных моментов), с другой: относительная близость в первом случае и очень значительное различие во втором. Особенно характерны для системы глагола черты различия в образовании прошедшего времени (ср. славянские аорист и имперфект).

Важно, что и в системе глагольного словообразования, где славянские и балтийские языки близко соприкасаются, — они далеко не всегда в этом отношении оказываются изолированными от других индоевропейских языков. Сближающие их черты в ряде случаев встречаются и в германских языках. Это хорошо показал Х. С. Станг (см. «Das slavische und baltische Verbum», Oslo, 1942). Он прав, утверждая, что «таким образом германская, балтийская и славянская группы обнаруживают в области глагольного словообразования некоторые специальные совпадения. Эти совпадения не заставляют обязательно предполагать предшествующее германо-балто-славянское единство. Они основываются скорее на конвергентном развитии, соответственно — на общем сохранении старых черт. Относятся они к явлениям так называемых языковых союзов» (стр. 277—278). Мне, впрочем, представляется, что в данном случае есть больше оснований для вывода именно о с о х р а н е н и и старых черт, чем о явлениях «языковых союзов», более понятных применительно к фонетике («акценту»), чем к морфологии.

Отличие современной славянской группы языков от группы балтийской настолько определено, что, конечно, не нуждается ни в каких развернутых доказательствах. Это «замкнутые» языковые группы, без скольких-нибудь определенных переходных звеньев от одной к другой. Идя в глубь истории примерно на тысячелетие, никакой радикально иной картины отношений мы не получаем. Отсюда необходимо заключить, что бывшая связь языков — предков этих групп, как индоевропейских вообще, когда-то была решительно разорвана на очень долгое время, что, конечно, не исключает некоторых следов былой близости их в отдельных чертах, при возможности новых сходных черт, возникавших независимо в обеих уже прямо не общавшихся одна с другой языковых группах. Отношение друг к другу обеих групп таково, что констатируемые для них некоторые изоглоссы фонетического, словообразовательного, флективного и синтаксического характера не дают сколько-нибудь твердого основания для признания былого распада связей очень глубокой древности происходившим постепенно — путем отрыва звеньями — звено за звеном, иначе говоря, — путем постепенного ослабления взаимного контакта представителей той и другой группы.

Однако, несмотря на то, что у нас мало решающих положений, которые бы могли обосновать ближайшее родство в прошлом балтийских и славянских языков, и немалое число данных, свидетельствующих о независимом развитии ряда черт, сближающих эти две группы языков, нельзя, вынося свое окончательное суждение по поставленному вопросу, пройти мимо все же столь важного и примечательного момента, что черт совпадения

в различных речевых сферах уже истарп оказывалось между славянскими и балтийскими группами намного больше, чем между ними и другими языковыми группами (исключая, пожалуй, индо-иранскую). Этого, пожалуй, достаточно, чтобы сделать решительные выводы, заставляющие предполагать, что отношение славянских и балтийских языков надо понимать как более тесное, чем каждой из этих групп с другими индоевропейскими.

Утверждение ближайшего или близкого родства двух языковых групп (идиомов) допускает по крайней мере такие уточнения: 1) соответствующие идиомы могут быть продуктами распада более раннего единого языка (языка, которым в прошлом носители его пользовались для бытового контакта без всяких колебаний и без опасения неполного понимания одной стороной другой); 2) соответствующие идиомы, являясь продуктами распада в прошлом единого языка, не настолько удалились друг от друга, чтобы в новых исторических условиях не сблизиться друг с другом и не послужить их носителям для сравнительно легкого общения друг с другом; 3) могут образовываться смешанные языки или как единые для определенных коллективов, или как вторые (добавочные) при сохранившихся в употреблении своих. Важно при этом в аспекте поставленного вопроса учесть степень, вернее, степени смешанности: такую, при которой флексия вообще остается непроницаемой; такую, когда она подвергается большим или меньшим разрушениям; такую — наибольшая степень сохраняющегося родства, — когда один из двух смешивающихся друг с другом языков перенимает или допускает влияние флективных элементов другого. Свое значение, всегда, впрочем, меньшее, имеет и то, что относится к сближению признаков фонетических (усвоение чужого «акцента»), относительно легко усваиваемых говорами и языками друг у друга¹, лексических (материальной части слов), отчасти кальк, часто словообразовательных и синтаксических, не вытекающих прямо из морфологических особенностей определенной системы; 4) некоторые элементы языкового субстрата данной местности при наслонении на него нового языка оказываются в известной степени влияющими на этот последний, и т. д.

Всего вероятнее, что близость славянских и балтийских языков, при ряде вполне определенных отличий между ними, относится к первому типу родства, т. е. к отношениям, вынесенным уже из языка — предка восточной группы индоевропейских языков. Сомнительно, чтобы нынешние отношения между собою обеих групп можно было толковать в духе родства второго рода — признаков какого-либо значительного (принципиального) сближения этих групп после когда-то происшедшего разрыва.

Не следует возражать (для этого нет определенных оснований) и против такого, например, понимания отношений, которое выдвинуто в упомянутой статье Я. С. Отрембского: «Независимое развитие языка предков славян было возможно только потому, что они на протяжении известного промежутка времени не жили совместной жизнью с предками и н е н и х балтов — их разделяли, по-видимому, исчезнувшие впоследствии славяно-балтийские племена. Но по истечении этого периода славяне вновь вошли в соприкосновение с балтами» (ВЯ, 1954, № 6, стр. 46). Принятие таких отношений допустимо, хотя нет никаких сколько-нибудь надежных данных в пользу действительного существования в прошлом после распада

¹ При отсутствии надежной теории причин фонетических изменений нужно считаться и с теми вполне уловимыми явлениями, на которые указано уже около полувека назад, но изучение которых пока довольно мало продвинулось, — с параллельным развитием звукового состава идиомов, близких территориально, но не имеющих между своими носителями действительного бытового контакта (внеконтактная зональность звукоизменений).

индоевропейского языка-предка непрерывной цепи связей (изоглоссы и цельных диалектов) между предками нынешних славянских и балтийских индоевропейских языков. Единственное, что в понимании Отрембского представляется, однако, неприемлемым, — это утверждение «только потому», выдвинутое с гипотезой о промжуточных славяно-балтийских племенах: глубокий разрыв между обеими группами мог быть вызван и причинами другого рода.

Л. А. Булаховский (Киев)

Я считаю деловое объединение языковедов и этнографов очень выгодным для обеих сторон. Временная изоляция языкознания не принесла пользы. Не будучи компетентным во внеязыковых областях знаний, ограничусь проблемой языковой общности. Но даже суженный до такой степени вопрос остается очень актуальным, поскольку существует то неустойчивое положение, когда разные языковеды, опираясь на один и тот же материал и используя в сущности одинаковый научный метод, отвечают на один и тот же вопрос диаметрально противоположно. Так, Отрембский пишет: «Мы не нашли ни одной особенности, которая противоречила бы гипотезе о первоначальном единстве славянских и балтийских языков, т. е. об их происхождении из одного языка» (ВЯ, 1954, № 6, стр. 43). Из противников единства этих языков достаточно процитировать Зенна, который в сущности согласен, так же как Эндзелин, Френкель, Станг и др., с противоположным мнением Мейе. Указывая, что прабалтийский вокализм более совпадает с германским, чем со славянским, Зенн делает следующее заключение: «При таких обстоятельствах мы имеем полное право отказаться от старой теории балто-славянского языкового единства» («Zeitschr. für vergl. Sprachforschung», 71, 1954, стр. 182).

Из обеих цитат видно, что на такой конкретно поставленный вопрос нельзя ответить без теоретического анализа. При этом было бы естественно исходить из новейшей, уже цитированной статьи Отрембского. Но его статья, имеющая значительную научную ценность, мало учитывает мнения противников (он широко полемизирует только с Эндзелином). Отрембский стремится объяснить все трудности этой проблемы, но должен при этом оперировать, например, такими фонетическими или аналогическими изменениями, которые мы, со своей стороны, не можем поддержать. Поэтому его утверждения иногда справедливы и возможны, но не всегда достоверны. Однако и статьи указанных выше противников балто-славянского единства не представляют — каждая сама по себе — достаточно широкой основы для анализа.

Итак, нужна критическая статья, которая, уважая мнения обеих спорящих сторон, вместе с тем указала бы, особенно на параллельных материалах романских и новогреческих, какие поразительные изменения одной и той же основы могут произойти в относительно непродолжительный срок. Такая статья могла бы появиться в плане исследования проблемы, поставленной перед Московским съездом.

Я хочу только кратко указать некоторые причины продолжающихся разногласий.

По моему мнению, есть два главных препятствия, мешающих единому ответу на данный вопрос: во-первых, балто-славянские памятники восходят к довольно позднему периоду, а во-вторых, мы не знаем, что из отдельных индоевропейских языков можно отнести к праязыку и каким об-

разом тогда определять отклонение балто-славянского периода от периода праязыкового. Кроме того, существуют также затруднения субъективного характера. Между учеными нет единства в определении значения отдельных критериев для выяснения общего балто-славянского периода: например, Траутман был уверен, что своим словарем он доказал реальность балто-славянского единства, другие же предостерегают от использования лексического критерия. Не проводится необходимое разграничение фактов по одному критерию с точки зрения их доказательности. Нет единства в суждении о том, до какой степени один язык может влиять на другой: крайнюю позицию в этом случае занимает Зенн, который полагает, что литовская видовая система возникла под сильным влиянием русского языка, равно как и неожиданные балтийские рефлексы индоевропейских дифтонгов объясняются влиянием славянских языков. Глубокие разногласия существуют также в следующем: по мнению некоторых исследователей, определенные сходства указывают на общее балто-славянское происхождение; по мнению других, те же сходства — только изоглоссы, проникающие на территорию соседних языков, а третьи исследователи указывают на параллельное, независимое развитие от индоевропейского праязыка. Так, например, по-разному решается вопрос о рефлексах индоевропейских r , l , m , n , о возникновении гентива-аблатива единственного числа *o*-основ, о проникновении *jo*-основ в *nt*-причастия и многое другое.

Я убежден, что выяснение и решение методических вопросов поможет найти общий ответ относительно балто-славянского единства и поможет в дальнейшем при исследовании языкового материала, который далеко еще не исчерпан. Поэтому дальше я помещаю этимологические заметки, которые имеют скорее принципиальное значение и не являются обычным сопоставлением двух слов.

Если правильна этимология определенных пластов лексики, показывающих чередование (видимо, экспрессивное) звонких и глухих согласных в одном и том же языке, например слав. *krysa—gryzati*, литовск. *šoku—žiogas*, *kaklas—guoglys* (см. «Slavia» 24, 1955, стр. 1—3), то я не вижу существенного отличия в том случае, когда пары таких слов разделены между обоими языками.

Цитирую снова свои этимологии: *kysati—gaužoti*, *slėps—žlibas*, *gərbz—kuprà* (с метатезой). Естественно, что в тех и других парах существовали оба дублета в одном и том же языке, в данном случае балто-славянском, и что при распаде его на языки балтийские и славянские в обеих группах обобщился единый, но всегда иной тип. Предположение о том, что соседи заимствовали из другого языка слова, означающие *горб*, *слепой*, *кислый*, *волос* (ср. литовск. *plaukas*, чеш. *chlup*) и др., считаю менее правдоподобным.

Теперь мне хотелось бы продолжить этимологии этого типа. Сопоставление Махка *grazūs—krasnъ* (V. Machek, Recherches dans le domaine du lexique balto-slave, Brno, 1934, стр. 12 и сл.) вполне удовлетворительно по семантике и формально поддерживается рядом подобных же пар. Если мы рассмотрим другой славянский синоним для «красивый», например, сохранившееся в польском *piękny*, то ему соответствует, опять-таки с изменением глухих согласных на звонкие, литовск. *bingūs*, означающее, кроме всего прочего, также «красивый». Существующее сопоставление *bingūs* с *beŋgti* «докончить», *bangà* «волна» (A. Leskien, Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen, Leipzig, 1884, стр. 320), указанное Лескином, принятое также Френкелем в его этимологическом словаре литовского языка, отклоняю как неясное. Оба литовских слова *grazūs* и *bingūs* — нераспространенные *u*-основы, в славянском же языке в обоих случаях находим один и тот же суффикс *-no*. Если мы рассмот-

рим значения обоих литовских слов в новом литовском словаре «*Dabartinės lietuvių kalbos žodynas*» (Vilnius, 1954), то обнаружим в статье *bingùs* также и значение *išpenėtas* «откормленный (о лошади)», а в статье *gražùs* значение *riebùs* «толстый». Литовские слова, в отличие от славянских, объединяют значение «статности» (ср. M. Niedermann, Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, I, где *bingùs* дано со значением «stattlich») и «откормленности» со значением, выражающим эстетическую оценку. Если мы не хотим отвергать две пары слов, безупречные формально и частично тождественные по значению (если значение «жир» польского слова *krasa* древнее, то тождество полное), остается рассмотреть свидетельства других языков. Синонимический словарь Бака (*Buck*) (см. *beautiful*) не отмечает у большого ряда слов, выражающих в разных индоевропейских языках понятие «красивый», исходный семасиологический пункт «толстый», «откормленный». Сравним балто-славянские значения с двумя латинскими словами, обозначающими «толстый»: лат. *pinguis*, литовск. *bingùs*, чеш. *pěkný*; лат. *crassus*, литовск. *gražùs*, чеш. *krásný*.

Обращаем внимание на то, что литовское *bingùs* с латинским *pinguis* сводил Вакернагель (J. Wackernagel, Altindische Grammatik, II, 2, стр. 464), а латинское *crassus* со славянским *krasa* — Мерингер («*Wörter und Sachen*», V, 1913, стр. 150). Но только совпадение этих слов во всех трех языках дает возможность сделать заключения более общего характера. Со стороны значений между латинским и литовским существует полная тождественность, причем дальнейшие литовские значения являются одновременно мостом к значениям славянским. Со стороны формальной мы также приходим к тождеству, если признать, что в слове *pinguis* скрывается старая *u*-основа (ср. греч. *παχύς*) и что *crassus*, если сравнить его с *densus* (ср. греч. *ῥαχύς*), также старая *u*-основа, которая перешла в *o*-основы. У слова *pinguis* видим расхождения консонантов в смысле звучности; это расхождение в балто-славянском было замещено сходством: оба консонанта или звонкие, или глухие. Двойное *-ss-* слова *crassus* в языке, предпочитающем экспрессивные удвоения, вполне естественно. Степень гласных также не вызывает затруднения: в *pinguis* и т. д. исходим из **pŕgus*, литовск. *gražùs* по гласному тождественно с *crassus*, в славянском — степень удлинения.

Остается одна трудность. Проф. Махек сводил *gražùs* и *krasnъ*, предполагая, что славянское *s* — из палатального *k'*, так как этому *k'* отвечает литовск. *ž*, т. е. рефлекс палатального *g'*. Этому предположению решительно возражает латынь. Мы исходим из тождества лат. *crassus* и славянск. *krasnъ*, так как славянск. *s* может быть рефлексом праязыкового *s*. Если сравнить уже упомянутые балто-славянские пары, например *kuprà—gъrbъ*, видно, что здесь речь идет о рефлексах парных звонких и глухих согласных. Другое дело — непарная индоевропейская согласная *s*. Собственно, звонкий *z* в литовских словах — это позиционный вариант глухого *s*, и вполне возможно, что экспрессивная противоположность звука *s* сплилась с фонемой *ž* (являющейся нормальной парой к глухому *š*), фонетическая реализация которой в разных литовских наречиях колеблется между звуками *z* и *ž*.

Из предыдущего, надеюсь, вытекает, что лексический критерий, против которого так предостерегает большинство противников балто-славянского единства, окажет нам, если его правильно применить, подлинную поддержку в вопросе о балто-славянском единстве. Этимологическое тождество слов, мало подходящих для заимствований и до сих пор не сводимых, своеобразное развитие значений (толстый — красивый) могут быть тем нетривиальным аргументом, к которому призывали Мейе и другие про-

тивники балто-славянской теории. Если замечание Мейе в «*Dictionnaire étymologique de la langue latine*» (см. *pulcher*): «прилагательные, имеющие значение „красивый“, отличают один язык от другого» — останется и дальше справедливым, то балто-славянский язык следует признать таким языком, в котором данное значение своеобразно возникло из другого значения. Думаю, что звуковое и семантическое развитие обоих балто-славянских слов не подходит к доктрине Мейе о «параллелизме и независимости славянского словаря и словаря балтийского» (см. «*Revue des études slaves*», 5, 1925, стр. 9).

Я могу ошибиться в том случае, если удастся объяснить неясные до сих пор слова со значением «красивый» в других индоевропейских языках таким же способом, как и оба балто-славянских выражения. Тогда это перестанет быть аргументом в пользу общего происхождения обоих языков. Но это не изменит ни реальных задач балто-славянского исследования, ни стремления усматривать в неиспользованном до сих пор лексическом материале хотя бы частное средство к разрешению вопроса о балто-славянском единстве.

К. Яначек (Оломоуц)

В данном вопросе наиболее важной представляется мне вторая часть — как следует понимать балто-славянское языковое и этническое единство. Дело в том, что в настоящее время мало кто вслед за Мейе отрицает это единство, а идентичные балто-славянские языковые факты объясняет параллельным и совершенно независимым развитием балтийских и славянских языков. Однако, несмотря на это, споры по данному вопросу не прекратились. Наоборот, за последнее десятилетие они стали еще более острыми.

Вопрос не может быть решен только на основе признания единства. Различные ученые по-разному понимают единство балтийских и славянских языков. Если прежде спор шел между сторонниками Мейе и Бругмана, то теперь в современном языкознании основной спор идет не между, скажем, Зенном и Вайаном, а между Вайаном и Стангом, между Отрембским 1954 года и Отрембским 1947 года. Одни ученые объясняют балто-славянское единство на основе теории праязыка, другие — на основе теории контакта. Я глубоко убежден в том, что теория балто-славянского праязыка должна быть отвергнута. Она себя не оправдала. Почему? Многие древнейшие процессы в славянских и балтийских языках имели разную судьбу. Многие важнейшие процессы праславянского языка раннего периода не были известны прабалтийскому совсем или были отражены слабо в отдельных его диалектах. Большие и непреодолимые трудности для сторонников теории балто-славянского праязыка ставит древняя дихотомия прабалтийского языка. Обычно вся система доказательств сторонников теории балто-славянского праязыка строится на сопоставлении фактов праславянского и литовского языков. Часто факты литовского просто подменяют факты прабалтийского. А между тем прабалтийский еще в очень глубокой древности распался на два основных праязыка. К одному из них восходят языки литовский и латышский, к другому — прусский. Сторонники теории балто-славянского праязыка среди других доказательств указывают обычно на замену старого гетатива основой формой аблатива. Однако хорошо известно, что эта особенность не является общебалтийской. Ее не знал прусский язык. Сторонники теории балто-славянского праязыка не могут решить задачи балто-славянских пра-

языковых реконструкций. На это очень уместно обратил недавно внимание Т. Милевский в своей интересной и содержательной рецензии на книгу Вайана «Сравнительная грамматика славянских языков» (см. «Rocznik slawistyczny», t. XVIII, cz. 1). И, наконец, против теории балто-славянского праязыка убедительно свидетельствуют данные археологической науки. Наиболее крупные авторитеты в области славянской археологии (например, И. Костшевский) в настоящее время выступают против теории балто-славянского праязыка. Эта теория принесла большой вред, так как толкала исследователей на путь произвольных сопоставлений, смещения хронологии; она заставляла простые и вполне очевидные факты толковать искусственно и неубедительно.

Верный путь в решении балто-славянской проблемы наметил в свое время И. М. Эндзелин в своих знаменитых «Славяно-балтийских этюдах». В той или иной степени по этому пути пошли многие языковеды, углубляя и обогащая учение Эндзелина о «славяно-балтийской эпохе». Весь комплекс балто-славянских языковых проблем следует рассматривать в аспекте теории «языкового союза». В период балто-славянского контакта (сообщности) возникли и развились некоторые важные общие особенности звукового и грамматического строя. Это прежде всего балто-славянская интонация. Следует также указать на судьбу индоевропейских слоговых сонантов.

Длительный контакт привел к тому, что в обоих языках сохранились некоторые черты индоевропейского праязыка, утраченные частично или полностью в других группах индоевропейских языков. Под воздействием финского субстрата при отрицании стал употребляться родительный падеж. Балто-славянская общность определила возникновение ряда общих черт уже после распада балто-славянского языкового союза. Таким образом, необходимо различить балто-славянские изоглоссы, восходящие к периоду общности, и балто-славянские изоглоссы, возникшие в период, когда эта общность уже закончилась. Ярким примером поздней балто-славянской изоглоссы является корреляция именных и местоименных прилагательных. Местоименные прилагательные возникли очень поздно (в самый поздний период праславянского языка). Многие общие изоглоссы возникли после распада балто-славянской общности, но без этой общности они бы не возникли. К еще более поздним балто-славянским изоглоссам относится изоглосса творительного предикативного. От изоглосс, возникших в период общности или позже в результате этой общности, следует строго отличать локальные изоглоссы, сформировавшиеся в связи с влиянием отдельных языков или диалектов в позднее время. Это будут изоглоссы польско-прусские, польско-литовские, белорусско-литовские и др. Весь комплекс балто-славянских языковых отношений может быть решен путем установления территории всех изоглосс и времени их появления.

Балто-славянский контакт осуществлялся на территории южной Прибалтики. Праславяне занимали западную часть территории, прабалты — восточную. Возможно, что еще до установления балто-славянского контакта существовал какое-то время германо-славянский контакт. Однако этот контакт не был длительным и тесным. Он не привел к германо-славянской общности. Иначе сложились взаимоотношения славянских и балтийских племен. Здесь контакт привел к формированию языковой общности. К какому периоду относится этот контакт? На этот вопрос с полной уверенностью ответить трудно. Полагаю, что начало его относится к середине второго тысячелетия до н. э. Надо думать, что этот контакт продолжался не менее тысячи лет.

С. Б. Бернштейн (Москва)

Балто-славянское языковое единство безусловно существовало, так как иначе было бы невозможно объяснить обилие балто-славянских лексических новообразований, вошедших в так называемый «основной словарный фонд» и не могущих быть заимствованиями из балтийских языков в славянские или наоборот, например: *голова* — литовск. *galvą*, *рука* — литовск. *rankà* и др. Это единство существовало еще в ту эпоху, когда предки как балтийцев, так и славян уже познакомились с металлами, по всей вероятности, даже до так называемого «железного века». Доказательством этого может служить общеславянск. *жельзо* (польск. *żelazo*, укр. *залізо*), соответствующее литовск. *geležis*, др.-прусск. *gelso*, латышск. *dzelzs* «железо». Археология утверждает, что «железный» век в восточной Европе начался не ранее 500 г. до н. э. Это вполне согласуется с тем, что Геродот упоминает в 512 г. до н. э. народ *Νεῦροι*, в котором некоторые исследователи (Чекановский) видят еще не разделившийся балто-славянский народ. Если название *Νεῦροι* действительно может быть сопоставлено с литовским *niaurūs* «печальный, пасмурный» и с русским *по-нурий* (ср. также река *Nura* в Мазовии), тогда в нем представлен еще не изменившийся дифтонг *-eu-*, впоследствии перешедший в славянских языках в *-и-*, а в балтийских в *-iau-*. Не подлежит, однако, сомнению, что это «балто-славянское „единство“» не было ясно осознанным этническим единством, каким еще в историческую эпоху представляется, например, славянство или индо-иранский коллектив. По всей вероятности, существовал ряд племен, говоривших на близких наречиях, незаметно переходивших друг в друга. Принимая во внимание, с одной стороны, наличие весьма древних балтийских заимствований в балтийско-финских языках, а также в мордовском и черемисском, и древних иранских заимствований в языках славянских, а, с другой стороны, отсутствие иранских заимствований в языках балтийских, следует предположить, что племена, из которых впоследствии развились балтийские народы, были отделены предками славян от иранцев; предки же славян были отделены балтийскими племенами от угро-финнов. Так как последние имеют очень древние заимствования из иранских языков, то следует предположить первичное расселение этих четырех этнических групп вокруг какого-то непроходимого препятствия, по всей вероятности, обширных болот в бассейне Припяти. См. схему:



В. Кипарский (Хельсинки)

Между балтийским и славянским языками существует настолько большая близость, что консервативный в области фонетики и морфологии литовский язык может в известной мере заменить незасвидетельствованный праславянский язык. Относительно этой близости особенно показательно сравнение с индо-иранской языковой общностью. Индо-иранские письменные памятники начинаются с I тысячелетия до н. э. (и даже раньше), а балто-славянские на 2000—2500 лет позже. Несмотря на это, близость

между балтийским и славянским языками видна очень ясно, в то время как между индийскими и иранскими языками той же эпохи, т. е. около X—XV в. н. э., такую близость обнаружить гораздо труднее. Этот факт крайне важен: он свидетельствует о том, что близость балтийского и славянского очень велика, что эти языки некогда составляли единую языковую общность, продолжавшуюся длительный период времени и раснавшуюся, вероятно, позднее индо-иранской общности. (Относительно подробностей см. нашу статью «Балто-славянский, германский и индо-иранский» — в издании: «Сб. статей по славянской филологии, посв. IV Международному съезду славистов», вып. I, М., 1958; в печати.)

В. Георгиев (София)

В неолингвистике Бартоли, наряду с генеалогическим фактором, выделяет в достаточной мере и влияние культурно-географического фактора, когда речь идет о лингвистических связях групп, близких географически. Если исходить из идей романтически настроенных шлейхерианцев и их родословного дерева, кажется, что балтийская и славянская ветвь и в предысторическое время были близки между собой, но при этом обычно упускается из виду точное географическое определение этого единства, хотя, вероятнее всего, славяне-индоевропейцы были юго-восточными соседями балтийских индоевропейцев. Балто-славянские соответствия в области лексики, где поразительно единство коренных и суффиксальных элементов и прежде всего в общих новообразованиях, явно выделяют этих индоевропейцев из остальных индоевропейских племен, с языком которых таких соответствий относительно меньше. Г. Крае последовал за Е. Норденом и попытался отделить балтийских индоевропейцев от славянских на основе термина *teutā* и присоединить их к западной группе, т. е. германским, иллирийским, кельтским и итальянским индоевропейцам. Но алофонические корни (*s*)*teutā/toudā* встречаются не только в центре Балкан (религиозные надписи в честь Аполлона *Oteudanos Eteudanikos*), но и в трипольской области, где этнический элемент *Saudaratai* легко выводится из древнего *staudaratai* и отождествляется с догреческим *Teudareos*. С этим важным общественно-политическим термином совпадают, согласно всему вышеизложенному, и славянские корни (*š*)*tuždi (steudio)* и *tudji (toudio)*, причем следует подчеркнуть, что дифтонг *ou* свойствен исключительно балто-славянскому (литовск. *tautā* в соответствии с *teutā*). Связь с хет. *tuzzi* «сапр, armée campée» совсем ненадежна (А. Juret, Voc. et hitt., стр. 68 и Porzig, Gliederung, стр. 200). Если же мы отклоним *Stammbaum* Шлейхера и примем нормально поставленную пирамиду Марра, идею которой по-своему разделяют Трубецкой и Пизани, тогда балто-славянские лексические новообразования в очень большой степени будут свидетельствовать в пользу этнической и культурно-географической близости балто-славянских индоевропейцев. Это означает, что проблему балто-славянского единства нельзя отделить от более широкой проблемы праязыка и прародины. Учение Марра во всех отношениях больше отвечает экономике неолитических формаций, чем романтизм Шлейхера.

М. Будимир (Белград)

По вопросу о балто-славянском языковом единстве сейчас преобладает отрицательное мнение. Предположение о балто-славянском единстве представляется излишне прямолинейным, как теория родословного дерева. При всех балто-славянских тождествах указывают на расхождение в глагольной флексии. Специфические балто-славянские сходства являются или сохранившимися архаизмами, или параллельными новообразованиями, или элементами, заимствованными в условиях постоянного общения или временной гегемонии славян над балтами. Другие, более удачные объяснения не выявились.

Если небольшие этнические единства попадали между более крупными, то они могли переходить от одного к другому и оказывать свое влияние. Когда непрерывность индоевропейских диалектов сменилась разобщенностью исторических языков, новые языковые группы должны были поглотить различные переходные наречия и преодолеть их. Это также говорит в пользу давнего смещения диалектов.

В последние годы, однако, исследователи открывают все больше сходства между балтийским и славянским глаголом (Эндзелин, Станг, Лейман). Обрисовываются пути развития, которые привели к историческим расхождениям. Тезис о радикальном расхождении между балтийским и славянским спряжением сменяется рассуждением о том, что «в ранний послеиндоевропейский период балтийская и славянская глагольные системы были очень близки». Но в общем остаются еще некоторые расхождения, «которые нельзя с уверенностью возвести к предыдущему единству».

В балтийском, как и в германском, нет следов сигматического аориста, в славянском же существует своеобразное смещение сигматического аориста с аспигматическим.

Как важное древнее расхождение между балтийским и славянским до сих пор оценивается тот факт, что в балтийском *s* после *i* и *u* большей частью не изменяется, в то время как в славянском изменение закономерно (если за ними не следует взрывной согласный), так же как и после *г* и *к*. Это расхождение становится еще более важным, если учесть, что данная славянская черта объединяет славянский с иранским. Но в славянском имеется *ch* в соответствии с индо-иранским *š* (иран. *š*, индийск. *s*). Можно предположить, что фонологизация вышеуказанных вариантов *s* была своеобразно проведена в каждой сатемовой группе в соответствии с развитием *к*.

Имея это в виду, можно вернуться к естественному объяснению большого числа балто-славянских совпадений: они происходят от продолжительной языковой общности.

П. Трост (Прага)

Предварительно я должен заметить, что отвечаю на вопрос о языковом, а не об этническом единстве, поскольку я не ставлю между ними знака равенства.

Недавно вопрос о балто-славянском языковом родстве после ряда новых обсуждений снова стал актуальным. Бесспорно, что он подлежит ревизии. Для более удовлетворительного решения этого вопроса требуется преодолеть более серьезные трудности, чем до настоящего времени предполагалось. В существующих гипотезах прежде всего имеется терминологическая неясность, поскольку говорится то об общности, то о единстве, то об общей эпохе или периоде, то о праязыке, то о параллельном развитии двух родственных языков. Эти предположения отражают как шлейхерианство и теорию Шмидта о волнообразном развитии языков, так и отголоски

идей Шухардта—Бодуэна, понимание Сепиром языковой модели, контактную теорию Бубриха или методологию венской этнографической и культурно-исторической школы, субстратные, суперстратные и адстратные построения Вартбурга и приверженцев языковых союзов и т. д.

В каком направлении нужно искать более приемлемое освещение этого вопроса? Можно было бы пойти по пути усовершенствования сравнительно-исторического метода. Это смогло бы обеспечить точное установление хронологии единичных явлений, связывающих две языковые ветви в прошлом. Из числа фактов, принимаемых для сравнения, должны выпасть те, которые имеют параллели и в других индоевропейских языках. Должна быть внесена ясность в вопрос, как отличаются унаследованные черты от параллельно развившихся и является ли индоевропейское единство и балто-славянская общность только лингвистическими понятиями. Необходимо доказывать каждый тезис новым методом, без догматического или упрощенческого отношения к фактам. Важно решение предварительного вопроса об установлении генезиса связей славян и их языка с другими индоевропейскими языками (германским, кельтским, иранским, тохарским, хеттским), чтобы выяснить ценность аргументов о параллельном, изолированном развитии родственных языков. Следует установить и характер отношений между балтийскими языками, имея в виду ряд фактов из области истории соответствующих народов, не нарушая гомогенности основы доказательств.

Общность между балтийским и славянским, наиболее отчетливая в грамматическом и фонетическом отношении, но крайне сомнительная в отдельных лексических сопоставлениях, по моему мнению, обусловлена тремя причинами: 1) общим наследием индоевропейского периода, 2) тенденцией к параллельному развитию в более позднее время, 3) заимствованиями в разные хронологические периоды.

Две главные враждующие между собой теории — о существовании балто-славянского языка и теория параллельного развития балтийского и славянского языков — не отрицают в целом одна другую, так как в период общности может наблюдаться и дуализм. Этот дуализм переоценен Мейе, Эндзелином, Салисом, Пизани, Зенном и др., а остальные авторы его недооценивают.

И. Леков (София)

Существование балто-славянской языковой общности, по нашему мнению, не вызывает никакого сомнения. Многочисленные исследования на эту тему, указывая, с одной стороны, значительное число расхождений между балтами и славянами, с другой стороны, отмечают большое количество своеобразных совпадений. Эти совпадения встречаются как в фонетике (например, замещение сонантных ликвид, известные интонационные явления) и морфологии (склонение, спряжение и особенно причастия), так и в словообразовании и словарном составе (здесь можно считать доказанным общее развитие его, представленное в словаре Траутмана). Совпадения, встречающиеся также и вне балто-славянской сферы, являются сохранением древнего общего наследства и, собственно, не имеют доказательной силы для идеи языковой общности. Напротив, совпадения, ограниченные только балто-славянской областью, можно понять лишь как новообразования периода общего развития, что имеет аналогию в индо-иранской области. Если бы славянские и балтийские языки были

засвидетельствованы не с X и XV вв., а более древними памятниками, как древнеиндийский и древнеиранский языки, то они позволили бы установить примерно такое же далеко идущее совпадение, как и в индо-иранской области. В то время как свидетельства о балто-славянском языковом периоде вполне ясны, факты, столь же надежные для решения вопроса об этническом единстве, по нашему мнению, отсутствуют.

Э. Дикенман (Берн)

Акцентуальная плоскость оспаривает чрезмерное значение балто-славянского языка для лингвистики. Прежде всего из нее вытекает также и эта языковая общность. События ранней истории оказали влияние на праславянский язык и его эволюцию. Его происхождение не отличается ничем от происхождения какого-либо другого младшего языка, например испанского и т. д.

К. Треймер (Вена)

В конце праиндоевропейского периода предки балто-славян проживали где-то на юго-востоке Европы в ближайшем соседстве с индо-иранцами и другими представителями позднеиндоевропейской языковой группы *satem*, с которыми они переживали некоторые общие языковые явления.

На западе их соседями были прагерманцы, контакт с которыми продолжался и после выделения балто-славян из группы *satem*, на что указывают некоторые общие языковые элементы в балто-славянских и германских языках.

После отделения балто-славян от других представителей группы *satem* они сами сохраняли в течение известного периода свое языковое единство (начальный момент теории Бругмана). Позже, с ростом численности народонаселения, с расширением занятых ими территорий, а также с развитием в разных местах разных диалектных черт стали обрисовываться языковые и территориальные расхождения между будущими славянами и балтами, но с сохранением настолько тесного контакта между ними, что возникшие в одной группе языковые перемены могли передаваться и другой соседней группе (теория контактного развития Эндзеллина и др.). Все это происходило до периода более близкого контакта между балтийским и прибалтийско-финским праязыками (около 2000 лет тому назад), потому что этот контакт уже не отражается на отделившихся славянских языках. Наконец, обособление зашло так далеко, что взаимное переживание общих языковых изменений стало уже невозможным. Остались только существующие и в наше время возможности заимствования отдельных слов и других языковых элементов на месте стыка обеих групп языков, которые, конечно, могут иногда и передаваться в глубь данной языковой территории.

По-видимому, приходится считать не соответствующей действительности точку зрения Мейе о полном отделении друг от друга балтов и славян, начиная непосредственно с праиндоевропейского времени.

Задача языкознания, а также других вспомогательных наук, главным образом археологии, — установить в будущем возможно точные временные и территориальные границы, а также конкретное лингвистическое содержание всех упомянутых периодов.

В. Эрнст (Тарту)

П. С. КУЗНЕЦОВ

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ФОНЕМ

В фонологии уже давно используется понятие дифференциального признака. Под последним понимается артикуляционный или акустический признак, отличающий одну фонему от другой. Определенной частью лингвистов уже довольно давно при изучении звуковых смылоразличительных средств языка дифференциальные признаки выдвигаются на первый план, причем сама фонема определяется уже через дифференциальные признаки (как пучок, связка, совокупность некоторых дифференциальных признаков). Так, например, определяют фонему в своей недавно вышедшей книге, посвященной общим основам языкознания, Р. Якобсон и М. Халле¹. Они начинают с определения дифференциальных признаков, различающих значимые единицы различных языков, и приходят к определению фонемы как связки (bundle) определенных дифференциальных признаков². Р. Якобсон и М. Халле устанавливают определенное количество дифференциальных признаков, которые возможны для самых различных языков, но представлены не все одновременно во всех языках. Исходя из идеи применимости к любой области (и к языку в том числе) принципа дихотомического деления, Якобсон и Халле представляют систему дифференциальных признаков как систему пар противостоящих друг другу и взаимоисключающих друг друга различительных признаков (например, глухость — звонкость). Перечисляемые признаки были установлены на основе экспериментального анализа в ранее опубликованной работе тех же авторов и Г. Г. М. Фанта³. Изложение книги «Fundamentals of language» в нашей печати дано в недавно опубликованной рецензии О. С. Ахмановой⁴, но критики положений Р. Якобсона и М. Халле там нет (автор рецензии, по-видимому, с авторами книги соглашается). Между тем их решение проблемы, на мой взгляд, вызывает серьезные возражения, хотя самое понятие дифференциального признака я считаю для фонологии весьма важным⁵.

¹ См. R. Jakobson and M. Halle, *Fundamentals of language*, 's-Gravenhage, 1956.

² См. там же, стр. 20; ср. там же, стр. 45.

³ См. R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, *Preliminaries to speech analysis* («Technical report [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst. of technology]», № 13, May 1952), 2-d print., reiss., [Cambridge, Mass.], 1955.

⁴ ВЯ, 1957, № 3.

⁵ См. П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе современного французского языка, «Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та», т. V, Кафедра русск. языка, вып. 1, М., 1941.

Следует сказать, что дифференциальные признаки в том виде, в каком они рассматриваются в указанных выше работах Р. Якобсона и других, получили широкое, хотя и не всеобщее признание, притом не только среди лингвистов. Так, недавно Э. Колин Черри дал геометрическую интерпретацию этих признаков, рассматривая их как нормальные координаты языка и представив фонологическую систему языка как пространство с числом измерений, соответствующим количеству парных противопоставлений дифференциальных признаков (см. E. C. Cherry, Roman Jakobson's «distinctive features» as the normal co-ordinates of a language, сб. «For Roman Jakob-

В каком отношении друг к другу находятся определение фонемы и определение дифференциального признака в указанной книге?

Вопрос состоит в том, что должно чему предшествовать в системе определений: определение дифференциального признака определению фонемы или определение фонемы определению дифференциального признака, иными словами, должно ли определение фонемы опираться на уже имеющееся определение дифференциального признака или, напротив, определение дифференциального признака должно опираться на уже имеющееся определение фонемы. Вопрос об этом порядке необходимо решить, поскольку понятия фонемы и дифференциального признака определенным образом связаны.

Поскольку дифференциальными признаками характеризуются (и отличаются друг от друга) именно фонемы, введение понятия дифференциального признака до введения понятия фонемы и определение фонемы как «связки» (пучка, совокупности) дифференциальных признаков может показаться на первый взгляд примером порочного круга. В действительности это не так. Определяя фонему как совокупность дифференциальных признаков, можно определить дифференциальный признак, совершенно не прибегая к понятию фонемы (конечно, потом, уже определив фонему как совокупность дифференциальных признаков, можно говорить о том, что фонемы отличаются друг от друга дифференциальными признаками). Так и поступают Р. Якобсон и М. Халле, говоря первоначально лишь о подразделении непрерывного звукового потока (человеческой речи) на определенное число последовательных единиц (into a definite number of successive units)¹. Лишь впоследствии устанавливается, что эти последовательные единицы и являются различными фонемами.

Однако перед нами встают следующие вопросы: 1) могут ли быть установлены дифференциальные признаки (в том понимании, какое вкладывают в этот термин Р. Якобсон и М. Халле, а также Г. Г. М. Фант) тем способом, каким они устанавливаются в указанных работах; 2) достаточно ли обосновано установление именно тех и только тех пар дифференциальных признаков, которые устанавливаются в этих работах; 3) во всех ли случаях может быть осуществлено подразделение дифференциальных признаков на основе дихотомического принципа?

В «Fundamentals of language» определенное количество пар дифференциальных признаков приведено как готовый результат. Получены же они были на основании экспериментального исследования звуков речи, данные которого частично приведены в «Preliminaries to speech analysis». Конечно, любая последовательность звуков может быть подвергнута всестороннему экспериментальному исследованию, каждый отрезок речи может быть описан акустически. Но ведь этого недостаточно для того, чтобы был выделен дифференциальный признак, так как под дифференциальным признаком понимается такой признак (могущий быть определенным акустически), которым данный отрезок речи (буду пользоваться этим понятием, раз понятие фонемы еще не введено) отличается от другого отрезка речи. Выделить дифференциальные признаки было бы легко, если бы они располагались линейно, как располагаются фонемы. Но, как указывают

son», Hague, 1956; ср. также раздел под тем же заглавием в кн.: C. C. H e r g y, On human communication, [Cambridge], Mass.—New York—London, 1957). Кстати, рассматривая эти признаки, Черри так и называет их различительными признаками Р. Якобсона, имея в виду, что именно последний является инициатором рассматриваемой теории. Геометрически интерпретируя эти признаки, Черри по существу не ставит вопроса о правомерности установления и соответствия действительности именно тех признаков, которые устанавливает Р. Якобсон, принимая их как данное, как аксиому.

¹ См. «Fundamentals...», стр. 3.

сами авторы «Preliminaries to speech analysis», различительные признаки могут и накладываться друг на друга, в результате чего речевое сообщение (message) рассматривается ими как несущее информацию в двух измерениях¹. И даже если мы выделим из общей акустической характеристики данного отрезка речи какую-то характеристику, которую припишем данному (одному из устанавливаемых) дифференциальному признаку, то имеется ли у нас достаточно точная гарантия, что данный отрезок отличается от другого именно данным признаком? Поясню примерами из указанных работ. В качестве первой пары дифференциальных признаков там приводится «гласность — не гласность» (vocalic — non-vocalic), в качестве второй «согласность — не согласность» (consonantal — non-consonantal). «Гласность» характеризуется наличием строго определенной формантной структуры², причем первые три форманта обычно расположены в области ниже 3200 пер/сек.³ «Согласность» характеризуется низкой общей энергией⁴, наличием нулей в спектре⁵. Но, например, какое-нибудь *i* какого-нибудь языка отличается от какого-нибудь *j* того же языка одновременно и признаками, характеризующими его как гласный, и признаками, характеризующими его как не согласный⁶.

Другой пример. Согласный *k* и согласный *t* в любом языке различаются тем, что первый компактный, второй диффузный; компактные звуки (*k* им могут относиться как гласные, так и согласные), в отличие от диффузных, характеризуются относительным преобладанием одного центрального форманта⁷. Но в то же время *k* и *t* различаются и тем, что первый из них низкий (в подлиннике grave), второй высокий (в подлиннике acute)⁸. Вообще целые категории звуков данного языка могут отличаться друг от друга одновременно двумя признаками. Так, в ряде языков глухие согласные являются вместе с тем напряженными или сильными, а звонкие — ненапряженными или слабыми. Между тем звонкость — глухость (в подлиннике voiced — voiceless, т. е. голосные и безголосные), как и напряженность — ненапряженность (tense — lax), образуют дифференциальные признаки. Как же установить, не играет ли в различении фонем основную роль один из различительных признаков, в то время как другой является сопутствующим? В особенности встает этот вопрос в отношении целых категорий однородных в каком-то отношении фонем, одновременно отличающихся друг от друга не одним, а двумя признаками. Ведь сами авторы указанных работ признают, что существуют в языке не только дифференциальные, но и дополнительные признаки⁹. Для выяснения этого вопроса авторы обращаются к экспериментальному исследованию восприятия говорящими некоторых дифференциальных признаков¹⁰. Но во всех ли случаях даже люди, обладающие тонким слухом и тонким языковым чутьем, если они не обладают специальной лингвистической подготовкой, смогут выделить и объединить многие из тех дифференциальных признаков, которые установлены Р. Якобсоном и др. и которые ха-

¹ См. «Preliminaries...», стр. 3.

² См. «Fundamentals...», стр. 29.

³ См. «Preliminaries...», стр. 19.

⁴ См. «Fundamentals...», стр. 29.

⁵ См. «Preliminaries...», стр. 19.

⁶ О непоследовательности в разграничении противопоставлений «гласность — не согласность», «согласность — не согласность» см. рец. К. Я. Боргстрёма на «Preliminaries» («Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», Bd. XVII, Oslo, 1954, стр. 554).

⁷ См. «Preliminaries...», стр. 27—28.

⁸ Там же, стр. 29—30.

⁹ См. например, «Fundamentals...», стр. 45.

¹⁰ Там же, стр. 32 и сл.

рактизируют весьма разнородные на слух звуки человеческой речи (ведь многие из этих признаков охватывают одновременно и некоторые гласные и некоторые согласные)? Говорящие, конечно, различают фонемы своего языка, и опыты в этом отношении вполне целесообразны (хотя, следует сказать, и в различении фонем представления говорящих не всегда точно соответствуют объективно существующим в системе языка отношениям), но дифференциальные признаки, которыми эти фонемы различаются, далеко не всегда этими говорящими выделяются. Если они еще могут выделить, например, такие признаки, как глухость — звонкость¹, то вряд ли какой бы то ни было говорящий сможет выделить такие признаки, как компактность и диффузность, которые также относятся к дифференциальным признакам. Ведь для этого ему нужно было бы осознать, что нечто общее по акустическому впечатлению объединяет, например, с одной стороны, гласный *e* и согласные *k*, *g*, *ʃ*, *ʒ*, с другой, гласный *i* и согласные *t*, *d*, *s*, *n*.

Да и в тех случаях, когда, казалось бы, для говорящего легко выделить соответствующие признаки, у нас нет гарантий, что выделяются именно эти признаки. Миллер и Найсли проводили эксперимент с устранением (посредством электрофильтров) определенных частот из спектра английских согласных, в результате чего переставали различаться между собой помещенные в квадратные скобки [ptk], [fʃs], [bdʒ], [vðzʒ], [mn]². Но есть ли у нас гарантия, что указанные согласные различаются только частотами? Ведь в некоторых случаях различия между согласными состоят не только в частотах. Так, например, мягкие согласные русского языка отличаются от твердых, по-видимому, еще и большей амплитудой колебаний, поскольку они являются по артикуляции более напряженными сравнительно с твердыми. К тому же встает вопрос, соответствуют ли деформированные посредством отфильтровывания согласные какому-либо из реально существующих согласных. Ведь объектом, полученным в результате эксперимента, является не тот объект, относительно которого делаются выводы. Мне приходилось совместно с С. С. Высотским наблюдать, как при понижении вдвое скорости движения магнитной ленты в русской речи на месте твердого *m* является *n*, но твердое, какого нет вообще в русском литературном языке.

Другой вопрос, на котором необходимо остановиться. В указанных работах устанавливаются дифференциальные признаки, характерные для всех языков мира (конечно, как указывают сами авторы и как было уже сказано, не все одновременно они представлены в любом конкретном языке). Но исчерпываются ли все признаки, которые могут в каких-то языках выступать как дифференциальные, теми, которые в этих работах приведены? Нет, не исчерпываются. В качестве примера могу привести признак, который можно назвать признаком направления движения воз-

¹ Русские звонкие и глухие согласные различаются артикуляционно и акустически не только по признаку глухости — звонкости, но именно он играет доминирующую роль. На это указывает хотя бы тот факт, что при произнесении шепотом бессмысленных слогов с глухими и звонкими согласными те и другие большинством говорящих на русском языке не различаются. Этому вопросу был посвящен доклад М. Ф. Деркача «К вопросу о роли фонации в различении звонких и глухих согласных», прочитанный 24 июня 1957 г. в секции исследования речи конференции по акустике, проведенной в июне 1957 г. Комиссией по акустике, Акустическим институтом АН СССР и Московским университетом. Некоторых спорных вопросов этого доклада здесь не касаясь.

² С. М. G. A. Miller and P. E. Nicely, An analysis of perceptual confusions among some English consonants, «The Journ. of the Acoustical society of America», vol. 27, № 2, 1955, стр. 352.

духа в полости рта. Я имею в виду характерные для некоторых южноафриканских языков всасывающие согласные, которые образуют особые фонемы, противостоящие невсасывающим; их дифференциальные признаки несомненно (по крайней мере для некоторой части этих согласных) основаны на различии направления движения воздуха, поскольку различия всасывающих и невсасывающих согласных в некоторых фонетических условиях нейтрализуются¹.

Правда, в «Preliminaries to speech analysis» говорится и о всасывающих согласных. Однако различие всасывающих и не всасывающих рассматривается не в качестве основных дифференциальных признаков, а среди различных других случаев, относящихся к дифференциальным признакам прерванности и непрерывности (interrupted — continuant), т. е. наряду с такими различиями, которые в первую очередь рассматриваются как различия взрывных и фрикативных². Эти последние различия, однако, по крайней мере для многих языков дифференциальных признаков не образуют.

На основании всего вышесказанного полагаю, что экспериментальное исследование признаков, которые характеризуют различные звуки речи, имеет большое значение для самых разных целей, но для фонологии оно дает лишь предварительный материал; из такого исследования непосредственно не могут быть получены фонологические характеристики звуков речи, на основании его не может быть определено, какие из этих признаков являются дифференциальными, а какие дополнительными. Лишь определив фонемы данного языка (на основании противопоставления их в составе различных значимых единиц в тождественных фонетических условиях), их фонетическое поведение в различных фонетических условиях и условия противопоставления и непротивопоставления различных фонем, мы сможем из всей массы экспериментально установленных признаков отобрать те, которые для данного языка являются дифференциальными. Безусловно и вполне точно определить, является ли данный признак дифференциальным, можно лишь на основе нейтрализации, т. е. совпадения в одном варианте двух фонем, различающихся этим признаком³.

Систему дифференциальных признаков Р. Якобсон и М. Халле строят как систему двоичных противопоставлений. Все дифференциальные признаки, помимо которых в любой фонеме любого языка ничего и не может быть, поскольку и сама фонема определяется лишь как «связка» («пучок»)

¹ Так, например, в зулу фонематически различаются *b* и *ɸ*, представляющее собой тип всасывающего (вдыхаемого) *b*, причем в положении после *m* они нейтрализуются, поскольку в этих условиях *ɸ > b*; ср., например, *u ɸambɔ*, мн. число *izimbambɔ* (см. C. M. D o k e, A dissertation on the phonetics of the zulu language, «Bull. of the School of oriental studies, London Institution», vol. II, pt. IV, 1923, стр. 698—699).

² См. «Preliminaries...», стр. 22—23.

³ См. П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 162.

Исходя из иных соображений против положения, согласно которому экспериментальное исследование может помочь функциональному анализу звуков речи, решительно возражает в своем докладе на VIII Международном конгрессе лингвистов Э. Фишер-Йоргенсен (см. E. Fischer-Jorgensen, What can the new techniques of acoustic phonetics contribute to linguistics?, «Reports for the Eight International congress of linguists. Oslo, 5—9 august 1957», vol. I, Oslo, 1957, стр. 88). По ее мнению, экспериментальный анализ (имеется в виду акустический, как располагающий наиболее совершенными в настоящее время методами) применим не к фонемам, а к комбинаторным вариантам («аллофонам»), для установления же фонологической системы языка достаточно отождествления на слух. Из сказанного не следует, что Э. Фишер-Йоргенсен вообще отказывается от экспериментального анализа тех звуковых единиц, которые для соответствующего языка имеют определенное функциональное значение. Напротив, она считает, что акустическая техника может оказать большую помощь в фонетическом анализе функционально уже установленных единиц.

некоторых дифференциальных признаков, представляют собой определенную совокупность пар противостоящих друг другу дифференциальных признаков. Стремление свести всю систему фонологических противопоставлений к противопоставлениям двоичного характера вполне оправдано с точки зрения логики, в определенных случаях оно оправдывается и соображениями практического характера¹. Но встает вопрос, действительно ли все фонологические противопоставления любого языка могут быть представлены как система двоичных противопоставлений. Против применимости в некоторых случаях дифференциальных признаков, опирающихся на двоичные противопоставления, еще более двадцати лет тому назад выступил А. Мартине². В более развернутом виде свои возражения против применимости во всех случаях принципа бинарности он обосновывает в своем недавнем труде³. Попытку сведения всех фонологических противопоставлений к бинарным (двоичным) он квалифицирует скорее как умозрительную теорию (*une vue d'esprit*), чем как приведение в систему результатов предварительных наблюдений. Он указывает на постоянный и непрерывный переход как в артикуляционном, так и акустическом отношении от одного гласного к другому (например, от *i* к *a* и к *u*), благодаря чему гласные фонемы не могут характеризоваться парами противостоящих друг другу дифференциальных признаков (в «*Économie des changements phonétiques*» он говорит о постепенном переходе спектра, в «*La neutralisation et l'archiphonème*» он говорил то же применительно к артикуляции). Возражения Мартине против абсолютной применимости принципа бинаризма представляются обоснованными⁴.

Наконец, последнее. Прежде, чем говорить о дифференциальных признаках в отдельности, Р. Якобсон и др. устанавливают их основные типы. Таких основных типов два: один из них объединяет так называемые просодические признаки, другой — ингерентные. Просодические признаки проявляются лишь в фонемах, образующих вершину слога, и могут быть определены только в отношении к рельефу слога или последовательности слогов, ингерентные же признаки присущи фонемам безотносительно к их роли в рельефе слога⁵. К признакам просодическим относятся признаки тона, силы и количества (т. е. длительности). Их выделение восходит к Н. С. Трубецкому⁶.

Выделение таких фонологических средств языка, которые могут быть определены лишь в отношении к известной последовательности звучаний, вполне целесообразно. Но следует иметь в виду, что, во-первых, не все указанные в качестве просодических средства являются признаками фонем (как это можно понять из приведенного определения), во-вторых, не все указанные средства с точки зрения отношения к последовательности являются средствами одного и того же порядка. Мне уже приходилось

¹ Обоснование принципа дихотомического деления в фонологии см. в «*Fundamentals of language*», стр. 44 и сл.

² См. A. Martinet, *Neutralisation et l'archiphonème*, «*Travaux du Cercle linguistique de Prague*», 6, 1936, стр. 53—54.

³ См. A. Martinet, *Économie des changements phonétiques*, Berne, [1955], стр. 73—75.

⁴ В применимости во всех случаях принципа бинарных противопоставлений сомневается и Э. Фишер-Йоргенсен (см. E. Fischer-Jorgensen, указ. соч., стр. 83).

⁵ См. «*Fundamentals of language*», стр. 22. В «*Preliminaries to speech analysis*» было дано несколько иное определение: там было сказано, что ингерентные признаки могут быть определены вне отношения к последовательности, просодические же признаки — лишь в отношении к временным рядам (*time series*); см. «*Preliminaries...*», стр. 13.

⁶ См. N. S. Trubetzkoy, *Grundzüge der Phonologie*, Prague, 1939, стр. 35.

писать о важности определения отрезка речи, в пределах которого осуществляется реализация различных фонологических противопоставлений¹. Этот отрезок в ряде случаев не может быть определен вне отношения к значимым единицам речи. Сами же различительные средства, реализующиеся на протяжении отрезка, большего, чем фонема, не являются признаками, характеризующими отдельную фонему. Такими средствами являются в определенных случаях различия по силе (на них основано динамическое ударение, выступающее лишь на протяжении слова или сочетания самостоятельного и служебного слова, хотя вообще различие по силе может реализоваться и на протяжении фонемы, если речь идет о противопоставлении напряженных и ненапряженных согласных при отсутствии противопоставления по глухости и звонкости) и (также в определенных случаях) различия по высоте (тону). Что же касается до различий по длительности, противопоставления этого рода осуществляются на протяжении фонемы (не касаюсь сейчас вопроса о том, представляют ли и в каких случаях долгие звуки особые фонемы или сочетания двух или нескольких одинаковых фонем).

¹ См. мою статью «К вопросу о фонологии ударения» («Докл. и сообщ. Филол. фак-та МГУ», вып. 6, 1948).

А. ГРАЗР

СТРУКТУРАЛИЗМ И МАРКСИСТСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Идея открыть дискуссию о структурализме кажется мне очень удачной, тем более что об этом направлении говорят часто «вообще» — либо всецело принимая, либо, наоборот, целиком отвергая его. Прежде всего мне представляется, что подобные дискуссии могут быть плодотворными только в том случае, если они ведутся с позиций марксизма. Научные труды как в Советском Союзе, так и в странах народной демократии должны основываться на марксистско-ленинском мировоззрении. Я считаю данную истину аксиомой, поскольку теория и практика в разных областях научных исследований доказали, что это мировоззрение является самым передовым. К тому же до настоящего времени мне не пришлось еще слышать, чтобы в странах социализма кто-либо предложил отказаться от диалектического материализма.

В статье С. К. Шаумяна «О сущности структурной лингвистики», помещенной в № 5 за 1956 г. «Вопросов языкознания», полно и точно излагаются концепции различных школ этого лингвистического направления. Однако из статьи все же неясно, считает ли автор необходимой марксистскую лингвистику или, подобно некоторым румынским лингвистам, допускает, что структурная лингвистика это и есть марксизм в языкознании. Я считаю необходимым выяснить, дает ли структурная лингвистика или какая-нибудь другая лингвистическая доктрина что-либо положительное для марксистской лингвистики. В связи с этим возникает вопрос: что такое марксистская лингвистика? Точного и общепринятого определения, насколько мне известно, пока не существует. Вот почему необходимо прежде всего уточнить это определение. Мне представляется, что в свете марксистско-ленинского мировоззрения лингвистика, для того чтобы ее можно было назвать марксистской, должна отвечать следующим четырем условиям: 1) языковые явления должны рассматриваться в их общности, в их взаимосвязи и взаимодействии; надо учитывать системный характер языковых явлений и диалектическое единство языка и мышления. Это ни в коем случае не может означать, что мы вправе пренебрегать деталями; 2) рассматривать язык надо как явление, находящееся в постоянном движении, развитии, изменении. Исторический анализ должен преобладать над описательным, хотя из этого не вытекает, что нельзя рассматривать состояние языка в тот или иной момент его развития; 3) изучать развитие языка необходимо в тесной связи с развитием того общества, которое он обслуживает. Это, конечно, не должно означать, что любое изменение строя языка следует объяснять непосредственным влиянием изменений, происходящих в обществе; 4) необходимо признать, что существенной задачей лингвистики является раскрытие внутренних законов развития языка. Из этого, однако, не следует, что внешние влияния на язык не должны учитываться.

Изложенные положения, конечно, не новы в языкознании. Так, структурная лингвистика стремится рассматривать язык как единую структуру,

хотя нередко пренебрегает деталями. Младограмматики настаивали на историческом характере языка и, в меру своих сил, изучали его развитие. Некоторые из представителей школы структурной лингвистики пытаются, а иногда и не без успеха (например, Курилович и Мартине), поставить свои исследования на службу истории языка, сопоставляя систему языка на том или ином определенном этапе развития с предшествовавшими или последующими фазами. То, что язык развивается в тесной связи с развитием общества, категорически утверждает французская школа А. Мейе. Настаивая на том, что изменения в языке происходят лишь благодаря внутренним факторам, Ф. де Соссюр подходит к положению о внутренних законах развития языка, и некоторые из сторонников структурной лингвистики являются его последователями в этом отношении.

Следует ли из всего сказанного, что марксистская лингвистика является эклектической? Ни в коем случае. Сущность ее вытекает из единого, цельного, предшествующего всем указанным лингвистическим школам диалектико-материалистического мировоззрения. Если некоторые выдвигаемые этими школами положения близки к марксистской лингвистике, то это объясняется либо случайным совпадением, либо усвоением представителями названных школ определенных идей диалектического материализма.

Надо, однако, указать, что помимо сходства между марксистской лингвистикой (как она определялась мною выше) и остальными лингвистическими направлениями, у них есть и различие. Ф. де Соссюр и велел за ним большинство сторонников структурной школы решительно выступают против историзма. Как глава «социологического» направления, так и его последователи-структуралисты отказываются признать связь истории языка с историей общества (см. пример, приведенный С. К. Шаумяном в его статье). Уже одного этого достаточно, чтобы отказаться от отождествления немарксистского и марксистского языкознания. Многие из структуралистов и прочих идеалистов отрывают язык от мышления. Они даже утверждают, что фонология и грамматический строй языка могут изучаться без знания значения самих слов и предложений. Младограмматики же не понимали, что язык должен рассматриваться как система, а Мейе не признавал и не знал внутренних законов развития языка. Однако, если бы пришлось выбирать среди всех немарксистских лингвистов, наиболее близким к марксизму я бы, конечно, назвал именно А. Мейе.

Может показаться странным, что, обсуждая сходство и различие между марксистами и немарксистами в лингвистике, я ничего не упомянул о борьбе между материализмом и идеализмом. Само собою разумеется, что марксистская лингвистика может быть только материалистической. Этот материализм проявляется прежде всего в связи лингвистики с историей общества, а следовательно, и с материальной действительностью. Несомненно, звук материален, и это нельзя упускать из виду. Однако, во-первых, фонетика в целом занимается не только изучением материальной стороны звуков и, во-вторых, она не является важнейшим разделом в лингвистике (хотя обычно фонетике, или фонологии, придавалось гораздо больше значения, чем всем остальным разделам лингвистики). Постулируемая структуралистами теория противопоставлений без положительных сопоставляемых (*oppositions sans termes positifs*), которую нельзя назвать иначе, как явно идеалистической теорией, является подлинной догмой. Последняя без всяких оговорок принимается С. К. Шаумяном. Как можно установить противопоставление между несуществующими явлениями?

Известно, как Ф. де Соссюр установил противопоставления без положительных сопоставляемых: отметив, что русский род. падеж мн. числа

слов, отличающийся нулевым окончанием, противопоставляется им. падежу ед. числа *слово* так же, как он противостоял ему и тогда, когда оканчивался на *ъ*, Соссюр приходит к выводу, что в языке для противопоставлений нет необходимости и в положительных сопоставляемых. Порочность такой аргументации легко доказать: можно с таким же успехом получить противопоставление как между двумя значимыми единицами, так и между одним значимым и одним незначимым, ибо в последнем случае отсутствие представляет собой ту же положительную единицу. Но в действительности между двумя незначимыми единицами невозможно получить какое-либо противопоставление ни в языке, ни в других явлениях. Так, например, во французском языке 1-е лицо ед. числа [šât] и 3-е лицо ед. числа [šât] можно различить лишь благодаря личному местоимению: *je chante, il chante*.

Нельзя не считаться с физическими свойствами звуков. Классификация строится не только на базе противопоставлений, но также и на базе сходств. Мы не противопоставляем трамвай обувной щетке, а противопоставляем обувную щетку головной щетке или щетке для платья; трамвай — поезду или автобусу. По теории фонем два звука являются разновидностью одной и той же фонемы, если, заменив один другим, мы не получим другой звуковой комплекс. Если произнести по-русски [ščôt] вместо *счѣт*, [ô] представляло бы собой не отдельную фонему, а лишь разновидность фонемы [o], так как [ščôt] не имело бы другого смысла, чем *счѣт*. Почему же оно было бы разновидностью именно [o], а не [z] или [l]? Не потому ли, что между [ô] и [o] есть существенное сходство?

Кроме того, фонема определяется не только различиями по сравнению с другими фонемами, но также и своими собственными положительными свойствами. Если употребить в русском языке чешский звук ř и произнести řis вместо *рис*, звук ř здесь не был бы разновидностью фонемы [r], а просто не имел бы никакой ценности: весь звуковой комплекс потерял бы смысл и, следовательно, не представлял бы собой слово.

Возникает вопрос, что можем мы воспринять от вышеупомянутых школ (не говоря о менее интересных лингвистических направлениях)? От младограмматиков и Мейе — богатый фактический материал в области исторической грамматики, от Ф. де Соссюра — системный характер языка, на котором он настаивал с тех времен, когда был еще младограмматиком (хотя он и не является первым, выдвинувшим это положение). От структуралистов — в той мере, в которой они признают историю, — факты, вносящие ясность в непрерывное изменение системы языка. Основной проблемой, как мне кажется, остается проблема связи языка с обществом, а не изучение языка «в себе и для себя», как утверждает Ф. де Соссюр.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

МЫСЛИ ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

От редакции. Ниже публикуется русский вариант статьи Н. С. Трубецкого, немецкий вариант которой был опубликован в 1939 г. (N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, «Acta Linguistica», vol. I, fasc. 2, Copenhagen, 1939, стр. 81—89). Русский текст статьи в ряде мест отличается от немецкого. Статья излагает содержание доклада, сделанного Н. С. Трубецким 14 декабря 1936 г. в Пражском лингвистическом кружке. Статья, подчеркивающая чисто лингвистический характер индоевропейской проблемы, была направлена против научные обоснованных теорий, связывавших носителей индоевропейского праязыка с носителями определенных археологических культур в Европе. Предложенное Трубецким структурное определение языкового родства, гипотеза о возможности конвергентного развития языковой семьи и замечания о характере типологической эволюции языка перекликаются с идеями ряда других современных лингвистов (ср. В. Пизани, Общее и индоевропейское языкознание, сб. «Общее и индоевропейское языкознание», М., 1956, стр. 168; см. о возможности археологического подтверждения гипотезы Трубецкого Н. Hencken, Indo-European languages and archaeology, «American Anthropologist [American anthropological association]», vol. 57, № 6, part 3, Memoir № 84, 1955, стр. 46—48). Вместе с тем выбор структурных признаков индоевропейских языков у Н. С. Трубецкого не может считаться достаточно мотивированным, что отмечалось в советской лингвистической литературе (А. А. Фрейман, Хеттский язык в его отношении к индоевропейским, ИАН ОЛЯ, т. VI, вып. 3, 1947, стр. 193).

Индоевропейцы — это люди, родной язык которых принадлежит к индоевропейской семье языков. Из этого с научной точки зрения единственно-возможного определения вытекает, что понятие «индоевропейцы» является чисто лингвистическим, — в такой же мере, как понятия «синтаксис», «родительный падеж» или «ударение». Существуют индоевропейские языки и существуют народы, говорящие на этих языках. Единственным признаком, общим всем этим народам, является принадлежность их языков к индоевропейской семье языков.

В настоящее время существует много индоевропейских языков и народов. Оглядываясь назад, в историческое прошлое, мы замечаем, что так было и раньше, насколько наш взор проникает в глубь веков. Кроме предков современных индоевропейских языков, в древности существовал еще целый ряд других индоевропейских языков, которые вымерли, не оставив потомства. Предполагают, что в какие-то чрезвычайно отдаленные времена существовал один-единственный индоевропейский язык, так называемый индоевропейский праязык, из которого будто бы развились все исторически засвидетельствованные индоевропейские языки. Предположение это противоречит тому факту, что, насколько мы можем проникнуть в

глубь веков, мы всегда находим в древности множество индоевропейских языков. Правда, предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным. Однако оно отнюдь не является безусловно необходимым, и без него прекрасно можно обойтись.

Понятие «языкового семейства» отнюдь не предполагает общего происхождения ряда языков от одного и того же праязыка. Под «языковым семейством» разумеется группа языков, которые, кроме ряда общих черт языкового строя, представляют между собой также еще ряд общих «материальных совпадений», т. е. группа языков, в которых значительная часть грамматических и словарных элементов представляет закономерные звуковые соответствия. Но для объяснения закономерности звуковых соответствий вовсе не надо прибегать к предположению общего происхождения языков данной группы, так как такая закономерность существует и при массовых заимствованиях одним неродственным языком у другого. Так, например, в древнейших заимствованиях западнофинских языков из (восточно-) славянского славянские звонкие взрывные *б, д, г* между гласными закономерно передаются финскими краткими глухими *p, m, k*, славянские глухие взрывные *п, т, к* — финскими долгими (двойными) глухими *pp, tt, kk*, славянское *ь* — финским *i*, славянское *ъ* — финским *u* (но в конце слова после славянских глухих согласных — финским *i*), славянское *о* — финским *a*, славянское *е* — финским *ä* и т. д. Совпадения в рудиментарных элементах словаря и морфологии тоже не является доказательством происхождения из общего праязыка, ибо в принципе все элементы языка подвержены заимствованию, а на низких ступенях развития рудиментарные элементы словаря особенно часто переходят из одного языка в другой. В свое время Пауль Кречмер (в своей «*Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache*») вполне основательно утверждал, что между понятиями родства и заимствования с лингвистической точки зрения существует только хронологическое различие. Слова, проникшие из одного индоевропейского языка в другой после известного звукового изменения, мы узнаем как заимствованные, потому что закономерность звуковых соответствий оказывается нарушенной. Например, славянское *тънь* явно заимствовано из германского *tūnas* (нем. *Zaun*, англ. *town*), так как в «исконно-родственных» словах германскому *t* (нем. *z*, англ. *t*) должно соответствовать славянское *д* (ср., например, нем. *zwei*, англ. *two* — слав. *дѣтъ, дѣа*; нем. *zu*, англ. *to* — слав. *до*; нем. *zwingen* — слав. *двигати*; нем. *sitzen*, англ. *sit* — слав. *сѣдѣти*; нем. *Zahl* — слав. *доля*; англ. *tear*, нем. *zerren* — слав. *дѣрати, дѣра*; нем. *zerger* — русск. *дергать* и т. д.). Здесь мы узнаем о том, что слово заимствовано, только потому, что заимствование произошло уже после изменения *d* в *t* на германской почве: если бы заимствование произошло до этого изменения, по-славянски получилось бы не *тънь*, а *динъ*, которое мы должны были бы считать «исконно-родственным» с нем. *Zaun* и англ. *town*. Весьма возможно, например, что германское слово, послужившее источником для славянского *тънь*, было само заимствовано из кельтского (ср. галльск. *danum* в названиях укрепленных городов, вроде *Nevidunum*, *Mellodunum*, *Eburacdonum*, *Uxellodunum* и т. д.). Но поскольку это заимствование произошло еще до перехода *d* в *t* на германской почве, германское *tūnas* (нем. *Zaun*, англ. *town*) ничем не проявляет своего кельтского происхождения и должно рассматриваться как «исконно-родственное» с кельтским *dūnum*. Строго говоря, «индоевропейскому праязыку» приписываются все языковые (словарные и грамматические) элементы, которые встречаются в нескольких индоевропейских ветвях и не заключают в себе никаких указаний на направление, в котором они заимствовались одним языком у другого. Точно так же обстоит дело и в других языковых семействах.

Таким образом, нет собственно никакого основания, заставляющего предполагать единый индоевропейский праязык, из которого якобы развились все индоевропейские языки. С таким же основанием можно предполагать и обратную картину развития, т. е. предполагать, что предки индоевропейских ветвей первоначально были непохожи друг на друга и только с течением времени благодаря постоянному контакту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизились друг с другом, однако без того, чтобы вполне совпасть друг с другом. История языков знает дивергентное и конвергентное развитие. Порою бывает даже трудно провести грань между этими двумя видами развития. Романские языки несомненно все восходят к одному латинскому (вульгарнолатинскому) языку. Но эпохе усвоения вульгарнолатинского языка иберами, галлами, лигурами, этрусками, венетами, даками и т. д. несомненно предшествовал период приспособления языков всех этих племен к латинскому языку, период, когда все это языки насыщались словарными заимствованиями из латинского и видоизменяли свою грамматику и синтаксис в направлении, сходном с латинским. И не подлежит сомнению, что и сам латинский язык именно в этот же период переживал самые сильные изменения, вызванные процессом встречного приспособления к варварской речи. А в результате, когда варварские языки в разных частях бывшей Римской Империи исчезли, уступив место латинскому, этот латинский язык в каждой провинции оказался несколько иным, так что полного языкового единства собственно так и не получилось. После же вытеснения варварских языков латинским провинциальные разновидности этого языка стали развиваться в разных направлениях и в конце концов породили современные романские языки, настолько отличающиеся друг от друга, что представители двух разных романских языков (а зачастую, и двух говоров одного и того же романского языка) уже не понимают друг друга. В то же время, в целом ряде частностей, те же романские языки (особенно языки литературные) представляют и в дальнейшей своей истории тенденцию к взаимному сближению. Таким образом, здесь конвергенция и дивергенция с самого начала переплетаются друг с другом.

Романские языки являются одним из примеров развития семейства языков из «праязыка». Пример этот не вполне удачен потому, что «праязыком» в данном случае служил государственный язык с письменной традицией. Но рядом с настоящими романскими языками существуют и языки, так сказать, «полуроманские», т. е. языки, вставшие на путь постепенной замены своих оригинальных черт и элементов народнолатинскими, но не дошедшие в этом направлении до конца. Таков, например, язык албанский. Значительная часть его словаря состоит из романских элементов, и грамматический строй его сильно напоминает строй романский. Но, в то же время, язык этот не стал вполне романским и сохраняет еще очень большое число элементов, не объяснимых при помощи латинского. Так как латинский язык хорошо известен по памятникам и, кроме того, имеются живые романские языки, языковеды оказываются в состоянии в значительной мере распутать клубок романских и нероманских элементов албанского языка, хотя это и сопряжено с большими затруднениями. Но если бы в распоряжении ученых находилось только несколько «полуроманских» языков вроде албанского, то, применяя к этим языкам сравнительный метод, выработанный индоевропейским языковедением, пришлось бы восстанавливать их «праязык», причем нероманские элементы этих языков пришлось бы либо оставлять не объясненными, либо объяснять при помощи сложных и искусственных комбинаций, которые непременно отразились бы на восстановленном «праязыке». Картина еще осложнилась бы, если бы в распоряжении науки находилась не одна группа языков, вступивших на путь

конвергентного развития и остановившихся посреди этого пути, а потомки нескольких таких групп, связанных друг с другом частичной конвергенцией. Применяя метод классического сравнительного языковедения, пришлось бы восстанавливать «праязык» всей этой совокупности языков, так как в них во всех имелись бы и общие черты строя, и общие словарные и грамматические элементы с закономерными звуковыми соответствиями. «Праязык» несомненно восстановить удалось бы, но он, разумеется, не соответствовал бы никакой реальности.

Таким образом, языковое семейство может быть продуктом чисто дивергентного, или чисто конвергентного развития, или, наконец, продуктом сочетания обоих типов развития в разных пропорциях. Критериев, вполне объективно указывающих на то, какому именно типу развития обязана своим происхождением данная группа языков, по-видимому, нет или почти нет. Для семейств, состоящих из языков настолько близких, что почти все словарные и грамматические элементы каждого из этих языков находятся (с закономерными звуковыми изменениями) и во всех или в большинстве других языков того же семейства, — для таких семейств чисто дивергентное развитие, конечно, более вероятно, чем чисто конвергентное. Быть может, некоторые указания можно почерпнуть и из внутреннего членения данного языкового семейства. Существуют языковые семейства с сетевидным (или цепевидным) членением. Таковы, например, славянские языки. Здесь почти каждый язык является как бы связующим звеном между двумя другими, и связь между соседними языками осуществляется переходными говорами, причем нити связи тянутся и поверх границ между группами. Так, южнославянская группа не только представляет собой непрерывную цепь переходов от словинского языка (через кайкавщину) к сербо-хорватскому, а от него (через ряд переходных говоров) к болгарскому, но можно прямо сказать, что из всех южнославянских языков ближе всего к западнославянским стоит словинский (и, в частности, его хорутанские говоры), а ближе всего к восточнославянским — болгарский (и, в частности, его восточное наречие) и т. д. Однако при сопоставлении славянских языков с прочими индоевропейскими это цепевидное членение прекращается. Не подлежит сомнению, что из всех других индоевропейских языков ближе всего к славянским стоят языки балтийские (литовский, латышский и вымерший древнепрусский). Но нельзя сказать, какой именно балтийский язык ближе всего к славянским и какой именно славянский ближе всего к балтийским. Вместо цепевидного членения здесь имеется иной тип членения, который можно было бы назвать кирпичевидным. И, возможно, что эти разные типы членения групп «родственных» языков связаны с разными типами возникновения этих групп, т. е. что цепевидное членение развивается при преобладании дивергенции, а кирпичевидное — при преобладании конвергенции.

Как бы то ни было, индоевропейское языковое семейство не представляет особо тесной связи между отдельными своими ветвями. Каждая из ветвей индоевропейского семейства обладает значительным числом словарных и грамматических элементов, не имеющих точных соответствий в других индоевропейских языках, — в этом отношении индоевропейское семейство сильно отличается от таких языковых семейств, как тюркское, семитское или семейство языков банту. А при таких условиях предположение, что индоевропейское семейство получилось благодаря конвергентному развитию первоначально неродственных друг другу языков (предков позднейших «ветвей» индоевропейского семейства), отнюдь не менее правдоподобно, чем обратное предположение, будто все индоевропейские языки развились из единого индоевропейского праязыка путем чисто дивергентной эволюции.

Во всяком случае, названное предположение должно непременно приниматься во внимание при обсуждении так называемой «индоевропейской проблемы», и всякое высказывание об этой проблеме должно быть построено так, чтобы сохранять свою силу при допущении как того, так и другого вышеупомянутого предположения. Между тем до сих пор при обсуждении «индоевропейской проблемы» учитывается только предположение чисто дивергентного развития из единого индоевропейского праязыка. Благодаря этому одностороннему подходу все обсуждение проблемы попало на совершенно ложный путь. Подлинное, чисто лингвистическое существо индоевропейской проблемы было позабыто. Многие индоевропейцы совершенно неосновательно привлекли к участию в обсуждении «индоевропейской проблемы» доисторическую археологию, антропологию и этнологию. Стали рассуждать о местожительстве, культуре и расе индоевропейского «пранарода», между тем как этот пранарод, может быть, никогда и не существовал. Для современных немецких (да и не только немецких!) языковедов «индоевропейская проблема» получает приблизительно следующую формулировку: «какой тип доисторической керамики должен быть приписан индоевропейскому пранароду?». Но этот вопрос (точно так же, как и ряд подобных ему вопросов) с научной точки зрения разрешен быть не может и потому является праздным. Вся дискуссия вертится в заколдованном кругу, так как само существование индоевропейского пранарода доказано быть не может, точно так же, как не может быть доказана и связь определенных типов материальной культуры с определенным типом языка. Таким образом, создается мнимое понятие, романтический призрак «пранарода», и в погоне за этим призраком забывается та основная научная истина, за которую следовало бы держаться, — именно, что понятие «индоевропейцы» является исключительно лингвистическим.

Единственная научно допустимая постановка вопроса гласит: как и где образовался индоевропейский строй языка? И ответить на этот вопрос можно и должно, прибегая исключительно к лингвистическим понятиям и фактам.

Чтобы ответить на вопрос о месте и способе возникновения индоевропейского строя, нужно, конечно, прежде всего выяснить, каковы особенности самого этого строя.

По каким признакам лингвисты определяют, что данный язык является индоевропейским? Разумеется, для этого необходимо наличие в данном языке некоторого количества «материальных совпадений», т. е. корней, основообразовательных суффиксов и окончаний, совпадающих как по своей функции (по значению), так и по своей звуковой стороне (разумеется, при учете закономерных звуковых соответствий) с такими же элементами других индоевропейских языков. Однако невозможно сказать, как велико должно быть число таких совпадений, чтобы данный язык мог быть признан индоевропейским. Невозможно также сказать, какие именно словарные или грамматические элементы непременно должны быть налицо в каждом индоевропейском языке. Трудно найти слово, которое в соответственно закономерном измененном звуковом виде встречалось бы во всех без исключения индоевропейских языках. Как раз наиболее распространенные слова представляют в отдельных языках такие нарушения звуковых законов, что их прототип может быть восстановлен лишь при помощи некоторого насилия над фактами. Слова же, не представляющие в отдельных языках никаких звуковых неправильностей, обычно засвидетельствованы не во всех, а лишь в немногих индоевропейских языках. Что касается до грамматических окончаний, то они лишь очень редко находят себе вполне точное соответствие за пределами дан-

ной индоевропейской ветви. Очень часто обычные звуковые законы к окончаниям оказываются неприменимы, и приходится искусственно изобретать *ad hoc* особые «законы конца слова» (*Auslautgesetze*), поле действия которых иногда ограничено одним единственным примером (например, ходячие объяснения славянского дат. падежа ед. числа *рабу*, твор. падежа мн. числа *рабы*, род. падежа ед. числа *жены*). Ко всему этому надо прибавить еще и то, что как раз некоторые из наиболее распространенных в индоевропейских языках словарных и грамматических элементов вовсе не являются специфически индоевропейскими и распространены и в других, неиндоевропейских языковых семействах, например элементы отрицания с согласными *n* и *m*, местоименные корни *m* «мой, меня», *t* или *s* «твой, тебя», *to* «тот», *kwo* «кто?» и т. д. Принимая во внимание все эти обстоятельства, придется признать, что при решении вопроса о принадлежности данного языка к индоевропейскому языковому семейству «материальным совпадениям» не следует приписывать слишком значительной роли. Разумеется, «материальные совпадения» должны быть налицо, и их полное отсутствие является доказательством того, что данный язык к индоевропейскому семейству не принадлежит. Но число этих совпадений довольно безразлично, и среди них нет ни одного, наличие которого было бы обязательно для того, чтобы засвидетельствовать индоевропейский характер данного языка.

Для доказательства принадлежности данного языка к индоевропейскому семейству, кроме неопределенного числа «материальных совпадений», необходимо наличие следующих шести структурных признаков, свойственных всем известным нам индоевропейским языкам (живым и вымершим):

Во-первых, два фонологических признака скорее отрицательного характера:

1. Отсутствие гармонии гласных. Состав гласных первого слога слова в индоевропейских языках никогда не определяется составом гласных первого слога (в отличие от языков алтайских и многих угро-финских). В тех случаях, где термин «гармония гласных» применяется к отдельным индоевропейским языкам или диалектам (например, в подляшских и западноукраинских говорах, в резьянском говоре словинского языка), на самом деле имеется просто приспособление неударяемых гласных к ударяемым по степени открытости (например, в резьянском говоре словинского языка *koleno* сохраняется, но дат. падеж *sobí* переходит в *subí* и т. д.) — результаты этого процесса совершенно не похожи на то явление, которое принято называть гармонией гласных в алтайских и угро-финских языках.

2. Число согласных, допускаемых в начале слова, не беднее числа согласных, допускаемых внутри слова. В этом отношении индоевропейские языки сильно отличаются от большинства угро-финских и алтайских языков. В тех случаях, когда в индоевропейских языках в начале слова допускаются не те же согласные, что внутри слова, набор согласных начала слова оказывается богаче набора внутрисловного: так, например, говоры шотландского языка различают в начале слова *придыхательные* и *непридыхательные* согласные, в некоторых новоиндийских языках в начале слова различаются согласные *придыхательные*, *непридыхательные* и *смычно-гортанные*, внутри же слова этого различия не существует (таковы, например, восточные говоры бенгальского языка). Ни в одном угро-финском или алтайском языке такое явление не могло бы иметь места (но в северокавказских языках оно вполне допустимо; ср., например, чеченский язык,

в котором различие между глухими простыми и смычногортанными существует только в начале слова).

Следующие три особенности относятся к области «морфологии»:

3. Слово не обязано начинаться с корня. Индоевропейских языков без префиксов не существует. Даже в наиболее древних индоевропейских языках имеются настоящие префиксы, т. е. такие морфемы, которые встречаются только в сложении с последующим корнем, а как самостоятельные слова никогда не употребляются (например, *n-* «без-», *su-* «добро-», «благо-», *dus-* «худо-», аугмент *e-* и т. д.). В позднейших же индоевропейских языках число таких префиксов имеет наклонность увеличиваться.

4. Образование форм осуществляется не только при помощи аффиксов, но и при помощи чередования гласных внутри основы. К старому чередованию гласных (Ablaut'y), о причинах возникновения коего можно высказывать лишь более или менее правдоподобные догадки, в каждом индоевропейском языке присоединяются и новые виды чередования гласных, условия возникновения которых определяются без особого труда. Однако, хотя новые чередования гласных и вызваны действием специальных звуковых законов, законы эти уже утратили силу, и с точки зрения данной эпохи новое чередование гласных является уже не механически обусловленным, а столь же «свободным» и «грамматическим», как старый ablaut. Так, с точки зрения современного русского языка нет принципиальной разницы между чередованием *e — o* в случаях *мéлет — мо́лотый, пeть — по́й и те́чь — то́к*, между тем как это чередование в первом случае вызвано специально русскими звуковыми законами, во втором — общеславянскими звукоизменениями, а в третьем восходит к еще более древнему, дославянскому («общиндоевропейскому») чередованию гласных. Таким образом, во всех индоевропейских языках старые и новые случаи и виды чередования гласных сочетаются друг с другом и создают подчас сложнейшие ряды. Так, например, немецкий корень со значением «ломать, обламывать» выступает в немецком литературном языке с восемью разными огласовками, т. е. со всеми простыми (не дифтонговыми) гласными немецкого языка: *Bruch* «перелом», *gebrochen* «сломан», *brach* «сломал», *brüche* конъюнктив прош. времени, *brechen* «ломать», *brich!* «ломай!», *brüchig* «ломкий», *ab-bröckeln* «отбить, отломить».

5. Наряду с чередованием гласных известную роль при образовании грамматических форм играет и внешне не обусловленное чередование согласных. Степень использования этого средства в отдельных индоевропейских языках очень различна. Но так или иначе оно применяется во всех них, и нет ни одного индоевропейского языка, которому грамматическое чередование согласных было бы совсем чуждо. С исторической точки зрения все эти виды чередования согласных обязаны своим происхождением разным комбинаторным звуковым изменениям, условия которых большею частью легко поддаются определению. Но с точки зрения синхронической (т. е. с точки зрения данного состояния языка) чередование согласных уже внешне не обусловлено и является таким же большей частью вспомогательным средством формообразования, как и чередование гласных. Особенность эта типологически очень важна, в чем нетрудно убедиться, сравнив индоевропейские языки с некоторыми другими: так, семитским языкам грамматическое чередование согласных совершенно чуждо; чуждо оно и языкам севернокавказским (за исключением арчинского и кюринского, ныне «лезгинского»); в алтайских же языках су-

ществует только внешне обусловленное, комбинаторное чередование согласных на морфологических «швах».

Наконец, последний пункт относится к области морфологии.

6. Подлежащее непереходного глагола трактуется совершенно так же, как подлежащее переходного. В тех индоевропейских языках, в которых различие между подлежащим и прямым дополнением переходного глагола выражается падежными окончаниями, подлежащее непереходного глагола принимает то же окончание, что и подлежащее переходного (например, лат. *filius patrem amat—filius venit*): а в тех индоевропейских языках, в которых различие между подлежащим и прямым дополнением переходных глаголов выражается расположением слов в предложении, подлежащее непереходного глагола расположено по отношению к своему сказуемому совершенно так же, как подлежащее переходного глагола (например, франц. *le fils aime le père — le fils vient*).

Каждый из перечисленных выше шести структурных признаков встречается порознь и в неиндоевропейских языках, но все шесть вместе — только в индоевропейских. Язык, не обладающий всеми шестью названными признаками, не может считаться индоевропейским, даже если словарь его включает в себе много элементов, совпадающих с индоевропейскими. И, наоборот, язык, заимствовавший большую часть своих словарных и формативных элементов из неиндоевропейских языков, но представляющий перечисленные выше шесть признаков (наряду с хотя бы небольшим числом слов и аффиксов, общих другим индоевропейским языкам), должен быть признан индоевропейским. Из этого следует, что язык может с д е л а т ь с я индоевропейским или, наоборот, перестать быть индоевропейским.

Момент, когда все перечисленные шесть структурных признаков впервые сочетались друг с другом в одном языке, словарь и грамматика которого заключали в себе ряд элементов, нашедших с течением времени соответствия в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках, — этот момент следует признать временем возникновения индоевропейского строя языка. Никакие данные доисторической археологии, разумеется, не могут дать указание на то, когда именно это произошло, ибо техника керамики или форма оружия не стоят ни в какой связи с перечисленными выше шестью структурными признаками. Таким образом, время возникновения индоевропейского строя никогда не удастся выяснить. Следует только заметить, что процесс сочетания наших шести структурных признаков с некоторым числом «приндоевропейских» корней и аффиксов мог протекать приблизительно одновременно в нескольких языках сразу. В таком случае индоевропейских языков с самого начала было несколько, причем первоначально они составляли «языковой союз», из которого с течением времени развилось языковое семейство. Ретроспективно лингвисты вынуждены рассматривать эти члены древнейшей индоевропейской группы языков как «диалекты индоевропейского праязыка», но выводить их непременно из одного общего источника нет никаких оснований.

Для определения того географического пространства, в котором мог произойти этот процесс возникновения индоевропейского строя, надо принять во внимание следующее соображение. Предложенная в свое время Йоганном Шмидтом так называемая «теория волн» применима не только к диалектам одного языка и к группам родственных языков, но и к соседствующим друг с другом неродственным языкам. Соседние языки, даже не будучи родственными друг с другом, как бы «заражают друг друга» и, в результате, получают ряд общих особенностей в звуковой и грамматической структуре. Количество таких общих черт зависит от продолжительности географического соприкосновения данных языков. Все это применимо

и к языковым семействам. В большинстве случаев языковое семейство представляет определенные особенности, из которых одни объединяют его с одним соседним семейством, а другие — с другим, тоже соседним. Таким образом, отдельные семейства образуют целые цепи. Так, угро-финские языки и тесно с ними связанные языки самоедские представляют целый ряд структурных особенностей, общих с языками «алтайскими» (т. е. тюркскими, монгольскими и маньчжуро-тунгусскими). Алтайские языки, в свою очередь, некоторыми структурными особенностями напоминают языки корейский и японский, а этот последний наряду с чертами, сближающими его с алтайскими языками, обладает и другими чертами, роднящими его с языками малайско-полинезийскими. С другой стороны, алтайские языки имеют общие черты и с так называемыми «палеоазиатскими» языками («одульским» — юкагирским, «нивхским» — гиляцким и камчатской группой, состоящей из «ительменского» — камчадалского, «нымыланского» — коряцкого и «луораветланского» — чукотского), а эти языки (в особенности их камчатская группа) по структуре явно напоминают язык эскимосский и через него соединяются с некоторыми другими североамериканскими языками. Точно таким же образом в Африке языковое семейство «банту» через посредство «бантоидных» языков связывается с языками суданскими и нилотскими; суданские языки представляют известные черты сходства с некоторыми одиноко стоящими западноафриканскими языками вроде волофского и фульского, которые, с другой стороны, известными особенностями напоминают языки берберские; нилотские языки, по-видимому, представляют известное сходство с кушитскими. Наконец, языки берберские, кушитские, египетский (коптский) и семитские представляют столько общих черт в своей структуре, что их часто принято объединять под именем «хамито-семитских».

Учитывая эту общую склонность к «цепному» географическому расположению языковых семейств, а также и то обстоятельство, что, как было уже указано выше, все структурные черты индоевропейского языкового строя порознь встречаются и в неиндоевропейских языках, можно с некоторой степенью вероятности определить приблизительное географическое место возникновения индоевропейского языкового строя. «Соседями» древнейшего языка (или языков) индоевропейского строя могли быть только две большие группы языков (точнее, языковых семейств), из которых одну условно можно назвать «урало-алтайской», а другую — «средиземноморской». Урало-алтайская группа (включающая в себя семейства угро-финское, самоедское, тюркское, монгольское и маньчжуро-тунгусское) объединяется с индоевропейским наличием номинативно-аккузативной (именительно-винительной) конструкции («пункт 6»), а сверх того, наиболее западный член этой группы, семейство угро-финское представляет свободное грамматическое чередование согласных («пункт 5»). Средиземноморская группа языковых семейств (представленная ныне языками севернокавказскими, южнокавказскими, семитскими, баскским, может быть также и берберскими языками, а в древности еще и вымершими языками Малой Азии) совпадает с индоевропейским строем в «пунктах» 1, 2, 3 и 4-м, но отличается от него неизменностью согласных и эргативной конструкцией (чуждой, впрочем, семитским языкам)¹. Индоевропейский языковой строй является связующим звеном между строем урало-алтайским и средиземноморским, и потому возникновение индоевропейского строя естественнее всего локализовать где-то между областью

¹ Под эргативной конструкцией мы понимаем такой грамматический строй, при котором подлежащее переходного глагола имеет не ту же форму, что подлежащее непереходного глагола. Например, аварск. *сац ескерула* «мальчик бегает», *согас тил босула* «мальчик берет палку».

урало-алтайских языковых семейств, с одной стороны, и средиземноморских семейств, с другой. В то же время следует заметить, что дравидские языки в Индии представляют с урало-алтайскими языками целый ряд общих черт языковой структуры, причем эти черты индоевропейским языкам чужды. Это делает невозможным локализацию возникновения индоевропейского строя в областях, расположенных между урало-алтайскими и дравидскими языками, т. е. в Иране или в северной Индии. Еще менее вероятно более восточные локализации, при которых индоевропейский строй должен был бы играть роль промежуточного звена между урало-алтайским и китайским, или между урало-алтайским и тибето-бирманским языковым строем. Таким образом, место возникновения индоевропейского строя определяется и положительно и отрицательно: это есть область, лежащая между областями урало-алтайской и средиземноморской групп языковых семейств и не включающаяся между урало-алтайскими и дравидскими языками.

Разумеется, эти географические указания довольно неопределенны, тем более что мы совершенно не знаем, как далеко на север распространялась в отдаленном прошлом «средиземноморская» группа языковых семейств, представители которой в настоящее время удержались еще у Бискайского залива и на Северном Кавказе. Но более точно определить место возникновения индоевропейского строя и а ч н ы м и с р е д с т в а м и невозможно. Во всяком случае, следует отказаться от предрассудка, будто «индоевропейский праязык» (или первый язык индоевропейской структуры) господствовал в узко ограниченном пространстве. При том неединообразном характере, который приходится приписывать «индоевропейскому праязыку», даже при младограмматических методах реконструкции, признание единого центра или очага распространения индоевропейского языкового семейства очень мало вероятно. Совместное же действие нескольких очагов распространения вполне мыслимо и на очень обширном географическом пространстве — скажем, от Северного моря до Каспийского моря.

Возникновение индоевропейского языкового строя, всей совокупности «материальных» и «формальных» признаков индоевропейских языков было плодом длительного исторического развития. Индоевропейский строй подвержен эволюции, как и все, что относится к языку. В принципе каждая индоевропейская ветвь развивается самостоятельно, но есть некоторые тенденции развития, общие всем индоевропейским ветвям или, по крайней мере, их большинству. Сравнение этих тенденций с фактами соседних, неиндоевропейских языков вскрывает некоторые любопытные обстоятельства.

Для наиболее древних периодов развития индоевропейских языков приходится принимать не менее трех способов артикуляции взрывных согласных. В современных же индоевропейских языках число способов артикуляции взрывных обычно сводится к двум; только в таких языках, как армянский, курдский, осетинский и некоторые новоиндийские, т. е. в языках, окруженных неиндоевропейской языковой средой, удержались еще трех- и четырехчленные системы взрывных. Обращаясь к соседним языкам, замечаем, что системы с тремя способами артикуляции взрывных имеются во всех северокавказских и южнокавказских языках, а также в баскском и (если считать так называемые «эмфатические» согласные особым способом артикуляции) в семитских языках; языки же угро-финские и алтайские представляют только два типа взрывных, точно так же как огромное большинство современных индоевропейских. Любопытно при этом, что в древнейшей индоевропейской звуковой системе класс губных взрывных отличался от других классов тем, что один из его трех чле-

нов (именно *b) встречался крайне редко. Совершенно ту же картину представляют современные северокавказские языки, в которых один из трех губных взрывных (именно так называемое «смычногортанное» p) встречается чрезвычайно редко (а во многих языках, например в аварском, в лакском и т. д., и вовсе не встречается); точно так же и в семитских языках класс лабиальных взрывных не знает эмфатической взрывной, и в доисторическом семитском «п्राязыке» этот звук, если вообще существовал, должен был встречаться особенно редко. Между тем в современных индоевропейских языках класс губных взрывных в отношении употребительности отдельных звуков вполне сравнялся с другими классами взрывных, и в этом отношении современные индоевропейские языки сближаются с угро-финскими, самоедскими и алтайскими.

Для «индоевропейского праязыка», вообще для наидревнейшей стадии развития индоевропейских языков приходится принимать два ряда согласных типа *k*, *g*¹. В исторических же индоевропейских языках находим только один ряд таких согласных, и в тех немногих языках, в которых имеется второй ряд (например, осетинск. *q*, *q'*), этот второй ряд явно вторичного происхождения. Из соседних языковых семейств два ряда *k*, *g* представляют прежде всего все северо- и южнокавказские языки, а может быть и семитские (если считать эмфатические глубокомягконебные согласные вторым рядом). Напротив, в языках угро-финских и алтайских существует только один ряд *k*, *g*, иногда с двумя оттенками произношения, обусловленными автоматической гармонией гласных. И если в самоедских языках наряду с нормальными *k*, *g* встречаются как особые фонемы заднемягконебные *q*, *q'*, то явление это (как и многие другие особенности самоедских языков) по всей вероятности следует приписать влиянию вымерших языков палеоазиатского типа.

По весьма вероятному предположению (за последнее время особенно убедительно доказанному польским лингвистом Е. Куриловичем) индоевропейские языки на древнейшей стадии своего развития обладали несколькими (по Е. Куриловичу — четырьмя) гортанными согласными, но позднее эти согласные были утрачены, и там, где современные индоевропейские языки представляют гортанные согласные (например, нем. *h*, укр. *g* и т. д.), эти звуки развились из других, негортанных уже на памяти истории². Из соседних языковых семейств языки северокавказские и хамито-семитские отличаются обилием гортанных согласных. Наоборот, в языках урало-алтайской группы гортанных согласных нет вовсе, и если в некоторых из этих языков встречается звук *h*, то он оказывается довольно поздним продуктом развития какого-нибудь другого звука (например, в венгерском *h* из более древнего *x*, в бурятском и в северозевенкийском *h* из *s* и т. д.)³. В этом отношении урало-алтайские языки напоминают исторически засвидетельствованные индоевропейские.

В древних индоевропейских языках некоторые глагольные формы образуются не только при помощи особых окончаний и определенных изменений гласных корня, но и при помощи частичного удвоения корня,

¹ Чем отличались друг от друга эти два ряда *k*, *g*, об этом существуют разные предположения. Одни ученые предполагают противопоставление чистых *k*, *g* лабиализованным (т. е. произносимым с таким же положением губ, как при гласной *y*), другие — противопоставление твердых *k*, *g* мягким *kʷ*, *gʷ*.

² Только в недавно открытом хеттском языке *h*, по-видимому, восходит непосредственно к одной из праиндоевропейских гортанных согласных.

³ В говоре касимовских татар имеется гортанный взрывной (*coup de glotte*), развившийся из общетюркского *k*; любопытно, что ту же эволюцию проделало и общеславянское *k* в рожанском (розентальском) говоре словинского языка (в Каринтии) и общегерманское *k* в некоторых голландских говорах.

именно, первой его согласной: такие формы известны в древнеиндийском, древнеиранском, древнегреческом, латинском (*posco-poposci, tango-tetigi, tundo-tutudi* и т. д.), умбском, оскском, готском. Но в языках, засвидетельствованных на более поздней ступени развития, таких форм уже нет, и современным индоевропейским языкам удвоение части корня при образовании глагольных форм совершенно чуждо. Из соседних языковых семейств языки северокавказские и семитские применяют удвоение согласной корня при образовании некоторых глагольных форм (ср., например, аварск. *тезе* «сорвать» — *тетезе* «срывать»; лакск. *цуц* «болеть» — *цуцар* «болит», *шиаран* «кипеть» — *шишарашшар* «кипит»; арчинск. *хурас* «смеяться» — *хураху* «смеялся» и т. д.). Наоборот, языковым семействам урало-алтайской группы удвоение согласной глагольного корня как средство образования глагольных форм совершенно чуждо.

Индоевропейские языки на сравнительно древней стадии своего развития различали грамматические роды существительных (как предполагают теперь, сначала — род одушевленный, или активный, и неодушевленный, или пассивный, позднее же — мужской, женский и средний). Но по мере своего развития индоевропейские языки обнаруживают склонность утрачивать это различие или сводить его к минимуму. Так, армянский и новоиранские языки совсем утратили различие грамматических родов, английский и голландский почти совсем утратили это различие, а в романских языках (точно так же, как в латышском и литовском) сохранилось только различие между мужским и женским родом. Из соседних языковых семейств сильнее всего настаивают на родовых различиях существительных языки северокавказские (чеченский язык, например, различает шесть грамматических родов) и, в более слабой степени, языки хамито-семитские. Наоборот, языковым семействам урало-алтайской группы различие грамматических родов существительных совершенно чуждо.

Наконец, если прав Uhlenbeck и некоторые другие лингвисты, противопоставление именительного падежа винительному, свойственное всем исторически засвидетельствованным индоевропейским языкам (совпадающим в этом отношении с языками урало-алтайскими), развилось сравнительно поздно, и в наиболее древний период своего развития индоевропейские языки применяли эргативную конструкцию, подобно современным северокавказским языкам (а также языку баскскому и некоторым вымершим языкам Малой Азии).

Все перечисленные выше факты как будто указывают на то, что в своем историческом развитии индоевропейские языки все более и более отдаляются от языкового типа, представленного современными восточнокавказскими языками, и приближаются к типу, представленному языками угро-финскими и алтайскими. Обстоятельство это может быть, конечно, истолковано разными способами. Можно видеть в нем отражение особых «исторических» (точнее, доисторических) событий в жизни индоевропейского «пранарода» и пытаться восстановить эти события. При известной доле воображения и при ловком обращении со скудными и допускающими самые разнообразные толкования данными доисторической археологии можно нарисовать довольно яркую картину «истории индоевропейского пранарода» и его отношения к другим «прарасам» и «пранародам». Картина эта, может быть, будет занимательна, но... научно неубедительна. А потому мы склонны принять иное толкование вышеприведенных фактов. Мы видим в переходе от восточнокавказского языкового типа к урало-алтайскому некий естественный процесс. Представленный современным северокавказскими (особенно восточнокавказскими) языками языковой

строй с гипертрофией флексии¹ несомненно гораздо менее прозрачен, экономен и удобен, чем строй, представленный урало-алтайскими языками и покоящийся на принципе так называемой агглютинации. Если лингвисты до сих пор считали языки агглютинирующие более примитивными, чем флектирующие, то поступали они так, очевидно, только в силу этноцентрических предрассудков, являясь сами представителями разных индоевропейских, а следовательно, флектирующих языков². Отрешившись от этих предрассудков, следует признать, что чисто агглютинирующие языки алтайского типа с небольшим инвентарем экономно использованных фонем, с неизменяемыми корнями, отчетливо выделяющимися, благодаря своему обязательному положению в начале слова, и с отчетливо присоединяемыми друг к другу всегда вполне однозначными суффиксами и окончаниями представляют из себя технически гораздо более совершенное орудие, чем флектирующие языки хотя бы восточнокавказского типа с неуловимыми корнями, постоянно меняющими свою огласовку и теряющимися среди префиксов и суффиксов, из которых одни наделены определенным звуковым обликом при совершенно неопределенном и неуловимом смысловом содержании, другие же при определенном смысловом содержании или формальной функции представляют несколько разнородных, не сводимых друг к другу звуковых видов.

Правда, в большинстве индоевропейских языков принцип флективности выступает уже не в таком гипертрофированном виде, как в языках кавказских, но до технического совершенства агглютинирующих алтайских языков индоевропейским языкам еще далеко. О том, что, вопреки утверждениям индоевропейских лингвистов, агглютинирующий строй по сравнению не только с гипертрофированно-флектирующим, но и с умеренно-флектирующим представляется некоторым идеалом, — об этом свидетельствуют опыты создания искусственных языков. Charles Bally совершенно верно заметил, что эсперанто, который состоит исключительно из индоевропейских лексем, тем не менее является языком чисто агглютинативным. Таким образом, когда индоевропейцы хотят «исправить природу» и создать более совершенный искусственный язык, они невольно упраздняют флективность и прибегают к агглютинации. Между тем обратное явление было бы немыслимо: нельзя представить себе финна, эстонца, венгра, турка или японца, который, желая создать более совершенный искусственный язык, стал бы упразднять принцип агглютинации и вводить принцип флексии.

Итак, индоевропейские языки возникли в процессе преодоления гипертрофии флексии, стремясь к рациональной агглютинации как к идеалу. В этом процессе они, однако, не дошли до конца, не успели создать в «доисторический период» устойчивый тип языкового строя, подобного, например, строю алтайскому. А потому они и продолжают эволюционировать все в том же направлении, не порывая, однако, с некоторыми элементами своей «переходной» структуры. Это и делает их столь изменчивыми, особенно по сравнению с языками алтайскими.

1937 г.

¹ Под флексией (флективностью, флектированием) мы разумеем морфологически значимое изменение звукового вида морфем (корней и аффиксов).

² В этом месте статьи Н. С. Трубецкого имеется обширное примечание, в котором дается резкая критика взглядов Н. Я. Марра на развитие морфологических типов языков, а также излагается отношение Н. С. Трубецкого к теориям Н. Я. Марра в целом. Поскольку содержание этого примечания не связано непосредственно с темой статьи, оно здесь опущено. — *Ред.*

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

М. Ш. ШИРАЛИЕВ

О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Проблема установления закономерностей в развитии литературных языков, а также вопрос об опорном диалекте неоднократно поднимались нашими лингвистами на страницах журнала «Вопросы языкознания». Эти вопросы ставились и разрешались не только на материале младописьменных языков, но и на материале старописьменных и древних языков. Любопытно, что закономерности развития таких древних языков, какими являются китайский и японский, а также персидский, имеют много общего с процессами развития более новых языков, например арабского в Египте или узбекского, и даже младописьменных языков, одним из которых является киргизский язык¹.

Задачей данной статьи является изложение некоторых наблюдений относительно развития азербайджанского национального литературного языка и его опорного диалекта.

1

Проблемы образования и развития азербайджанского языка, а также проблема установления диалектной основы азербайджанского литературного языка требуют всестороннего и детального изучения диалектов и говоров азербайджанского языка, ибо диалекты являются главным источником для выяснения вопроса о племенных языках, участвовавших в образовании азербайджанского языка, и сообщают надежные данные для установления диалектной основы как донационального, так и национального литературного языка.

Азербайджанский язык, будучи одним из старописьменных языков тюркской группы, оформился на территории Азербайджана на базе огузских и кыпчакских племенных языков с преобладанием огузских элементов. Сведения, сообщаемые в словаре Махмуда Кашгарского², об особенностях огузско-кыпчакского языка, а также материалы словаря Ибн-Муханны, относящегося к XIV в.³, указывают на генетическую связь

¹ См.: Н. И. Конрад, О литературном языке в Китае и Японии, ВЯ, 1954, № 3; А. Н. Болдырев, Из истории развития персидского литературного языка, ВЯ, 1955, № 5; А. Ф. Султанов, Проблема формирования национального языка в Египте, ВЯ, 1955, № 6; А. М. Щербак, К истории образования узбекского национального языка, ВЯ, 1954, № 6; В. В. Решетов, О диалектной основе узбекского литературного языка, ВЯ, 1955, № 1; Б. М. Юнусалиев, Проблема формирования общенародного киргизского языка, ВЯ, 1955, № 2.

² [Mahmud Kāshgari, Divānū lūgāt-it-türk tercümesi, çeviren B. Atalay. cilt I—III, Ankara, 1939—1941 (TDR)].

³ П. М. Мелиоранский, Араб филолог о турецком языке, СПб., 1900.

между этими древними языками и современным азербайджанским языком, который, испытав на себе также влияние арабского, персидского языков и будучи окружен кавказско-иберийскими языками, со временем выработал свои специфические особенности, отличающие его от других родственных тюркских языков.

Изучение диалектной основы азербайджанского национального литературного языка тесно связано с изучением истории азербайджанского письменного литературного языка донационального периода, которую по существующим письменным источникам мы можем проследить с конца XIII в. Но детальное ознакомление со словарным составом и грамматическим строем письменного литературного языка показывает, что этот язык не мог быть продуктом только одного XIII в., ибо и к тому времени он уже являлся языком относительно разработанным.

Тщательный анализ азербайджанского письменного литературного языка донационального периода показывает, что письменный литературный язык донационального периода до присоединения Азербайджана к России развивался в двух областях: 1) в Южном Азербайджане с центром в гор. Тавризе и 2) в Ширване с центром в гор. Шемаха. Поэтому в научных, исторических, религиозных и художественных произведениях, издаваемых в те времена в Южном Азербайджане, преобладали элементы диалектов Южного Азербайджана, а в Ширване элементы диалектов ширванской группы. После присоединения Северного Азербайджана к России питающей артерией письменного литературного языка донационального периода стали ширванские диалекты (распространенные на территории от Муганской степи до Дербента).

Основными особенностями ширванской группы диалектов, нашедшими отражение в письменном литературном языке донационального периода, были следующие: 1) лабиализация конечных слогов, например: *диллү* «красноречивый», *эндамлү* «полный», *қизлү* «тайный», *артуң* «лишний», *гамү* «все» и т. д.; 2) наличие звонких согласных в конце слов, например: *кэнд* «село», *гэнд* «сахар», *китаб* «книга», *агаң* «дерево» и т. д.; 3) сохранение звука *з* между двумя гласными, например: *бази* «сестра», *алазаг* «будет покупать» и т. д.; 4) употребление аффиксов с узкими губными гласными, например: *сөзүн* «твое слово», *ајаңун* «твоя нога». *мәңчү* «мое», *ајаңун* «дерево», *аламарчун* «твой плач», *чәкчун* «вытаскивайте», *чалун* «играйте», *алуб* «купив», *қәлчүб* «придя», *қәлчүр* «об идет». *јанур* «он горит», *қетсүн* «пусть идет», *алсун* «пусть покупает», *апардум* «я отнес», *алдун* «ты купил», *алдуз* «вы купили», *алдуг* «мы купили» и т. д.; 5) употребление в спрягаемой форме 2-го лица множественного числа аффиксов *-суз*, *-сүз*; например: *алырсуз* «вы покупаете», *қедирсүз* «вы идете», *чыхубсуз* «вы уже вышли», *верчүбсүз* «вы уже дали» и т. д.; 6) употребление деепричастной формы на *-убән*, *-чүбән*, например: *чыхубән* «выходя», *қөрчүбән* «увидев» и т. д. Все эти фонетические и грамматические явления донационального литературного языка в свое время были зафиксированы в грамматиках М. А. Казем-бека¹, М. А. Везирова² и других.

2

Для разрешения проблемы установления диалекта-основы и его роли в процессе формирования национального литературного языка необходимо также дать общую характеристику диалектной структуры азербайджанского языка.

¹ М. А. К а з е м - б е к, Грамматика турецко-татарского языка, Казань, 1839.

² М. А. В е з и р о в, Учебник татарско-адербейджанского наречия, СПб., 1861.

В азербайджанском языке различаются следующие 4 диалектные группы, каждая из которых распадается, в свою очередь, на ряд говоров: 1) восточная (кубинский, бакпнский, шемахинский, сальянский, ленкоранский диалекты); 2) западная (казахский, борчалинский, айрумский, генджинский и карабахский диалекты); 3) северная (нухинский, закатальский, варташенский и куткашенский диалекты и говоры); 4) южная (пахичеванский, ордубадский и диалекты иранского Азербайджана).

I. Восточная группа диалектов имеет следующие характерные особенности: 1) переход $a > e$ под влиянием звука j , например: *gejci* «ножницы», *gejsi* «абрикос», *gejmaç* «сливки», *gejiş* «ремень», *gejüd* «возвращайся», *gejnana* «свекровь», *gejnata* «свекор» и т. д.; 2) наличие губных гласных в аффиксах принадлежности 2-го лица и в спряжении глаголов 1-го лица множественного и 2-го лица единственного и множественного числа, имеющих основы с пегубными гласными; например: *aton* «твой отец», *atun* «твой конь», *atouç* «ваш отец», *atuuç* «ваш конь», *alduç* «мы получили», *aldun* «ты получил», *alduç* «вы получили», *alsoç* «если мы получим», *alsun* «если ты получишь», *alsoç* «если вы получите»; 3) переход $a > o^1$; например: *ponaç* «шапка», *bormaç* «палец», *boða* «дедушка», и т. д.; 4) отсутствие велярного звука η ; 5) наличие в конце слов звонких согласных; например: *çorab* «чулок», *alaç* «сорная трава», *çorəq* «хлеб», *kənd* «село, деревня», *jərnaç* «лист», *gənd* «сахар» и т. д.; 6) наличие в середине слов среднеязычного звонкого q ; например: *duçi* «рис», *ıqıd* «пголка», *duçmə* «пуговица» и т. д.; 7) в отличие от литературного языка, в этих диалектах встречается другой тип настоящего времени, характерный для кыпчакских типов тюркских языков; например: *jəzədu* (лит. *языр*) «он пишет», *qələduç* (лит. *qəlizir*) «он идет» и т. д.; 8) отличительной чертой вопросительных предложений этой группы диалектов является интонация; например: *aldun?* «ты получил?», *vəddədu?* «он дома?»; 9) специфические слова, характерные для этой группы диалектов; например: *tuç* «знамя», *xaç* «тихий», *şoçgumaç* «избегать игры», *xır* «огород», *bəzid* «быстро», *gənbar* «речной камень», *şətəl* «шерстяной чулок», *naç* «гармонь», *zəda* «род, клан, фамилия и т. д.», *qəjçi* «скупой», *ıyıymıç* «окно», *byçbyla* «мираж» (шемахинский диалект), *əbə* «ребенок», *əbəçi* «акушерка», *zəm*, *uruz* «род, племя, фамилия», *ılym* «мираж», *toçaj* «маленький лес», *tabırça* «кочевник», *kirniç* «завистник», *qudrı* «бездводный», *məşməşi* «абрикос» (говоры муганской группы).

II. Западная группа диалектов имеет следующие характерные особенности: 1) переход гласного переднего ряда $u > y$; например: *byldır* «в прошлом году», *byldırçın* «перепелка», *ıyış* «свет», *syçan* «мышь», *gyjmat* «цена», *gyrjat* «честь» и т. д.; 2) в отличие от литературного языка полное сохранение губной гармонии гласных, например: *gurmöjuf* «он не строил», *qərməjuf* «он не видел», *burböjüç* «он был здесь», *qərsəjüç* «если бы он видел» (казахский диалект) и т. д.; 3) полное сохранение велярного n , например: *maça* «мне», *saça* «тебе», *ataç* «твой отец», *qələndiz* «вы пришли» и т. д.; 4) оглушение согласных в конце слова, например: *kənt* «деревня», *napaç* «шапка», *almaç* «получить», *çorəx* «хлеб», *qələməç* «приходить» и т. д.; 5) ослабление в конце слова смычного звука b и переход его в f ; например: *kitaç* «книга», *boşgaç* «тарелка», *alyf* «получив», *qəlif* «придя»; 6) полная редукция согласных j и h в начале слова впереди узких гласных; например: *ça* «груз», *urd* «родила, очаг», *uxarı* «верх», *umaç* «клубок, моток», *umrus* «кулак», *murtða* «яйцо»,

¹ Эта особенность относится главным образом к бакпнскому диалекту.

өрмәх' «строить», *җрмәх'* «лаять», *ышгырмах* «икать», *җлжмәх'* «пугаться»; 7) переход *б > в* в интервокальной позиции: *бава* «дедушка», *гавав* «тыква», *чован* «пастух», *гавыр* «могила» и т. д.; 8) переход *з > ж* в интервокальной позиции, например: *бажы* «сестра», *бажа* «труба», *гожа* «старый», *алажах* «он получит» и т. д.; 9) слова, оканчивающиеся на гласные звуки, в винительном падеже принимают аффиксы *йы, ју, ју, ју, ју*; например: *гапыјы* «дверь», *кишију* «мужчину», *гузују* «овечку», *сүрүјү* «стадо». Эта особенность также характерна для современного турецкого языка; 10) в отличие от литературного языка в казахском, тавузском и борчалинском говорах употребляются особые трехвариантные аффиксы настоящего времени: *ёр, ёр, ёр*: *алёр* «он покупает», *гурёр* «он строит», *қөрёр* «он видит»; 11) как на специфические слова, характерные для этой группы диалектов, можно указать на следующие: *аралы* «олень», *қап елемәх* «беседовать», *тәјлға, ләвәдә* «прозвище», *јазы пишију* «дикая кошка», *шенних'* «деревня», *мурул* «стог», *малаза* «кадык», *зүлјә* «открытый водоем», *тој* «барабан», *ғалби* «высокий», *сбруг* «простыня», *горава* «варенье, приготовленное на виноградном соке», *бадачон* «лестница», *туш* «сон» и т. д.

III. Северная группа диалектов имеет следующие характерные черты:

1) в этой группе диалектов наблюдается постепенное исчезновение веларного звука *ң* и появление вместо него носовых гласных; например: *элыә* «твоей руке», *элыы* «твоей руки», *балаәз* «ваше дитя», *дидыыз* «вы сказали»; 2) во многих случаях наблюдается нарушение сингармонизма, т. е. к словам, оканчивающимся на передние гласные, прибавляются аффиксы с задними гласными, например: *қәлмах* «приходить», *қәлдых* «пришли», *құнных* «ежедневный», *јујах* «давайте кушать» и т. д.; 3) в закатальских и кахских говорах часто в заимствованных словах встречается звук *п* вместо *ф*, например: *пәрә* «курица», *гыпыл* «замок», *пәһлә* «рабочий», *телпун* «телефон», *пундуг* «орех», *пәрәр* «фонарь» и т. д. Это явление также присуще туркменскому и многим другим тюркским языкам; 4) употребление специфических указательных, а также личных местоимений (3-го лица), например: *һабу* // *һобу* «это», *һәлә* «такой», *һу* // *һо* «он», *һоннар* «они», *һунда* «у него», и т. д.; 5) наряду с личным местоимением 1-го и 2-го лица единственного числа дательного падежа *мә* «мне», *сә* «тебе» в говорах Закатала и Кахи употребляется форма *мала* «мне», *саһа* «тебе». Как известно, такая форма присуща кумыкскому и ногойскому языкам; 6) в 3-м лице перфекта (прошедшее время), наряду с аффиксами *-ыф, -иф*, употребляются *-ытды, -итди*; например: *алыф* // *алытди* «он купил», *қәлиф* // *қәлитди* «он пришел» и т. д.; 7) встречается форма настоящего времени с вспомогательным глаголом *дурур* (особенно в говорах Закатала и Кахи); например: *қәлә дурур* «он идет», *баха дурур* «он смотрит»; 8) разделительный союз *ја* в этих группах диалектов употребляется и в отрицательном значении; например: *ја азыр, ја охијир* «не пишет и не читает»; 9) своеобразная лексика отделяет эти группы диалектов от остальных диалектов азербайджанского языка; например: *табун* «род, клан, племя», *шагга* «род, фамилия», *шәһрә* «улица», *гарагундәј* «кукуруза», *гуштугур* «борец», *јассар* «лентяй», *бәбәрчин* «ласточка», *паланкеш* «дуршлак», *хыдыл* «внук», *тосар* «котел для перетопки масла», *атагар* «лес», *јүјүрмах* «лаять» и т. д.

IV. Южная группа диалектов имеет следующие характерные черты:

1) звук *э* более открытый; например: *эв* «дом», *бәнә?* «а что?» и т. д.; 2) переход *е > э*; например: *пәнир* «сыр», *һәјлә* «так», *дәјлих'* «не мы» и т. д.; 3) появление носовых гласных вместо веларного *ң* в аффиксах принадлежности 2-го лица и аффиксах сказуемости 2-го лица множественного числа: *элю* «твою руку», *элуә* «твоей руке», *элюз* «ваши руки», *өзүд*

«тебе», *əzū* «тебя самого», *qəldū* «вы пришли», *əvdəjdūz* «вы были дома» и т. д.; 4) в ордубадских и табризских говорах часто аффиксы не подчиняются сингармонизму и выступают только с гласными заднего ряда; например: *qelmax* «прийти», *jədyx* «покушали», *ipex'chilyx* «шелководство», *əvdəjəyx* «мы дома», *qediroyx* «мы идем», *qəldyxda* «придя»; 5) в силу палатализации перед мягкими гласными *к*, *қ* переходят в *ч*, *з*; например: *чуңə* «улица», *чичих'* «маленький», *чəчич* «молоток», *чəсир* «режет», *чəнд* «село», *чечи* «козел», *зедир* «идет», *зулмах* «смеяться», *зулла* «пуля», *зүмүш* «серебро» и т. д.; 6) в силу аспирации в начале слов *х* переходит в *һ*; например: *һоруз* «петух», *һөрəх'* «обед», *һəбэр* «известие», *һырда* «маленький», *һурма* «финик», *һал* «родинка» и т. д.; 7) в некоторых ордубадских говорах начальному *ч* иногда соответствует звук *ц*; например: *цај* «чай», *цəх* «много», *цəп* «щепка», *цырах* «лампа», *цыгыр* «выходит», *цəмənних* «луг», *цимирих* «купаемся» и т. д. Как известно, такое явление характерно для диалектов татарского языка¹; 8) наравне с аффиксами настоящего времени *-ыр*, *-ир*, *-ур*, *-үр* встречаются и другие формы аффиксов настоящего времени: *-иј*, *-ио*, *-ири*; *qəlij* «идет», *qediо* «уходит», *seвири* «любит»; 9) из специфических слов, присущих этим диалектам, можно указать на следующие: *ajəax* «шут», *ajəma* «прозвище», *күф-рəн* «горб верблюда», *зир* «блюдец», *geзиллəмəх'* «обмануть», *ojəma* «платье», *һим* «фундамент», *һыргыз* «скупой», *јəтынкəш* «глубокая тарелка», *худры* «напрасно», *голај* «легкий» и т. д.

3

Образование азербайджанского национального языка тесно связано с консолидацией азербайджанцев в нацию. Поэтому, говоря о путях образования азербайджанского национального языка, необходимо хотя бы вкратце остановиться и на процессе образования азербайджанской нации, начавшемся во второй половине XIX в.

Еще задолго до второй половины XIX в. среди населения Азербайджана существовала общность языка, территории и психического склада, что явилось результатом многовекового исторического развития азербайджанского народа. Однако процесс консолидации азербайджанцев в нацию тормозился отсутствием в Азербайджане общности экономической жизни, что объяснялось экономической и политической раздробленностью страны, господством натуральной формы хозяйства.

Присоединение Северного Азербайджана к России положило конец его феодальной раздробленности, привело к объединению ранее разобщенных политически и экономически областей. Несмотря на наличие в Азербайджане отсталых общественных отношений, укрепление его экономических связей с Россией и вовлечение в систему общероссийского и мирового рынков оказали огромное влияние на дальнейшее хозяйственно-политическое развитие Азербайджана. Создание мощной капиталистической нефтяной промышленности в Баку, возникновение капиталистического уклада в ряде других отраслей промышленности и сельского хозяйства Азербайджана, проведение железной дороги, увеличение общего товарооборота, развитие товарно-денежных отношений, ликвидация господствовавшей веками замкнутости хозяйства — все способствовало установлению экономической связи и разделению труда между различными областями

¹ См. Р. Ф. Шакирова, Фонетические особенности говора татар Краснооктябрьского района Горьковской области. (Миларский диалект), «Материалы по диалектологии [Казанск. филиала Ин-та языка, лит-ры и истории АН СССР]», Казань, 1955, стр. 115.

Азербайджана. Национальным центром в связи с этим оказался город Баку, который к концу XIX в. вырос в крупный экономический и культурный центр страны.

Таким образом, с развитием капитализма в Азербайджане во второй половине XIX в. происходит консолидация азербайджанцев в нацию, что в свою очередь способствует превращению языка народности в национальный язык. Однако нормы национального языка в это время еще не успели выработаться в полной мере.

Особенностью норм национального языка является то, что они должны быть понятны и доступны всем членам нации. Иначе он (национальный язык) не может выполнять функцию общенационального языка. Как известно, азербайджанский письменный литературный язык донационального периода, являвшийся языком научных и художественных произведений, а также официальным канцелярским, большей частью был насыщен арабизмами, фарсизмами и резко отличался от народно-разговорного языка. Чтобы письменный литературный язык донационального периода мог стать общенациональным, необходимо было очистить его от непонятных тяжеловесных и громоздких арабских и персидских конструкций и оборотов и широко внедрить нормы разговорного языка. Основным источником и базой для широкого внедрения норм разговорного языка при становлении азербайджанского национального литературного языка служит наиболее влиятельный ведущий диалект — шемахинско-бакинский.

Детальное ознакомление с экономической, политической и культурной историей, а также с развитием капитализма в Азербайджане, с одной стороны, и изучение истории письменного литературного языка, а также исследование диалектов азербайджанского языка, с другой стороны, явились материалом, объясняющим и обосновывающим принятие шемахинско-бакинского диалекта как опорного диалекта национального языка.

Ведущая роль шемахинско-бакинского диалекта не исчерпывается только образованием национального языка. Как было указано выше, ширванские диалекты, представителем которых является шемахинско-бакинский диалект, имели свое отражение и в донациональном литературном языке.

При использовании материалов основного диалекта национальный язык делает известный отбор. Он отбрасывает узко диалектные черты. По этой причине некоторые особенности шемахинско-бакинского диалекта, как например, «окание», нарушение губной гармонии гласных и т. д., не отразилось в национальном литературном языке. Таким образом, азербайджанский национальный литературный язык характеризовался следующими элементами шемахинско-бакинского диалекта, легшего в его основу: 1) употреблением *э* в начале слов; например: *эн* «ширина», *эртэ* «рано», *эйнэк* «очки», *эркэк* «самец» и т. д.; 2) сохранением в начале слов *h*; например: *хин* «курьтник», *һөрмэк* «строить», *һөрүк* «коса», *һөрүмчэк* «паук», *һүркмэк* «пугаться», *һычгырыг* «икота» и т. д.; 3) употреблением *и* взамен *ы* в начале слов; например: *ишыг* «свет», *илдырым* «молния», *илыг* «теплый», *илхы* «табун» и т. д.; 4) употреблением нисходящего дифтонга *өв, ов*; например: *өвлэд* «дитя», *көсөв* «головешка», *ов* «охота», *овуг* «крошки», *овуғ* «ладонь», *бузов* «теленка»; 5) нарушением нёбной гармонии в основе слов; например: *армуд* «груша», *арзу* «мечта», *мазут* «мазут», *маһуд* «сукно», *намус* «честь», *сабун* «мыло» и т. д.; 6) употреблением в конце слов звонких согласных; например: *кэнд* «село», *гурд* «волк», *дөрд* «четыре», *булуд* «облако», *полад* «сталь», *сүд* «молоко», *азағ* «дерево», *чэкиғ* «молоток», *гылынғ* «меч», *сүзкәғ* «дуршлак», *кәрпиғ* «кирпич», *алмаз* «алмаз», *палаз* «ковёр», *туғбанғ* «ружье», *пәләнғ* «тигр».

рэнк «краска», *алыб* «купив», *хараб* «плохой» и т. д.; 7) сохранением в дательном падеже основ личных местоимений 1-го и 2-го лица; например: *мэнэ, сэнэ*; 8) употреблением в настоящем времени аффиксов *-ыр, -ур, -ур, -р*, в будущем категорическом — *-азаг, -эзэж*; например: *алыр* «он покупает», *қэлир* «он идет», *бахазаг* «он посмотрит», *қөрәзэж* «он увидит».

Другие азербайджанские диалекты также не были безразличными к ходу дальнейшего развития национального языка. Концентрируясь вокруг шемахинско-бакинского диалекта, каждый диалект, в свою очередь, вносил определенную лепту и обогащал развивающийся национальный язык. Так, в отношении нёбной и губной гармонии гласных национальный язык характеризуется общими признаками с западной группой диалектов; а в отношении двух вариантных аффиксов желательной и условной формы — с южной группой диалектов.

Следует отметить, что разные пласты, восходящие к разным диалектам, укреплялись в составе норм национального литературного языка не в одно время. Гармония гласных и двухвариантные аффиксы желательной и условной формы были полностью закреплены как нормы азербайджанского национального литературного языка после принятия латинского алфавита.

Однако не следует думать, что современный азербайджанский литературный язык отражает все стороны шемахинско-бакинского диалекта. Во-первых, азербайджанский литературный язык сложился не во второй половине XIX в., а имел многовековую историю и свои традиции; во-вторых, как было сказано выше, не все элементы опорного диалекта были использованы азербайджанским национальным литературным языком (необходимо отметить, что литературный язык никогда не может полностью совпадать с каким-либо диалектом); в-третьих, после образования национального литературного языка, последний непрерывно обогащает свой словарный состав неологизмами, очищается от архаизмов, улучшает и упорядочивает свои грамматические правила, развиваясь в единый литературный язык, а его опорный диалект, как и другие диалекты, постепенно нивелируется; в-четвертых, в связи с быстрым развитием в Баку капитализма, сюда из разных районов Азербайджана стекались многочисленные носители различных диалектов, что привело к большой диалектальной пестроте в Баку, а это в свою очередь нашло отражение в выходившей в это время в Баку периодике. Поэтому в современном азербайджанском литературном языке, наряду с особенностями шемахинско-бакинского диалекта, представлены и некоторые элементы других диалектов азербайджанского языка.

В деле дальнейшего развития азербайджанского национального литературного языка, в борьбе за демократизацию литературного языка, за ликвидацию разрыва между письменно-литературным и народно-разговорным языками большую роль сыграли передовые общественные деятели, писатели М. Ф. Ахундов, Г. Зардаби и Д. Мемедкулизаде, каждый из которых в своей области дал образцы внедрения в литературный язык общенародного разговорного языка, очищения литературного языка от чуждой и непонятной народным массам арабской и персидской лексики.

Подлинный расцвет азербайджанского национального литературного языка связан с установлением Советской власти в Азербайджане. Только благодаря этому историческому факту азербайджанский национальный литературный язык впервые становится государственным языком республики, открывая перед азербайджанским народом безграничные возможности для свободного развития его национальной культуры на родном языке.

Н. И. ДУКЕЛЬСКИЙ

МЕТОД ПЕРЕСАДКИ ЗВУКОВ РЕЧИ В ФОНЕТИКЕ

Метод пересадки звуков речи в фонетике основан на использовании звукозаписи на киноплёнке. Вопросу применения звукозаписи на киноплёнке (фонограмм) для экспериментально-фонетических исследований посвящено несколько статей. В 1932 г. были опубликованы статья В. Ленка, основная часть которой посвящена способу получения звукозаписи на кинозаписывающей аппаратуре¹, и статья Е. В. Скрипчура, в которой рассматриваются некоторые физические данные гласных, приведенных Ленком². В. Ленк и Е. В. Скрипчур видели в фонограммах один из наиболее точных способов графической записи.

Большое значение трансверсальным фонограммам придавал А. Л. Трахтеров, который исходил из следующих соображений: во-первых, их можно неоднократно прослушать и, во-вторых, они позволяют произвести «синхронную регистрацию и воспроизведение речевой кривой и лица говорящего»³.

В 1955 г. сотрудниками Лаборатории экспериментальной фонетики Института языкознания Академии наук Румынской Народной Республики под руководством акад. А. Росетти были проведены экспериментальные исследования румынского дифтонга «ea»⁴ на материале фонограмм⁵. Было установлено соотношение длительности элементов, входящих в состав дифтонга «ea», по сравнению с гласными «е» и «а». В результате этого экспериментально-фонетического исследования подтвердились полученные ранее данные на материале электрографических записей.

*

Предлагаемый в настоящей статье метод состоит в перемещении с одного места на другое (или удалении) звуко сочетаний, отдельных звуков или частей звука. Для этого удобно использовать звукозапись на киноплёнке, так как она дает возможность, во-первых, прослушивать записанный материал и исследовать его визуально и, во-вторых, производить пересадку звуков, т. е. их перемещение с одного места на другое⁶. Примене-

¹ W. Lenk, Der Sprechfilm im Dienste der Experimentalphonetik, «Zeitschr. für Experimental-Phonetik», Bd. I, Hf. 3 und 4, Leipzig, 1932, стр. 94—100.

² E. W. Scripture, Bemerkungen zu den Filmkurven von Lenk, там же, стр. 101—109.

³ А. Л. Трахтеров, О применении трансверсальных фонограмм для экспериментально-фонетических исследований, «Уч. зап. 1-го МПН ИЯ», т. I, М., 1940, стр. 172; см. также В. А. Артемов, Экспериментальная фонетика, М., 1956, стр. 190.

⁴ Для обозначения фонетической транскрипции используем квадратные скобки, а для фонематической — кавычки.

⁵ См. «Noi cercetări experimentale asupra diftongului romînesc „ea“», «Studii și cercetări lingvistice», t. VI, № 3—4, 1955.

⁶ Необходимо отметить, что передаваемый высококачественной фотографической записью на киноплёнке диапазон частот (от 50—60 до 10 тыс. гц) шире диапазона час-

ние метода пересадки звуков речи позволит решить экспериментальным путем ряд спорных фонематических вопросов и поставить некоторые фонетические опыты.

При нижеследующем описании метода пересадки звуков на материале фонограмм используются данные проведенных в марте — июле 1956 г. опытов в области фонетики современного румынского литературного языка. В опытах принимали участие два испытуемых, говорящих на румынском литературном языке. Было записано 56 отдельных слов, четыре раза подряд каждое слово. Таким образом, в нашем распоряжении было всего 448 словозаписей. Запись производилась на магнитофонную ленту, а затем с магнитофонной ленты — на 35-мм кинолентку. Скорость движения киноленты при записи 456 мм/сек. (24 кадра).

Методика проведения звукопересадки

Методика проведения звукопересадки охватывает несколько вопросов: 1) толкование фонограмм, 2) техническое оформление звукопересадки и некоторые вопросы, связанные с нею, 3) установление результатов звукопересадки. Детального пояснения требуют первые два вопроса.

1. Толкование фонограмм. Фонограммы — это кривые, отражающие изменения звукового давления. Внешний контур этих кривых представляет собой периодически повторяющиеся зубчики, мельчайшие линии или выпуклости, размеры и форма которых зависят от характера звука.

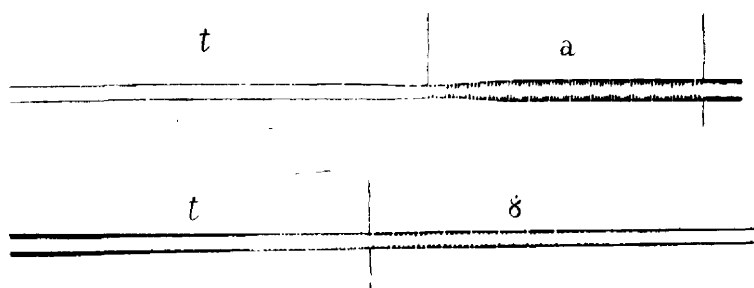


Рис. 1. Фонограмма румынского слова «tat8» ('tată „отец“)

Известно, какое большое значение в экспериментальной фонетике имеет толкование кимографических и осциллографических кривых. Толкование фонограмм, т. е. чтение звуков и установление их границ, является одним из необходимых условий правильного проведения звукопересадки, так как неточное отделение одного звука от другого ведет к нарушению объективной картины опыта. Установленные визуальным путем границы между звуками подвергаются проверке на расшифровальной машине, позволяющей прослушивать не только отдельные звуки, но и отдельные части звука.

С о г л а с н ы е. Звонкие смычные согласные в абсолютном начале слова представляют собой мельчайшие зубчики или незначительные выпуклости прерывистого строения. Начало этих согласных определяется

тот тембра любого индивидуального голоса (80—8 тыс. гц), а искажения при частоте до 7—8 тыс. гц крайне незначительны (см. В. А. Бургов, Основы записи и воспроизведения звука, М., 1954, стр. 31. В конце книги дана обширная библиография по звукозаписи). Что касается временной характеристики, то ее можно считать превосходной, так как колебания скорости движения киноленты не превышают 0,02%. Срезание амплитуд, когда они выходят за пределы звуковой дорожки, легко предотвратить и устранить.

просто началом появления зубчиков или выпуклостей на звуковой дорожке (см. рис. 2).

Смычка глухого смычного в абсолютном начале слова ничем не отличается от предшествующей звуковой дорожки, так как она представляет собой в акустическом отношении ноль. Определение начала глухого смычного в данном положении невозможно (см. рис. 3).

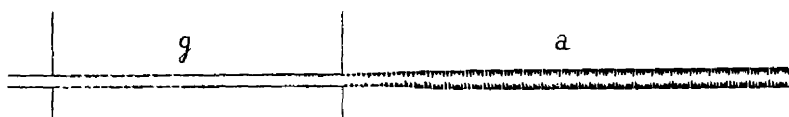


Рис. 2. Фонограмма слога «га» румынского слова «gară» (gară «вокзал»)

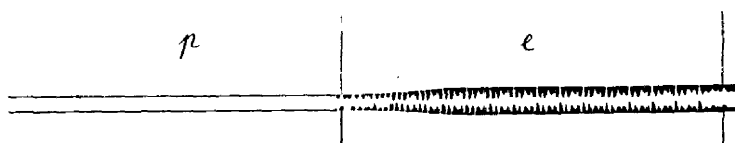


Рис. 3. Фонограмма слога «ре» румынского слова «petru» (Petru «Петр»)

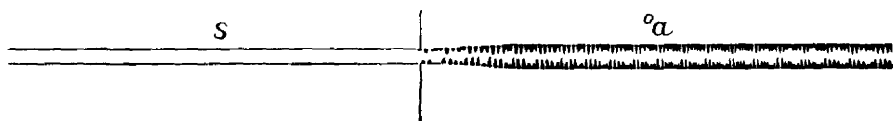


Рис. 4. Фонограмма слога «s°a» румынского слова «s°age» (soare «солнце»)

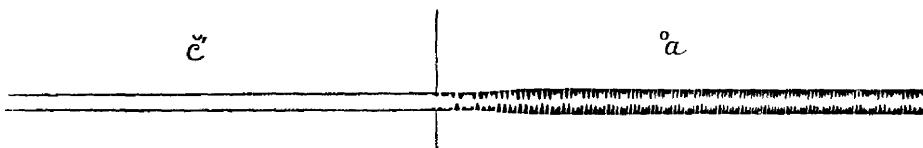


Рис. 5. Фонограмма слога «č°a» румынского слова «č°ağ» (cioağ «воров»)

Кривые звонких щелевых в абсолютном начале слова представляют собой периодически повторяющиеся «группы» из двух-трех, а иногда четырех зубчиков, среди которых один обычно выделяется по своим размерам. Кривые глухих щелевых состоят из мельчайших тоненьких параллельных линий, падающих перпендикулярно к звуковой дорожке. Начало этих согласных определяется началом появившихся изменений на звуковой дорожке (см. рис. 4).

Кривая звонкой или глухой аффрикаты в абсолютном начале слова отличается от кривой соответствующего смычного тем, что начальная фаза кривой — смычка, а остальная совпадает с кривой соответствующего щелевого согласного. Определение начала звонкой аффрикаты в абсолютном начале слова не отличается от определения начала соответствующего смычного в данном положении. Определение начала глухой аффрикаты в абсолютном начале слова невозможно по тем же причинам, что и определение начала соответствующего глухого смычного в данном положении (см. рис. 5).

Кривые шумных согласных (за исключением звонких щелевых, о которых речь идет ниже) в положении между гласными и в абсолютном исходе слова отличаются от кривых соответствующих согласных в абсолютном начале слова. Они представляют собой черную постепенно угасающую линию. На рис. 6, 7 и 8 представлены кривые согласных [g], [k] и [t] в абсолютном начале слова и в положении между гласными.

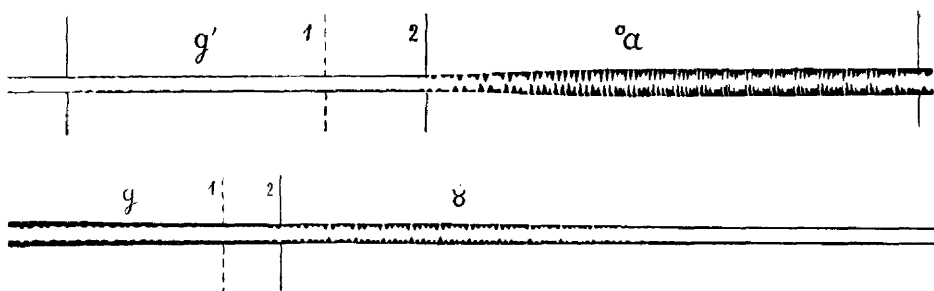


Рис. 6. Фонограмма румынского слова «g'°agg» (*ghioagă* «палица»)

[Прерывистая линия (1) обозначает конец смычки согласного, непрерывистая (2) — границу между гласным и согласным. Промежуток кривой, заключенный между этими двумя линиями, соответствует взрыву и придыхательности согласного. Выделение взрыва и придыхательности на кривых фонограммы будет и впредь так же обозначено].

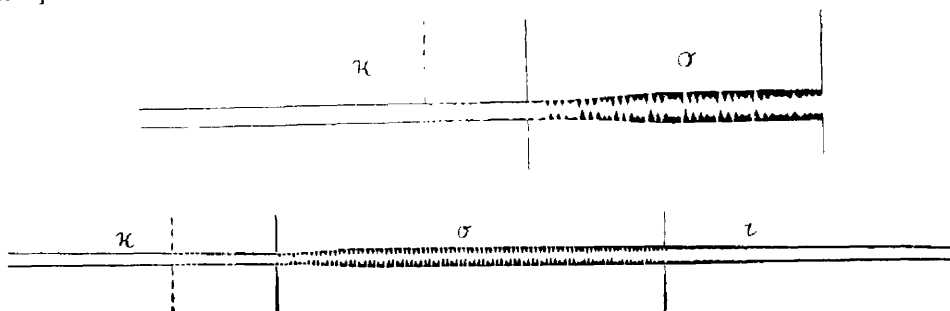


Рис. 7. Фонограмма румынского слова «ко'кор» (*cocor* «журавль»)

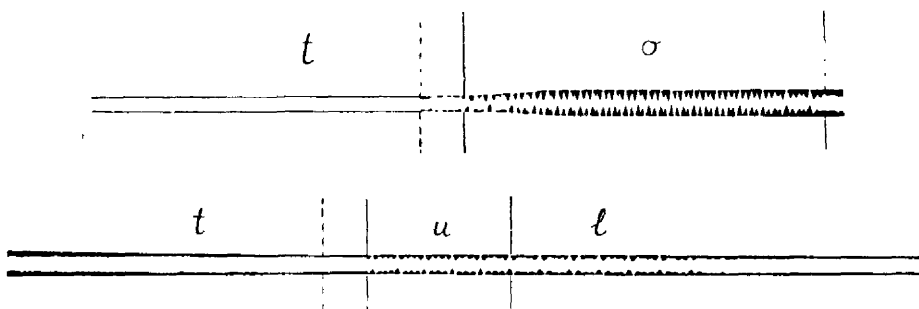


Рис. 8. Фонограмма румынского слова «'totul» (*total* «все»)

Кривые звонких щелевых в положении между двумя гласными и в абсолютном исходе слова ничем не отличаются от кривых соответствующих согласных в абсолютном начале слова. На рис. 9 дана кривая звонкого щелевого [z] в абсолютном конце слова.

Фонограммы отражают придыхательность шумных согласных. Так, например, придыхательность глухих смычных в абсолютном начале слова

представляет собой прерывистую линию с небольшими утолщениями. Линия придыхательности находится между непрерывистой линией, соответствующей смычке согласного, и периодически повторяющимися «группами» зубчиков гласного. У звонких смычных в абсолютном начале слова придыхательность представляет собой мельчайшие тоненькие параллельные линии, падающие перпендикулярно к несколько утолщенной непрерывистой линии. Придыхательность смычных согласных в положении между гласными можно установить по измененному контуру черных кривых согласного (см. рис. 6, 7, 8).

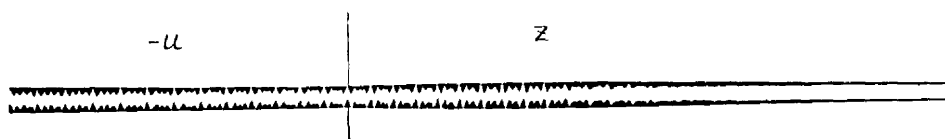


Рис. 9. Фонограмма звуко сочетания «-uz» румынского слова «a'uz» (aiz «слух»)

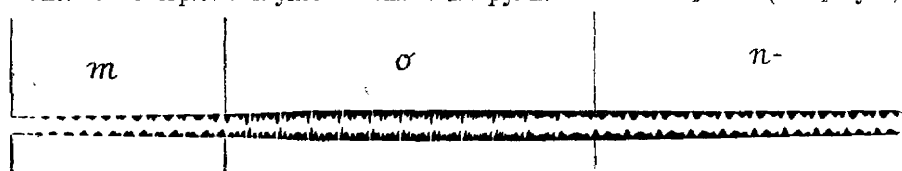


Рис. 10. Фонограмма звуко сочетания «top-» румынского слова «mo'naħ» (monaħ «монах»)

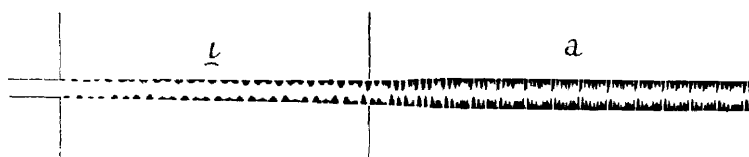


Рис. 11. Фонограмма слога «īa-» румынского слова «īarǎ» (iarǎ «кобыла»)



Рис. 12. Фонограмма звуко сочетания «ar-» румынского слова «'ara» (ara «вода»)

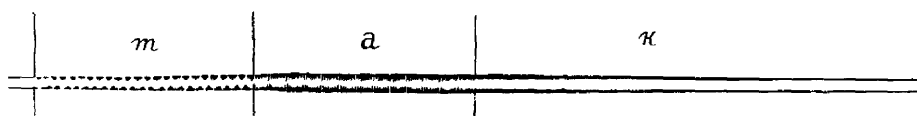


Рис. 13. Фонограмма румынского слова «так» (mac «мак»)

Кривые сонантов и полугласных представляют собой периодически повторяющиеся «группы», состоящие из нескольких (двух-четырех) зубчиков. Начало этих звуков в абсолютном начале слова определяется появлением зубчиков на звуковой дорожке. Кривые сонантов и полугласных в положении между двумя гласными и в абсолютном исходе слова мало чем отличаются от кривых соответствующих звуков в абсолютном начале слова (см. рис. 10 и 11, а также 13, 14, 15 и 16).

Г л а с н ы е. Фонограммы отражают частотную характеристику гласных. Основной период выделяется среди составляющих, образуя вместе с ними периодически повторяющуюся «группу» зубчиков. Затухание гласного происходит медленно. Ударяемые гласные можно легко отличить друг от друга по форме кривой невооруженным глазом; неударяемые гласные менее выразительны, но их чтение не затруднено.

Начало гласного в абсолютном начале слова определяется очень просто началом появления голосовых колебаний в виде мелких зубчиков (см. рис. 12).

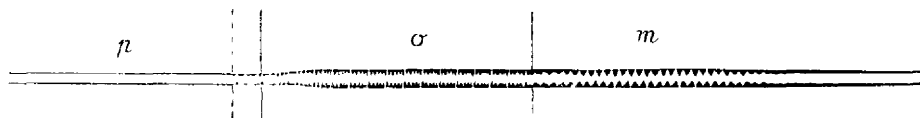


Рис. 14. Фонограмма румынского слова «rom» (rom «дерево»)

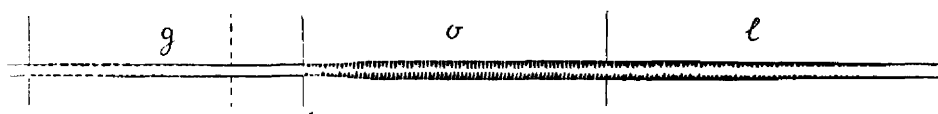


Рис. 15. Фонограмма румынского слова «gol» (gol «голый»)



Рис. 16. Фонограмма румынского слова «car» (car «телега»)

Труднее определить начало гласного после смычных согласных, так как взрыв смычного может совпасть с началом гласного. Установление границ между гласным и предшествующим непридыхательным или неаффрицированным смычным требует тщательной проверки на расшифровальной машине. Отделение гласного от предшествующего придыхательного или аффрицированного смычного, а также от щелевого или аффрикаты затруднений не представляет. Отделение гласного от предшествующего согласного проиллюстрировано на различных примерах (см. рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.).

Конец гласного перед следующим согласным и в абсолютном исходе определяется довольно просто по контуру кривой затухания гласного (см. рис. 1, 6, 7, 8, 9 и др.).

Отделение гласного от предшествующего сонанта или полугласного, а также определение конца гласного перед сонантом особых затруднений не представляет (см. рис. 10, 11, 13, 14, 15, 16).

Таким образом, фонограммы позволяют на основании визуального анализа кривых и прослушивания на расшифровальной машине установить точные границы звуков.

2. Техническое оформление звукопересадки. При оформлении пересадки звуков следует иметь в виду два связанных между собой момента: во-первых, необходимо стремиться к точному сохранению границ звука и, во-вторых, ни в коем случае недопустимо нарушение длины шага перфорации, занимающего одно перфорационное отверстие и промежуток между двумя перфорациями (см. рис. 17).

Точное соблюдение длины шага перфорации обусловлено тем, что при использовании киноаппаратуры для перезаписи с киноленты на магнито-

фонную ленту или для прослушивания должно быть полное соответствие между шагом зубчатого барабана, движущего пленку, и шагом перфорации киноплёнки¹. Во избежание нарушения длины перфорационного шага разрез фонограммы при отделении звука удобнее всего производить в середине промежутка между двумя перфорационными отверстиями или же в середине перфорационного отверстия (см. рис. 17, п. 3, а и б). Расстояние между этими двумя наиболее удобными видами разреза $1/2$ перфорационного шага или $1/192$ сек. Если пользоваться только этими двумя способами разреза, степень погрешности будет варьировать от нуля до $1/384$ сек. в зависимости от того, совпадает ли граница между звуками с одним из двух разрезов или же она проходит на полпути между ними.

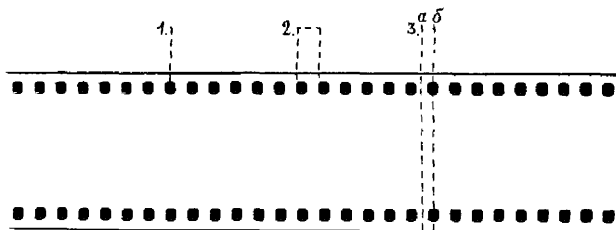


Рис. 17. Отрезок киноплёнки: 1 — перфорационное отверстие, 2 — шаг перфорации, 3 — разрез фонограммы в промежутке между двумя перфорационными отверстиями (а) и в середине перфорации (б)

Каждое слово или словосочетание, предназначенное для звукопересадки, должно быть записано несколько раз с тем, чтобы в нашем распоряжении были возможности для подбора подходящих для пересадки звукозаписей².

3. Установление результатов звукопересадки. Окончательные результаты звукопересадки устанавливаются на основании прослушивания звукозаписи носителями исследуемого языка. Для прослушивания звукозаписи производится перезапись с киноленты на магнитофонную ленту.

Использование метода звукопересадки при решении некоторых фонематических и фонетических вопросов

В лингвистической литературе известны многочисленные случаи, когда мнения исследователей существенно расходятся при определении состава фонем. Так, например, обстоит дело в некоторых языках с лабиализованными и палатализованными согласными перед гласными или же с дифтонгоидами (дифтонгами) после согласных. При этом лабиализованные согласные обычно сочетаются с губными гласными или дифтонгоидами (дифтонгами), первый элемент которых — губной гласный; палатализованные согласные встречаются перед гласными переднего ряда «i» и «е» или перед дифтонгоидами (дифтонгами), первым элементом которых является гласный переднего ряда [i] или [e]. Сложность вопроса состоит в том,

¹ Длина шага перфорации 4,75 мм; скорость его прохождения $1/96$ сек.

² При склейке частей киноленты лучше всего применять подклейку, т.е. наклеивать обе части на узкую полоску прозрачной киноленты. Для подклейки мы используем бесцветный и быстро сохнувший клей, которым пользуются на наших киностудиях. Разрезы, склейки и загрязнения кривой фонограммы, имеющие место при звукопересадке, являются источником искажений в виде шумов. Для борьбы с шумами применяется обесшумливание, осуществляемое специальной аппаратурой, а также противофазные фонограммы двойной ширины (см. подробное освещение вопроса в специальной литературе).

являются ли лабиализованные и палатализованные согласные позиционными вариантами соответствующих нелабиализованных и непалатализованных согласных, а гласные и дифтонгоиды (дифтонги) разными фонемами; или, наоборот, лабиализованные и нелабиализованные, а также палатализованные и непалатализованные относятся к различным фонематическим группам, а дифтонгоиды (дифтонги) являются позиционными вариантами соответствующих гласных. Наконец, может быть и так, что дело и в согласном и в гласном. В таких случаях перед исследователем встает вопрос о том, кому принадлежит решающая роль: согласному, гласному или обоим в одинаковой мере. Затруднения такого рода встречаются при установлении фонематического состава корейского, болгарского, румынского¹ и других языков.

Наряду с упомянутыми вопросами имеется ряд других нерешенных фонематических, а также фонетических вопросов.

В качестве примера приложения метода звукопересадки при решении ряда фонематических и фонетических вопросов используются данные экспериментов с румынскими гласными и согласными.

1. Лабиализованные согласные (в фонетическом смысле) встречаются перед губными гласными и дифтонгоидами (дифтонгами), начинающимися с губного элемента. Нелабиализованные согласные встречаются перед негубными гласными и дифтонгоидами (дифтонгами), начинающимися с негубного элемента. Например:

1) [ʔatʂ] *tață* „отец“

2) [ʔ^oatʂ] *toată* „вся“

3) [ʔ^ootʂ] *totul* „все“

1) [ʔkatʂ] *catul* „этаж“

2) [ʔ^katʂ] *coate* „локти“

3) [ʔ^kotʂ] *cotul* „локоть“ и т. д.

Необходимо решить вопрос, относятся ли лабиализованные [ʔ, k^o, ...] и нелабиализованные [t, k, ...] к разным фонематическим группам, а дифтонгоид [ʔa] является оттенком гласного «а»; или же, наоборот, лабиализованные и соответствующие нелабиализованные согласные являются оттенками одной фонемы, а недифтонгоидные и дифтонгоидные гласные (дифтонги) — разными фонемами. Наконец, возможно, что это фонематически связано и с согласными и с гласными. Для решения данного вопроса производим следующие взаимные звукопересадки: [t₁] и [t₂], [t₁] и [t₃], [k₁] и [k₂], [k₁] и [k₃] и т. д. Аналогичным образом поступаем с [a], [ʔa], [o] на материале других фонограмм этих же слов.

Носители румынского литературного языка слушали магнитофонную запись и установили, что в результате звукопересадки согласных фонетический облик слова не был нарушен, а их фонематический состав остался без изменения. Наоборот, при взаимной звукопересадке [a] и [ʔa].

¹ В румынской лингвистической литературе до сих пор не решен вопрос о составе согласных фонем и связанный с ним вопрос о составе гласных фонем. Так, акад. Э. Петрович утверждает, что в румынском литературном языке имеются нейтральные, палатализованные, лабиовеляризованные и лабиопалатализованные согласные фонемы (всего 72 фонемы), встречающиеся как в положении перед гласными, так и в конце слова, а дифтонгоидные гласные являются позиционными вариантами соответствующих недифтонгоидных гласных (см., например, E. Petrovič, Sistemul fonematic al limbii române, «Studii și cercetări lingvistice», t. VII, № 1—2, 1956, стр. 15). Совершенно другого мнения придерживается акад. А. Росетти. Он считает, что в румынском литературном языке палатализованные согласные противопоставляются соответствующим непалатализованным согласным только в конце слова, а палатализованные согласные перед гласными являются позиционными вариантами соответствующих непалатализованных фонем. Дифтонги и недифтонгоидные гласные он относит к различным фонематическим группам (см., например, A. Rosetti, Despre sistemul fonologic al limbii române, «Studii și cercetări lingvistice», t. VII, № 1—2, 1956, стр. 23).

[a] и [o] фонематический состав слов изменяется соответствующим образом.

Необходимо отметить, что при звукопересадках очень показательными будут образования искусственных звуко сочетаний (бессмысленных слов). Так, проверкой установленного может послужить искусственное образование из сочетаний $t_1 + ara$ и $t_2 + ara$. В обоих случаях мы получили одно и то же искусственное слово *tara*.

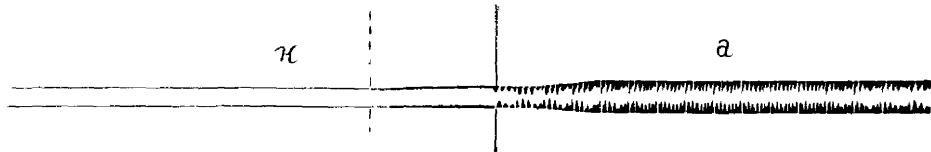


Рис. 18. Фонограмма слога «ка-» румынского слова 'katul' (catul «этаж»)

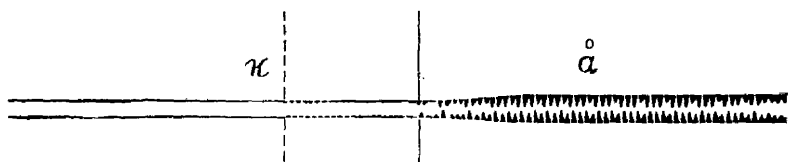


Рис. 19. Фонограмма слога «к°а-» румынского слова «k°ate» (coate «люктя»)

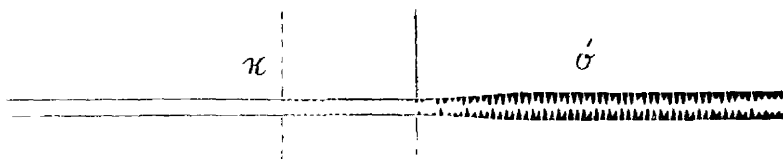


Рис. 20. Фонограмма слога «ко-» румынского слова 'kotul' (cotul «локоть»)

Следовательно, имеющая место лабиализация согласных перед губными гласными и дифтонгоидом (дифтонгом) [°a]¹ не носит фонематического характера, а «а», «°а» и «о» являются разными фонемами (ср. «а», «°а» и «о» на рисунках 18, 19 и 20).

2. Палатализованные согласные фонемы противопоставляются соответствующим непалатализованным в абсолютном конце слова. Палатализованные согласные (в фонетическом смысле) встречаются перед гласными переднего ряда «і» и «е», а также перед дифтонгоидами (или дифтонгами), начинающимися с элемента *i* или *e*, а непалатализованные — перед всеми остальными гласными. Например:

- I. 1) [ˈpatru] patru «четыре»
 2) [pˈiatrɔ̃] piatră «камень»
 III. 1) [ˈtakɕ] tacă²
 2) [tˈekɕ] teacă «ножны»

- II. 1) [ˈpˈetru] Petru «Пётр»
 2) [pˈietre] pietre «камень»
 IV. 1) [kar] car «телега»
 2) [kˈar] chiar «даже»

- V. 1) [kor] cor «хор»
 2) [kˈor] chior «кривой»,
 «одноглазый» и т. д.

¹ Решение вопроса о том, является ли «°а» дифтонгоидом или дифтонгом, должно быть рассмотрено особо.

² Слово tacă входит в состав глагольной формы (III лицо настоящего времени сослагательного наклонения глагола a tăcea «молчать»).

Необходимо решить вопрос, относятся ли палатализованные согласные [p', t', k'...] и непалатализованные согласные [p, t, k...] к различным фонематическим группам или же, наоборот, недифтонгоидные гласные [a, e, o...] и дифтонгоидные гласные (дифтонги) [i¹a, i¹o, i¹a, i¹e...] являются разными фонемами¹. Возможен и третий случай, когда дело и в согласных и в гласных. Для решения этого вопроса производим следующие взаимные звукопересадки: I. [p₁] и [p₂], II. [p₁] и [p₂], III. [t₁] и [t₂] и т. д. Аналогичным образом поступаем с гласными на материале других фонограмм этих же слов.



Рис. 21. Фонограмма слога «pa-» румынского слова «patru» (*patru* „четыре“)

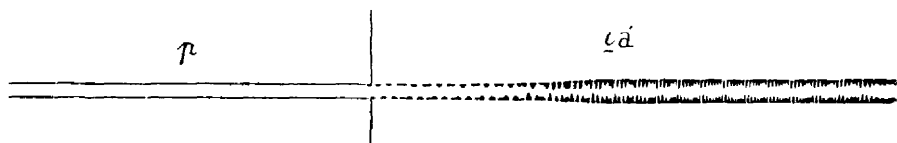


Рис. 22. Фонограмма слога «pia-» румынского слова «piatră» (*piatră* „камень“)

Носители румынского языка слушали магнитофонную запись и установили, что в результате взаимной звукопересадки согласных в первых трех случаях, а именно I. [p₁] и [p₂], II. [p₁] и [p₂] и III. [t₁] и [t₂], фонетический облик слов не был нарушен, а их фонематический состав остался без изменений. Наоборот, в результате взаимной звукопересадки гласных в этих же парах слов, т. е. I. [a] и [i¹a], II. [e] и [i¹e], III. [a] и [e¹a], фонематический состав изменяется соответствующим образом.

Следовательно, незначительная палатализация согласных [p₂] (I), [p₂] (II), [t₂] (III) перед гласными переднего ряда «i» и «e», а также перед дифтонгоидами (дифтонгами), начинающимися с элемента *i* и *e*, не носит фонематического характера. Недифтонгоидные гласные и дифтонгоидные гласные (дифтонги) в этих же парах слов (I, II, III) являются разными фонемами (ср. рис. 21 и 22).

Взаимные пересадки заднеязычных согласных в парах слов типа [kar] *car* — [k¹ar] *chiar*, [kor] *cor* — [k¹or] *chior* и т. д. при прослушивании показали, что звукосочетания [k' + ar] и [k' + or] воспринимаются носителями румынского литературного языка как *chiar* и *chior*. Взаимные пересадки гласных и дифтонгоидов на материале других фонограмм этих же слов дали аналогичные результаты (ср. гласные на рис. 23 и 24)². Это дает основание считать, что палатализованные и непалатализованные заднеязычные согласные являются разными фонемами³.

¹ Вопрос о том, являются ли дифтонгоиды оттенками дифтонгов или же недифтонгоидных гласных фонем, требует особого рассмотрения. Звукосочетания [i¹a, i¹e] фонематически разложимы на «i» + «a» и «i» + «e».

² Вопрос о том, являются ли дифтонгоидные гласные [i¹a], [i¹o] и другие после мягких заднеязычных согласных оттенками соответствующих недифтонгоидных гласных или же, наоборот, оттенками дифтонгов, будет рассмотрен в другой работе.

³ На основании всевозможных данных мною было установлено, что в современном румынском литературном языке в положении перед гласными встречаются шесть палатализованных (мягких) согласных фонем «k'», «g'», «č'», «ğ'», «h'» и «i'».

3. Фонограммы позволяют произвести отделение друг от друга элементов, составляющих дифтонг. Для точного установления границ между элементами дифтонга могут быть использованы, наряду с прослушиванием на расшифровальной машине, визуальный анализ невооруженным глазом, а также проектирование на экран. Таким путем можно установить соотношение элементов дифтонга по длительности. Измерения элементов дифтонга по длительности показательны для выявления фонетического состава дифтонга или дифтонгоида, но они не являются достаточными для фонематического решения вопроса, так как дифтонгоиды и дифтонги могут оказаться оттенками соответствующих недифтонгоидных гласных.



Рис. 23. Фонограмма румынского слова «ког» (cog „хор“)

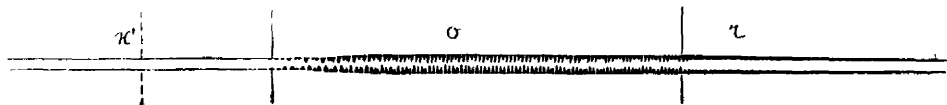


Рис. 24. Фонограмма румынского слова «киор» (chior „слепой“, „одноглазый“)

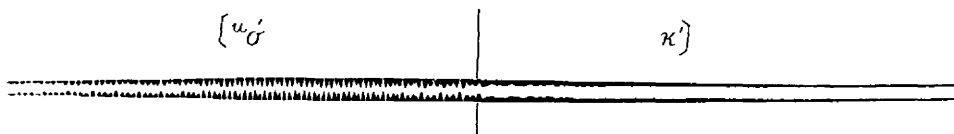


Рис. 25. Фонограмма румынского слова «очи» (ochi „глаза“)

Так, например, в русском литературном языке дифтонгоидные гласные являются оттенками соответствующих недифтонгоидных фонем. В румынском же литературном языке, как было установлено выше, дифтонгоиды (дифтонги) образуют особую фонематическую группу гласных. Однако наряду с дифтонгоидами (дифтонгами), образующими особые фонемы, в румынском литературном языке имеются дифтонгоиды как варианты соответствующих недифтонгоидных гласных, например: [ʷo-] о- в абсолютном начале слова (см. рис. 25). Носители румынского литературного языка не замечают дифтонгоидного характера этого гласного. Следовательно, для решения вопроса о том, являются ли дифтонгоиды (дифтонги) и недифтонгоидные гласные разными фонемами, необходимы и другие доказательства.

Для решения вопроса о фонематичности дифтонгоидов (или дифтонгов) кроме рассмотренных выше способов имеется еще один. Начальный элемент дифтонгоида (или дифтонга) может быть перемещен из слов типа «'tʰakʂ» *teacă* „ножны“, «'kʰate» *coate* „локти“, «'piatrʂ» *piatră* „камень“ в слова типа «'takʂ» *tacă* (см. выше, стр. 92), «'katul» *catul* „этаж“, «'patru» *patru* „четыре“. Если в результате этого слова типа «'tʰakʂ», «'kʰate», «'piatrʂ» превратятся в «'takʂ», «'kate», «'patrʂ», а «'takʂ», «'katul», «'patru» — в «'tʰakʂ», «'kʰatul», «'piatru», то это будет существенным доводом за то, что недифтонгоидные гласные и дифтонги являются разными фонемами. Прослушивание магнитофонной записи румынами показало, что именно так и обстоит дело. Кстати, эти опыты также

подтверждают результаты, полученные в предыдущих двух случаях (1 и 2).

4. При помощи метода звукопересадки мы можем уточнить наличие некоторых позиционных и комбинаторных вариантов. Приведем два примера:

а) Нам необходимо выяснить характер гласного или дифтонга после определенных согласных (мягких, лабиализованных и т. п.). Подбираем для звукозаписи такие слова, где согласные, обуславливающие появление определенного оттенка гласного, находятся в абсолютном начале слова. Удаляем начальные согласные и получаем новые слова или бессмысленные образования. Прослушивание должно показать, совпадают ли гласные после мягких, лабиализованных и т. п. согласных (например, после *p'*, *t'*, *p°*, *t°* и т. д.) с аналогичными гласными в абсолютном начале слова или же после соответствующих твердых, нелабиализованных и т. п. согласных (например, после *p*, *t* и т. д.). Так, например, в результате удаления «č-» из слова [č'æpǝ] *ceapā* „лук“ получаем звуко сочетание [- æpǝ], начальный гласный которого отличается от «а» в слове «'apǝ» *apā* „вода“, от «ja-» в слове «japǝ» *iapā* „кобыла“ и от дифтонга «-ea-» в слове «'teakǝ» *traca* „ножны“. Фонетический облик этого звука может быть представлен следующим образом: [eɜɜa:ææææaaaa]¹.

б) Необходимо выяснить характер гласного или дифтонга перед мягкими согласными. Подбираем слова, где согласные, обуславливающие появление определенного оттенка гласного, находятся в абсолютном конце. Удаляем эти согласные и тем самым ставим гласные в независимое положение.

Опыты показали, что румынские гласные перед мягкими согласными несколько сужаются и продвигаются вперед; они оканчиваются более узким и передним элементом.

5. При решении вопроса слогораздела акад. Л. В. Щерба использует три артикуляторных типа согласных: сильноначальные, сильноконечные и двухвершинные². Были произведены взаимные звукопересадки согласных, предполагаемых как сильноконечные и сильноначальные. Так, например, согласно теории Л. В. Щербы, в слове «кар» *sar* „голова“ [k-] сильноконечный согласный, а [-p] сильноначальный. Производим взаимную пересадку начального [k-] и конечного [-p]. Если согласные [k-] и [-p], предполагаемые соответственно как сильноконечное и сильноначальное, являются действительно такими, то в результате взаимной звукопересадки этих согласных фонетический облик слова будет нарушен.

При прослушивании было установлено следующее: слово начинается с легко ощутимого на слух шума, быстро сменяющегося паузой; распознать в этом звуке согласный [p] не удается. Затем слышим неискаженное ударяемое [a], после чего наступает еще раз пауза, а за ней следует короткий, но сильный взрыв, производящий впечатление звука [k]. Таким образом фонетический облик слова при данной звукопересадке был существенным образом нарушен.

Результаты ряда опытов позволяют утверждать, что метод звукопересадки на материале фонограмм эффективен при определении слогораздела.

Рассмотренные в данной статье случаи звукопересадок, разумеется, не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых этим методом.

¹ Вопрос о том, является ли этот гласный оттенком гласного «а» или дифтонга «ea», будет рассмотрен особо.

² См. М. И. Матулович, Л. В. Щерба как фонетик, сб. «Памяти академика Льва Владимировича Щербы», Л., 1951 (на стр. 80—81 дано определение этих типов согласных и ряд ценных пояснений).

ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ИНДЕЙЦЕВ АНДСКОГО НАГОРЬЯ *

До сих пор среди различных авторов господствовало мнение, что до Колумба в Южной Америке и, в частности, на территории инков не существовало какой-либо письменности. Вопреки этому мнению, нам удалось, к большому нашему удовлетворению, обнаружить иероглифическую письменность древнего происхождения, которой пользуются и в настоящее время десятки тысяч индейцев.

Наше первое открытие было сделано 15 лет назад. После этого нами были опубликованы многочисленные работы по данному вопросу, в которых мы описываем местонахождение письменности и ее основные черты. Нами была издана книга, содержащая многочисленные иллюстрации и тексты на языках кечуа и аймара и переводы их, выполненные с помощью самих индейцев ¹. Однако сведения о существовании данной письменности и о ее вероятном происхождении в доколумбовый период почти не нашли распространения среди ученых. Мы надеемся, что настоящая статья будет способствовать распространению этих сведений.

Письменность, о которой мы говорим, употребляется и сейчас. Ни одной древней записи пока не найдено и поэтому невозможно бесспорно доказать, что эта письменность доколумбового периода ². Несмотря на это, мы уверены в древности ее происхождения. Ниже приводим данные, подтверждающие нашу теорию.

I

Индийская письменность, о которой мы говорим, употребляется в настоящее время на территории Андского нагорья в Боливии и на юге Перу. Возможно, что она распространена и в Эквадоре, но об этом нет точных данных. Наше открытие было сделано в первой из указанных стран. Индейцы, пользующиеся этой письменностью, составляли прежде основную массу населения государства инков и были покорены во времена Конкисты, т. е. они уже более четырех веков католики. Их жизнь сейчас — это жизнь мелких крестьян, живущих небольшими деревнями вокруг городов, населенных белыми и метисами. Их язык, в зависимости от провинции, или кечуа, или аймара. Очень немногие из них знают испанский язык.

Употребление письменности ограничивается исключительно написанием католических молитв, хотя по нашей просьбе и под нашу диктовку индейцами были написаны и другие тексты. Материал, на котором сейчас в основном пишут, — это бумага, причем любая, будь то даже газета: они рисуют свои знаки палочкой поверх газетного текста. Пользуются индейцы также и глиной, однако она употребляется не так, как это имело место в Вавилоне, а совершенно особым и неповторимым способом. Он состоит в том, что из глины лепят знаки размером приблизительно в 6 см и прикрепляют их потом в вертикальном положении на диск или дощечку из глины. Группа таких фигурок напоминает именной пирог со свечками с той лишь разницей, что каждая свечка имеет своеобразную форму. Прежде писали на коже, т. е. на шкуре ламы или овцы, обработанной так, чтобы можно было писать знаки на внутренней стороне. Сейчас кожа почти не употребляется. Нами была также найдена небольшая надпись на камне около 30 см длиной. Знаки на нем были выгравированы. Этот и все остальные тексты относятся ко времени после открытия Америки Колумбом.

Знаки во всех текстах похожи на так называемую пиктографию индейцев Северной Америки, а также на письмо индейцев куна (Панама), открытое в 1925 г. Норденшельдом ³. Количество знаков достигает нескольких сотен, но они не передают всех слов

* Подстрочные примечания сделаны редактором русского перевода Ю. В. Кнорозовым.

¹ Имеется в виду книга: D. E. I b a r r a G r a s s o, *La escritura indígena andina*, [La Paz, Bolivia], 1953.

² В настоящее время уже удалось обнаружить несколько надписей, относящихся ко временам до испанского завоевания.

³ У индейцев куна употребляются две различные системы письма. Одна из них — сильно развитая пиктография, вторая — примитивная иероглифика. См. H. W a s e n, *Original documents from the Cuna Indians of San Blas, Panama*, «Etnologiska Studier», № 6, Göteborg, 1938.

туземного языка и сами индейские писцы изобретают знаки, необходимые для передачи какого-либо слова, которое раньше не имело соответствующего знака. Знаки имеют изобразительный характер и состоят из очень простых и схематичных линий; они изображают людей, животных и предметы обихода туземцев. По понятной причине изобилуют кресты: рукописи являются католическими молитвами.

По смыслу знаки бывают трех типов, как и в иероглифическом письме египтян и астеков: идеографические (прямо изображающие предмет), символические (иногда достаточно замысловатые) и фонетические, приблизительно передающие звуки (в этом случае название изображенного предмета напеминает по звучанию слово, которое нужно написать)¹. Количество знаков каждого типа в текстах колеблется в зависимости от местности, но по крайней мере в одной из них, а именно в Сан-Лукас (департамент Чукисака), количество фонетических знаков превышает 50%. Числа передаются при помощи точек, которые иногда заменяются кружочками и черточками. Последние часто расположены на одном основании и образуют фигуру, похожую на гребень. Простота передачи цифр очень облегчает перевод текстов, так как с их помощью легко распознать различные религиозные тексты, например: десять заповедей, символ беры, милосердные деяния, церковные заповеди и т. д. А это в свою очередь облегчает определение других знаков. Но у нас почти не было необходимости прибегать к этому, так как мы всегда могли получить полный перевод у самих индейцев. У индейцев же мы купили тетради с рукописями. Мы нумеровали знаки, индейцы разъясняли нам каждый из них, после чего мы записывали его значение. Однако встречаются знаки, смысл которых индейцы не могут объяснить. Это главным образом знаки традиционные, их происхождение затерялось в прошлом.

Направления, которым следует письмо, очень разнообразны. Можно сказать, что встречаются все возможные направления. Бустрофедон обычен в этих текстах, за исключением тех случаев, когда влияние нашей письменности искажило оригинальную форму. Наиболее часто тексты (по нашему предположению, сохраняющие первоначальное расположение строк) начинаются с нижней правой стороны страницы и потом переходят в бустрофедон, идущий кверху. Другие тексты начинаются слева внизу, некоторые справа вверху, а некоторые даже слева вверху (в последних случаях очевидно влияние нашей письменности); вместе с этим наблюдается частое исчезновение бустрофедона. Что касается «глиняного письма», то на дисках знаки идут по спирали, которая начинается снаружи, а на дощечках, имеющих форму четырехугольника, употребляется бустрофедон (как на бумаге и коже). Встречается и перевернутый бустрофедон, при котором знаки переворачиваются в каждой следующей строке, как в письме острова Пасхи. Такова надпись из двух строк на найденном нами камне. Такое же расположение строк встречается в двух рукописях на бумаге, которые мы приобрели на острове озера Титикака. Несколько текстов из Паукартамбо в Перу около Куско, опубликованных Винером, дают образец вертикальной записи, которая начинается с нижней левой стороны страницы.

Для написания знаков пользуются не карандашами или кисточками, а палочками, которые обмакивают в анилиновые чернила или в какую-либо растительную краску, приготовленную самими индейцами (обычно не для письма, а для окраски одежды). Раньше, чтобы писать на коже, делали особую краску из сока растения пуньума (на языке аймара означает «мертвое молоко», потому что этот сок употребляется также для того, чтобы пропало молоко в груди матери). Знаки из глины изготавливаются вручную, и наряду с ними употребляются многие другие предметы (угольки, камешки, зубы, кусочки ткани, цветная шерсть, семена, колючки и т. п.). Все они располагаются вместе с другими знаками и служат прообразом того, что рисуется на бумаге. Рукопись на найденном камне была выгравирована при помощи какого-то остроконечного инструмента.

В процессе письма используют в основном два или три цвета. Только один цвет употребляется очень редко. В одном случае было употреблено даже 8 цветов. Однако эти цвета не имеют никакого значения. Индейцы применяют их только для того, чтобы рукопись была более красочной. Поэтому они стараются получить красивые оттенки цветов. Один и тот же знак может быть написан различными цветами в одном и том же тексте, так как значение имеет только форма знака, а не его цвет. Рукописи кечуа в основном многоцветны, а у аймара — большей частью одного цвета.

Что касается круга лиц, которые пользуются этим письмом, то в него может войти кто угодно, так как письменность не является собственностью какого-либо класса или особой касты. Применение иероглифической письменности для записи католических молитв способствовало ее распространению. Эту письменность знают многие женщины и дети. Родители часто лепят из глины знаки, чтобы накануне религиозных праздников научить своих детей молитвам. Они изготавливают их в самой сельской церкви или каком-нибудь соседнем доме. Записи на бумаге употребляются главным образом

¹ Ибарра Грассо не упоминает так называемых ключевых знаков (детерминативов), потому что они редко встречаются в андском письме.

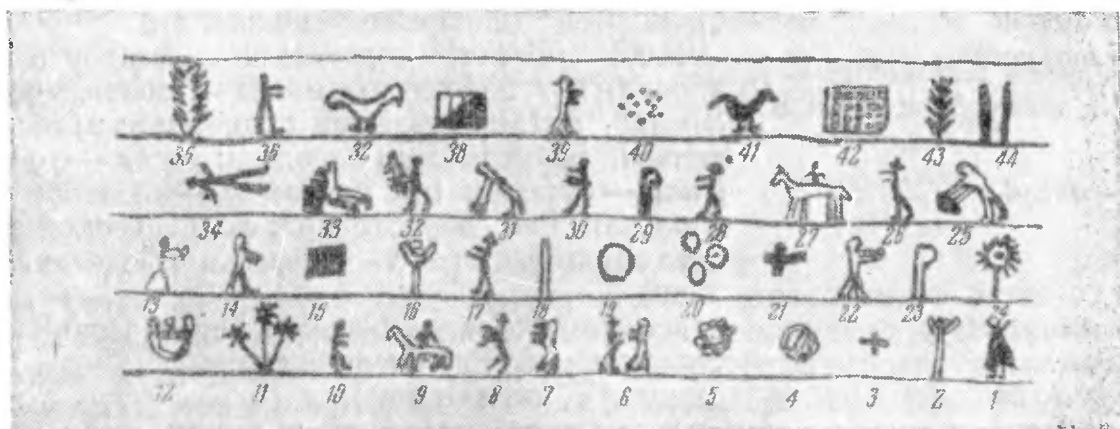
как молитвенники, и туземцы ходят с ними в церковь, чтобы правильное вспоминать молитвы.

Степень, которой достигают туземцы в знании этого письма, различна. Большинство удовлетворяется тем, что пользуется письмом как средством для запоминания молитв, которые они должны выучить для исповеди, женитьбы и т. д. В этом случае процесс обучения очень прост. За несколько монет какой-нибудь знающий индеец обучает тому, что нужно, меньше чем за неделю. Этих индейцев мы относим к первому классу; для них письменность является мнемоническим средством. Второй класс составляют переписчики, т. е. те, кто умеет переписывать с другого текста или делать фигурки из глины, глядя на рукопись. Третья группа состоит из настоящих писцов, которые знают все знаки и могут записать по памяти молитвы. Последние под диктовку могут написать все, что угодно, хотя сами они обычно не знают ничего, кроме молитв. Лица последних двух классов часто записывают в тетради молитвы для продажи их тем, кто умеет только читать.

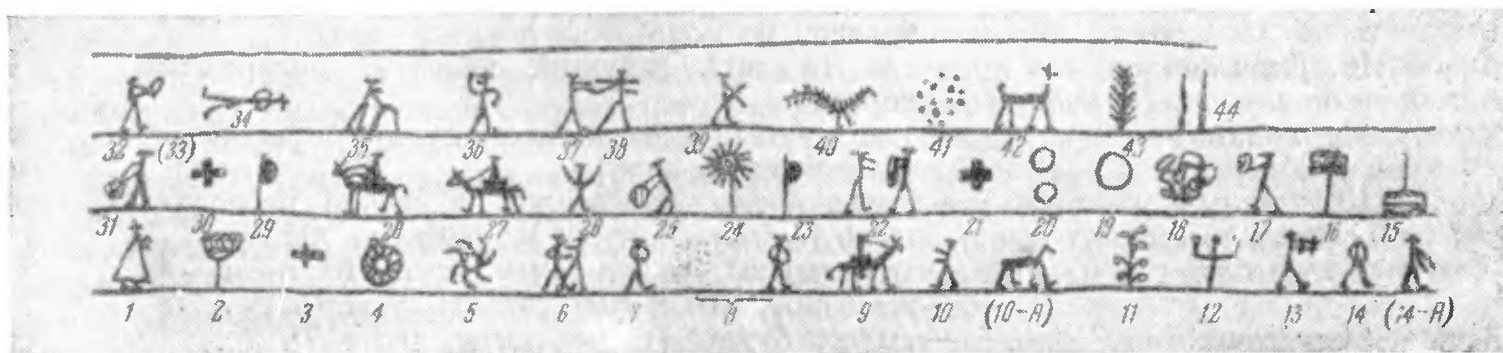
Почти все белые, которые поддерживают связи с индейцами, не знают о существовании этой письменности. Ее видели только очень немногие, но не придавали ей ни малейшего значения. Это тем более странно, что туземцы, которые ходят в церковь города Ла-Пас, обычно имеют при себе молитвенник с иероглифическими текстами.

II

Прежде чем продолжать, мы считаем необходимым привести здесь подробный перевод иероглифического текста, чтобы можно было понять в совершенстве систему письма. Это не будет трудно для того, кто интересовался древними индейскими системами письма, особенно атекской, так как андская система полностью соответствует наиболее развитым формам древнего мексиканского письма, а еще больше — записям периода после открытия Америки Колумбом (как, например, известная запись молитвы «Отче наш», начинающаяся с изображения флага и кактуса). Чтобы лучше понять это сходство, обратимся к двум различным записям «Отче наш». Нужно заметить, что форма написания некоторых знаков колеблется в зависимости от местности, а иногда очень искажены и сами молитвы. Что касается первого, то существуют области, в которых развились локальные формы письма. Эти формы можно будет основательно изучить после того, как будет собран материал, более обширный, чем тот, которым мы располагаем сейчас (100 с небольшим страниц).



1. «Отче наш» Хулиана Герреро из Сан-Лукаса



2. «Отче наш» из тетради Окури

Оба текста, которые мы приводим, происходят из одной и той же области распространения письма: первый — из селения Сан-Лукас, второй — из Окури. Эти селения находятся в нескольких милях друг от друга в провинции Синти на юге департа-

мента Чукисака. Оба текста написаны на языке кечуа, на бумаге, в тетрадах по 17 и 18 страниц. Они были обнаружены в 1942 г. Автор первого текста из Сан-Лукаса Хулиан Герреро, земледелец, который, естественно, не знает нашей письменности. Имя второго автора, ныне умершего, неизвестно.

Рукопись из Сан-Лукаса написана двумя цветами — красным и фиолетовым (в нашем приложении фиолетовый цвет заменен черным, а красный передан с помощью контуров). Рукопись из Окури фиолетового цвета. В обоих случаях чтение начинается с нижней части страницы, но с правой стороны у Хулиана Герреро и с левой — в тетради из Окури. Строки идут бустрофедоном, вверх зигзагами, и заканчиваются двумя вертикальными черточками, которые являются орфографическим знаком конца записи. Так как каждый знак в наших копиях пронумерован, можно легко увидеть расположение строк. Каждый знак в оригинале достигает приблизительно 1 см высоты. В других рукописях они достигают даже 5 см. Это зависит от искусства писца: чем больше знаки, тем они обычно грубее.

Тексты, которые мы приводим, не совпадают между собой полностью, и, кроме того, они различаются в конце. Но общее сходство между ними очень большое. Поэтому мы предполагаем, что, несмотря на неоднократную переписку, они происходят из одного источника. Возможно, что копирование древних источников послужило основой для появления различных локальных вариантов письма.

Теперь перейдем к подробному описанию текстов и, прежде всего, приведем здесь перевод «Отче наш» на кечуа.

Yayaicu janaspachacunapi kaj, sutiylqui muchaska cachun, Kapajcainiyqui ñokaicuman jamuchun, munainiyqui ruraska cachun imainachus janaspachapi jinataj cai pachapipis. Sapa punchai ttantaicuta cunan coaycu, juchaicutari pampachapaycu, imainatachus ñokaycupis ñokaicuman juchallej cunata pampachaicu jina. Amataj cachariguaycuchu guatejcaiman urmacta. Allin jinari, mana allinmanta kgespichiguaycu. Amen.

Приведенный перевод был сделан с текста, взятого из народного катехизиса. Эта молитва, как и другие, имеет несколько вариантов, различающихся друг от друга в зависимости от местности. Перевод каждого слова будет дан ниже. Текст Хулиана Герреро нам прочитан подробно самим автором на языке кечуа. Предварительно мы пронумеровали каждый знак.

Текст Окури, не имеющий авторского перевода, при сравнении с предыдущим переводится легко. Приведем чтение Хулиана Герреро с краткими объяснениями, когда это необходимо и возможно.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Yayaicu | — „наш отец“ (изображен священник) |
| 2. janajpacha- | — „пеллеса“ (<i>ppacha</i> — „одежда на подставке в виде воронки“; в действительности — диск „верхней земли“, поддерживаемый подпоркой; приближительная фонетическая передача: <i>pacha</i> — <i>ppacha</i>) |
| 3. -cunapi | — (<i>cuna</i> — суффикс мн. числа; <i>pi</i> — послелог „в“; <i>cuna</i> или <i>cona</i> „зернотерка“; фонетический знак) |
| 4. kaj | — „находящийся“ (<i>caja</i> — „барабан“; фонетический знак) |
| 5. sutiylqui | — „твое имя“ (<i>ttica</i> — „цветок“; фонетический знак) |
| 6. muchaska | — „почитаемый“ (целующийся; <i>muchana</i> — „поделуй, почитание“) |
| 7. cachun | — „пусть будет“ (жующий человек; <i>cachu</i> — „жевать“; фонетический знак) |
| 8. rurainiyqui | — „то, что ты сделал“ (человек с веретеном в руке; фонетический знак) |
| 9. ñokaicuman | — „нам“ (от <i>yoca</i> — „сидеться верхом“; человек на коне; фонетический знак) |
| 10. jamuchun | — „да придет“ (идущий человек, повернутый вправо) |
| 11. munainiy | — „твоя воля“ (<i>muña-muña</i> — „душистое растение“; фонетический знак) |
| 12. -qui ru- | — конец предыдущего слова и начало последующего (<i>quiru</i> — „зуб“; изображена челюсть) |
| 13. -ascata | — „сделанная“ (то же самое, что и 8; <i>rurai</i> — то же самое, что и <i>ruai</i> „делать, пряхать“) |
| 14. cachun | — „пусть будет“ (то же самое, что и 7) |
| 15. cai pachapipis | — „на этой земле“ (<i>ppacha</i> — „одежда“; фонетический знак; см. знак 2) |
| 16. janajpachapipis | — „и в небе“ (то же самое, что и знак 2) |
| 17. jinallatajman | — „одинаково“, „да будет так“ |
| 18. Sapa | — „каждый“ (<i>sapa</i> — „один“, здесь означает „каждый день“; передано одной палочкой) |
| 19. punchai | — „день“ (солнце) |

20. *ttantaycuta* — „Хлеб наш“ (*ttanta* — „три хлеба“, изображены в виде кружков: хлеб в Боливии имеет форму лепешки)
21. *cunap* — „сейчас“ (*cuna* — „зернотерка“, как знак 3, однако здесь передается другое слово; фонетический знак)
22. *copuaycu* — „дай нам“ (человек с хлебом в руке, отдающий его)
23. *juchaycu* — „и наши грехи“ (крайне стилизованное изображение человека с грузом или мешком грехов)
24. *-tari* — (частица, относящаяся к предыдущему слову; *tara* — „кактус“; фонетический знак)
25. *pampachapuaicu* — „прости нам“ (человек, выравнивающий землю; *pampa* — „выравнивать“, в переносном значении „прощать“)
26. *imaina* — „так“
27. *ñokaycupis* — „как мы“ (см. знак 9)
28. *imaina* — „так“
29. *juchalli, cunaman* — „грешникам“ (см. знак 23)
30. *hina* — „так“
31. *pampachapuycu* — „прощаем их“ (см. знак 25)
32. *Amataj* — „по нет“ (человек с ребенком; *amita* — „ребенок“; фонетический знак)
33. *huatejcaimin* — „в искушении“ (выслеживающий человек; *huatejca* — „выслеживать“; фонетический знак)
34. *unmajta* — „падать“ (падающий человек)
35. *saquehuaycutajchu* — „нас оставляешь“ (*saca-saca* — „растение“; фонетический знак)
36. дополнение к предыдущему
37. *Allin* — „хороший“ (*gallina* — „курица“; из испанского; фонетический знак)
38. *-manta* — „из“ (*manta* — „ткань“, из испанского языка; фонетический знак)
39. *jinari* — „ятак“
40. *mana* — „нет“ (серия точек, возможно *manada* — „стадо овец“[?])
41. *allin-* — „хорошо“ (см. знак 37)
42. *-manta* — „из“ (см. знак 38)
43. *quespichihuycu* — „освободи нас“ (*queri* — индейское произношение испанского слова *espiga*; изображен колос; фонетический знак)
44. Знак окончания

Мы замечаем здесь некоторые отклонения от приведенного выше официального текста «Отче наш», но это часто бывает. В приведенных знаках почти половина — приблизительные фонетические, а остальные — идеографические или символические. Следует отметить, что в некоторых случаях записано целое слово, включая аффиксы, между тем как в других последние отсутствуют. В текстах других районов этот недостаток встречается чаще. В Сан-Лукасе и его окрестностях окончания выписываются лучше и полнее. Текст из Окури, как уже говорилось, очень похож на предыдущий. Он начинается снизу слева, что можно заметить, проследив цифры.

Объясним только знаки, которые даны в другой форме или отличаются более или менее от знаков текста из Сан-Лукаса. Первые семь знаков похожи на знаки текста Хулиана Герреро, хотя есть маленькая разница в форме изображения неба, барабана и цветка. В восьмом знаке соответствия уже нет. Вместо одного знака здесь появляются два. У нас нет их перевода, но вероятно, что они соответствуют официальному тексту молитвы на кечуа, приведенному ранее (слова *karaí cainiyquí*); в других рукописях у того же Хулиана Герреро, например, в тексте молитвы «Радуйся, Мария», для изображения слова *karaí* («богатый или могущественный человек, многим обладающий») рисуется палочка, окруженная цветными точками. В разбираемом нами сочетании первый знак очень похож на этот.

Знаки 9 и 10 похожи на те же знаки у Герреро; последующий знак, помеченный цифрой 10-а, объяснить не можем. Знаки 11, 12, 13, 14 полностью совпадают. Далее следует знак 14-а, отсутствующий у Герреро, но который, очевидно, соответствует слову *imainachus* официального текста. Три последующих знака совпадают. 18-й знак отличается: может быть, это изображение тыквы. Вероятно, здесь употреблен другой фонетический знак для передачи того же слова.

Знаки с 19-го по 27-й совпадают, за исключением небольших расхождений. Самое большое расхождение появляется в знаке 22, где вместо одного человека с хлебом в руке изображены двое, один из которых его берет.

В 28-м знаке появляется различие, повторяется знак 27-й, что точно соответствует официальному тексту. Так же точно соответствуют этому тексту три последующих знака, как это видно по знаку 30 (*сина* «зернотерка»), который соответствует слову *sinata*. В последующих знаках появляется большее различие и несколько отличия, вероятно, и перевод текста. Совпадает, возможно, и знак 32, хотя это неясно. 33-й знак перенесен на место 35-го из-за изменения порядка слов. 34-й совпадает. 35-й знак текста Хулиана Герреро отсутствует, знаки 36 и 39 совпадают, а знаки 37 и 38 не совпадают. В этих случаях нет определенной связи с официальным текстом. Номера 40 и 41 переставлены. 42-й знак текста Герреро отсутствует в тексте из Окури, но так как он передает частицу, то это неудивительно. Вместо него есть другой знак, который мы не смогли объяснить. Два последующих знака полностью совпадают. Таким образом, эти два текста достаточно связаны между собой, несмотря на их различие. Возможно, что различия, которые появляются в строках 2-го текста, можно отнести просто к различиям в устной передаче молитвы.

Нам кажется, что мы смогли дать полное представление о способе записи. Отсюда ясно сходство описанного письма с древним астеком письмом. Знаки в них различны, но основа одна и та же. Количество фонетических знаков вандском письме, по-видимому, больше, чем в письме астеков. Но в данном случае надо иметь в виду, что записи из района Сан-Лукаса в этом отношении уникальны. В рукописях других районов процент фонетических знаков достигает 20—25.

III

Мы не были первыми, кто видел образцы андского иероглифического письма, но мы первые увидели, как им пользуются, и первыми познакомились с индейскими писцами. Кроме того, мы нашли рукописи на глине, на камнях и т. д.

У историков испанского завоевания встречаются различные ссылки на письменность, которая, очевидно, и является данной письменностью. Больше того, один из них, Монтеинос, которого многие считали фантазером, приводит очень много ценных данных. Он дает нам название древней системы письма, которое, по его словам, существовало с давних времен. Современные индейцы — как кечуа, так и аймара — также употребляют это название — *quyllca* или *quellca*. Они называют письмо также просто *rezo* «молитва», так как им теперь пользуются только для записи молитв.

Начиная с середины XIX в. эту письменность видел уже несколько человек, которые, однако, не проявили к ней должного интереса и поэтому не могли прийти к тем выводам, к которым пришли мы. Первым из них был И. Я. фон Чуди, который приобрел кожу с записью. Он опубликовал ее с частичным переводом, сделанным ему одной индейской девушкой. Но он полагал, что эта письменность возникла недавно, в начале XIX в., и употребляется только в местности Сампайа на берегу озера Титикака. Больше того, он утверждал, что она почти исчезла, так как эпидемия уничтожила тех немногих индейцев, которые ее знали, и в живых осталась только одна девушка.

Винер также обнаружил письменность в Паукартамбо (Перу) и в Сика-Сика (Боливия), но не придавал своим находкам никакого значения, ограничившись публикацией двух параграфов и нескольких знаков. В это время он был занят переводом мнимой письменности, которую, как ему казалось, он нашел на старинных тканях на перуанском побережье. Поэтому он пренебрег значением подлинной письменности, бывшей у него под рукой. Затем были найдены другие записи. Орасио Уртеага в Перу опубликовал некоторые тексты без переводов, а в 1910 г. была найдена запись на коже на острове Эль Соль, которую перевел годом позже в Ла-Пасе Франц Тамайя. Этому переводу не повезло, так как о нем не знали в научных кругах, а немного позже, в 1912 г., Артур Познанский в том же городе Ла-Пасе совершил с него плагиат. В этом плагиате для того, чтобы рукопись не была узана, он изменил даже форму написания большей части знаков. Другие записи, найденные позднее, были опубликованы без переводов. Считалось, что они древние. В некоторых случаях их интерпретация перешла все границы фантазии. Норденшельд познакомился с этим письмом по публикации Чуди. Он сделал некоторые замечания и перепечатал запись на коже, опубликованную Чуди.

Нет сомнения, что индейская письменность возникла до открытия Америки Колумбом, хотя прямых доказательств этого нет. Неопровержимым доказательством являлся бы находка одного из таких текстов в погребении доколумбового периода. Но совершенно очевидная связь с другими системами письма американских индейцев показывает нам, что речь идет не о местном изобретении, а о диффузии, которая имела место в эпоху, предшествующую открытию Америки. Цифры, две черточки, означающие конец и т. д., совпадают с пиктографией индейцев Северной Америки и доказывают нам, что эта пиктография происходит от другой, более древней. Письменность куна в Панаме, некоторые записи центральной Мексики, так называемый «календарь» ин-

дейцев пима на северо-западе Мексики тоже тесно связаны с письмом андских индейцев. Письмо астеков, по-видимому, также восходит к древнему источнику, но оно сильно развилось само по себе. Это можно заметить, сравнивая наиболее совершенные атекские записи с наиболее примитивными. Последние ближе к тому письму, о котором идет речь, чем к своим более развитым формам. Это относится к начертанию, но не к количеству фонетических знаков. Наоборот, письмо майя совершенно отлично, или, во всяком случае, самостоятельное развитие его было столь интенсивным, что его родство с первоначальным письмом затемнено, так как до нас дошли только развитые формы письма майя. Все это дает нам право прийти к выводу, что все виды письма американских индейцев, с одним только исключением (и то не наверняка) в виде письма майя, родственны между собой и поэтому должны иметь общее происхождение¹.

Для того чтобы иметь полное представление о происхождении рассматриваемого письма, надо углубиться в изучение более примитивных его форм, а именно «глиняных письмен», обнаруженных нами, что открывает широкую перспективу для исследования. Наиболее примитивные формы даже не имеют глиняной основы. Индейцы кладут в кучу разрозненные предметы, которые потом, когда хотят молиться или учить кого-либо молитвам, ставят в ряд на земле. Это несомненно более ранняя форма, чем употребление дисков и плоских прямоугольников, о которых мы говорили выше. Как нам рассказывали, хотя сами мы этого не видели, в некоторых районах севера провинции Потоси записи составляются из камешков различной формы и цветов, которые индейцы располагают в нужном порядке на земле. Кстати напомним, что, по словам Гарсиласы, индейцы запоминают театральные представления при помощи камешков и семян.

Торкемада нам рассказывает о чем-то подобном в Мексике. В первое время после завоевания индейцы, которых миссионеры заставляли заучивать молитвы, запоминали их, отмечая слова камешками, причем каждый из камешков обозначал фразу. У индейцев гуарани в Парагвае, как об этом пишет Бертона, было подобное письмо, которым пользовались для передачи посланий. При этом употреблялись различные предметы: косточки, семена, камешки, нитки и т. д. Все это складывалось в небольшой мешок и относилось гонцом по назначению. Там эти предметы размещались соответствующим образом на земле и затем следовало чтение послания.

На перуанском побережье у древнего народа мочика за несколько веков до открытия Америки, очевидно, существовала подобная форма письма. Перуанский автор Ларко Ойле опубликовал несколько статей, описывая сосуды, на которых изображены гонцы, несущие в руках мешочки, а также персонажи, по-видимому, читающие записи, составленную при помощи бобов различных цветов и с разными пятнами. Эти бобы появляются также вокруг гонцов, и часто сам гонец изображается в виде боба с руками и ногами. Слова передаются здесь, по мнению Ларко Ойле, пятнами на бобах, а также надрезами на них. Это мнение, однако, было раскрытировано А. Виванте (особенно интерпретация персонажей перед бобами), который предполагает, что здесь изображена азартная игра с применением бобов в качестве фишек, распространенная среди индейцев Америки. Однако фигуры гонцов еще не объяснены; несколько мешочков, которые они переносили, были найдены в захоронениях. Подобные письмена существуют и в других частях света. Достаточно вспомнить «письмо цветов и листьев» в Малайе и «письмо палочек» у лото на юге Китая.

Совершенно очевидно, что все указанные формы письма не только более примитивны, чем письмо на бумаге и на коже, но им предшествуют. Сами туземцы Боливии подтверждают это: когда у них спрашивают, что изображает какой-либо знак, они отвечают, что в «глиняном письме» это такая-то вещь. Например, на вопрос, который мы задали одному писцу о белом квадратике, он ответил, что в «глиняных письменах» был белый предмет. Отсюда ясно, что знаки, изображенные на бумаге, а еще раньше на коже, являются всего лишь копией «записей из глины».

Перед нами предстает путь развития письма, о котором раньше даже не подозревали. Это касается не только письмен индейцев Америки, но и всего мира. Нам кажется, что эти формы письма не возникли в Америке, а были занесены сюда в результате миграций через океан, которые достигли Центральной Америки². Из всех вариантов письма, попавших в свое время в Америку, в Азии остались только упоминавшиеся нами ранее письмена Малайи и Китая.

Записи из отдельных кусочков камня, семян и прочего были самой примитивной формой письма и, возможно, употреблялись почти исключительно для счета. Увеличение форм знаков позволило составлять более сложные послания. В позднейший

¹ Не только письмо майя, но также и письмо сапотеков, ольмеков и тольтеков резко отличается по форме знаков от андского письма. Нуждается в дальнейшей аргументации и тезис о близости андского письма к пиктографии североамериканских индейцев. Следует иметь в виду, что происхождение письма излагается автором с позиций диффузионизма.

² В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих наличие древних культурных связей между Юго-Восточной Азией и Центральной Америкой.

период знаки стали прикрепляться на глиняную пластинку, а потом изображаться на коже¹. Последнее не доказано, так как могло быть, что записи при помощи предметов были перенесены сразу на кожу, камень и т. п., а боливийские глиняные пластинки с записями появились в результате обратного влияния, в подражание постоянному расположению знаков, достигнутому на коже. Этой теоретической возможностью пренебрегать нельзя. Однако мы склоняемся больше в сторону признания приоритета рельефных знаков, укрепленных на твердой основе.

Подобные записи могли быть и предшественниками глиняных табличек древней Месопотамии. Сначала знаки лепились, позднее их начали чертить на глине, что привело к упрощению письма. Что касается узелкового письма, т. е. инкских кипу или письма при помощи ракушек (вампумы прокезов) и т. д., его можно, кажется, непосредственно связать с первым этапом в развитии письма, так как оно сохраняет большей частью числовой характер, хотя в зачаточной форме начинает передавать слова и предположения. Именно определенная последовательность узлов кипу могла явиться образцом для расположения в строку записей на глине и коже.

Что касается связи кипу (которые и сегодня употребляются в значительной части Боливии и Перу) с письмом, о котором мы говорили (как на глине, так и на бумаге и коже), то есть знак, доказывающий наличие между ними этой связи. В кипу различные числа, которые зафиксированы на одной нитке, отделяются друг от друга при помощи двух узлов, которые служат знаком разделения. В «глиняных письменах» встречается тот же знак разделения, употребляемый главным образом для указания конца. Он передается двумя палочками, а в записях на бумаге — двумя черточками, как мы видели на двух примерах «Отче наш».

Распространение в Америке различных производных форм древнего письма указывает нам на диффузию его в различные периоды времени. Нужно заметить, что в зоне высоких культур, т. е. в Перу и Мексике, сосуществовали две системы письма: на бумаге и коже и при помощи отдельных предметов, в то время как у гуарани существовала только вторая из этих форм наряду с кипу (которым гуарани также пользовались), а среди индейцев Северной Америки была распространена первая в виде так называемой пиктографии.

Распространение этого письма на юге Амазонии относится к более раннему периоду, чем распространение его по равнинам Северной Америки. Это подтверждается и диффузией других элементов культуры, которые попали в Северную Америку из Центральной Америки в эпоху, почти предшествовавшую открытию Колумба.

Что касается ограниченного употребления письма (только для записи католических молитв), как это имеет место в Боливии, то это легко объяснить. Примитивное письмо всегда имеет узкое применение. Нам думается, что оно применялось для посланий, и, кстати, вспомним пример Австралии, где «железы говнов» соответствуют посланиям гуарани. Пиктография индейцев Северной Америки служит для записи посланий и истории племен, письмо куна в Панаме — для написания магических рецептов; письменность майя — для записи религиозных текстов, главным образом космогонических, а также для датирования памятников и т. д. Туземное боливийское письмо, видимо, первоначально было также специализировано и служило для религиозных записей, которые затем сменились христианскими текстами.

Д. Э. Ибарра Грассо

Перевели Ю. А. Зубрицкий и М. А. Лейтес

¹ Генетическая связь между так называемым «предметным письмом» и пиктографией весьма сомнительна. Гораздо вероятнее предположение, что «предметное письмо» и пиктография развивались параллельно.

СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В НИВХСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ СЛОВСОЧЕТАНИЙ (К ПРОБЛЕМЕ СЛОВА)

В нивхском языке словосложение является одним из наиболее продуктивных способов образования новых слов (прежде всего и в основном имен существительных), что связано с относительно ограниченными возможностями морфологического способа словообразования. Анализ этого способа словообразования представляет собой значительный интерес, но вместе с тем и большие трудности. В основном они связаны с различением сложных слов и словосочетаний, т. е. установлением признаков слова в составе словосочетаний в его отличиях от компонентов сложного слова, поскольку до настоящего времени остается спорным вопрос о критериях, которые позволили бы это сделать и были бы пригодны для любого случая и во всех языках, несмотря на многочисленные попытки установить такого рода критерии ¹.

Исследователи агглютинативных языков неоднократно отмечали, что во многих из этих языков некоторые типы словосложения осуществляются на основе норм словосочетаний, которые являются действующими до настоящего времени ². В соответствии с этими нормами зависимые члены либо получают определенные морфологические показатели, выражающие их отношение к господствующим членам, либо отношение зависимого члена к господствующему выражается только порядком слов, т. е. примыканием. При таком положении, по-видимому, исключается возможность возникновения устойчивых словосочетаний данного типа в целях обозначения тех или иных единичных понятий, так как для этого сразу же могут быть образованы сложные слова, поскольку соответствующая словообразовательная модель уже существует в языке.

В нивхском языке образование всех типов сложных существительных происходит на основе действующих норм словосочетаний (примыканий), в соответствии с которыми зависимые члены словосочетаний не получают никаких морфологических показателей для обозначения их отношения к господствующим членам. Модели сложных существительных в нивхском языке по своей морфологической структуре ничем не отличаются от моделей соответствующих им словосочетаний; ср.: *уткуо'ла* «мальчик» (сложное слово — из *утку* «мужчина» и *о'ла* «ребенок»), но *утку му* «лодка мужчины» (словосочетание); *чати'фн'ид* (в.-с. д.³) «щук» (сложное слово — из *чати'ф* «болото», *фид~п'ид* «паходиться»), но *ни чати'фн'ид* (в.-с. д.) «Я в болоте находился» и т. д.

Тождество морфологической структуры словосочетаний и сложных слов, аналогичных первым по характеру смысловых отношений своих компонентов, по-видимому, явилось причиной того, что некоторые ученые, занимавшиеся нивхским языком, вообще не ограничивали сложные слова от соответствующих им словосочетаний ⁴. Ниже путем анализа сложных существительных в нивхском языке мы попытаемся определить те признаки, которые отличают сложные слова от словосочетаний.

По происхождению сложные слова в нивхском языке делятся на две группы: сложные слова, возникшие на основе уже существующих словообразовательных моделей, и сложные слова, явившиеся результатом перерастания синтаксических словосочетаний в лексические образования. Различие между этими двумя группами сложных слов заключается в том, что образование сложных слов второй группы не имеет типового характера, образование же собственно сложных слов (первая группа) носит обобщенный, грамматический характер.

Проводя аналогию между синтаксическими отношениями членов словосочетания и смысловыми (синтаксико-семантическими, по терминологии некоторых авторов) отно-

¹ См., например, А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

² См., например: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 47 и 224; Д. В. Бурх, Историческая морфология финского языка, М.—Л., 1955, стр. 152; И. Балаша, Венгерский язык, М., 1951, стр. 161—163, 165; Э. В. Селортян, К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках, сб. «Вопросы теории и истории языка...», стр. 316—319.

³ Здесь, как и в дальнейшем, принято сокращение в.-с. д. — восточно-сахалинский диалект нивхского языка. Примеры из Амурского диалекта, записанные нами в с. Кальма от нивхов Афанасия Ильича Будана и Марии Николаевны Пухты, даются без указания на диалект. В статье принята следующая транскрипция: *h* — фарингальный глухой щелевой; *g'* — звонкий заднеязычный щелевой (*γ*); *n'* — заднеязычный сонант; знак *ˆ* над графемой означает величину соответствующего согласного; знак *ˆ* при обозначении смычных — придыхательность соответствующего смычного.

⁴ См., например: «Образцы материалов по изучению гилияцкого языка и фольклора, собранных Л. Я. Штернбергом». Отт. из «Изв. Имп. Акад. наук», т. XIII, № 4 (ноябрь 1900), СПб., 1901, стр. 433; Е. А. Крейнов, Фonetика нивхского (гиляцкого) языка, М.—Л., 1937, стр. 26—35.

шениями компонентов сложного слова, сложные слова делят на подчинительные и сочинительные. В свою очередь подчинительные сложные слова по тому же принципу делят на два типа: а) определительные, где семантические отношения компонентов носят атрибутивный характер, как и в соответствующих словосочетаниях, б) объектные, в которых, как и в соответствующих им словосочетаниях, первый компонент конкретизирует действие, обозначаемое вторым компонентом. Будучи основана на структурных признаках различных типов сложных слов, такая классификация имеет особое значение для тех языков, в которых модели сложных слов совпадают с моделями тех или иных типов словосочетаний. Не следует, однако, забывать, что смысловые отношения компонентов сложного слова характеризуют скорее процесс его образования, чем само сложное слово.

1. Сложные существительные подчинительного типа

а) **Определительно-подчинительные сложные существительные.** Сложные существительные этого типа в нивхском языке в качестве второго компонента — определяемого — обычно имеют имя существительное, в качестве же первого — определения — имеют имя существительное, прилагательное, причастие¹ и числительное.

Самую большую группу определительных сложных существительных составляют те, которые образованы из двух существительных, взятых в форме основы (в форме абсолютного падежа; эту форму имеет существительное также в тех случаях, когда выступает определением), таковы: *мизиг'р / мизиг'р* «уключины» (*му* «людка», *тиг'р* ~ *зиг'р* «дерево»), *мифсай* «родник» (*миф* «земля», *чай* «вода»), *ватиг'у'р* (в-с. д.) «кресало для высекания огня» (*ват* «железо», *ту'у'р* «огонь»), *Тлым'аур* «Полярная звезда» (*тлы* «небо», *н'аур* «мозг»), *Няг'рич* — название одного из созвездий (*няг'р* «крыса», *ич* «амбар») и мн. др.

Некоторые сложные существительные этого типа имеют общий компонент, передающий родовое понятие, по отношению к которому понятия, выражаемые первыми компонентами этих слов, являются видовыми. Примеры: 1) *койзиг'р* «лиственница», *тыфскизиг'р* «ель», *колдовизг'р* «кедр», *хумтиг'р* «слайник», *кмыизиг'р* «дуб» и др.; 2) *вельчо* «летняя кета», *лыг'исо* «осенняя кета», *тан'исо* «горбуша», *ту'укисо* «осетр», *п'ар'исо* «кадуга» и др.; 3) *м'ыш'ралс* «брусника», *хойн'чалс* «смородина», *тымчалс* «клюква», *м'ышчалс* «голубика» и т. д. Во всех этих случаях вторые компоненты (*тиг'р* ~ *зиг'р*, *чо* ~ *со*, *алс*) передают родовые понятия — «дерево», «рыба», «ягода», а первые компоненты указывают на конкретные виды деревьев, рыб, ягод². Первые компоненты некоторых из таких сложных слов самостоятельно не передают того понятия, которое выражается всем сложным словом, например: *васо* «верхогляд» (рыба), *няг'ралс* «жи-молость», где *ва* «сабля», *няг'р* «крыса» (ср. также имеющие общий компонент *н'ых* названия помещений для животных, а также названия месяцев, бухт, мысов и т. д.). В этих словах понятие, являющееся видовым по отношению к понятию, передаваемому вторым компонентом, выражается всем сложным словом в целом, а не его первым компонентом.

В некоторых случаях последний компонент сложных слов, являющийся общим для целого ряда их, по существу выполняет роль формального грамматического показателя. Так, для обозначения детеныша животного к названию животного присоединяется слово *нон'ч* «детеныш», например: *эг'а* «корова», *эг'анон'ч* «теленоч»; *мур* «лошадь», *мурнон'ч* «жеребенок»; *к'ыск* «кошка», *к'ыскнон'ч* «котенок» и т. д. Для выражения понятия пола животных аналогичным образом используются слова *ар* «самец», *ан'ч* «самка», например: *мур* «лошадь», *мурар* «жеребец», *муран'ч* «кобыла»; *кан* «собака», *канар* «кобель», *канан'ч* «сука»; *эг'а* «корова», *эг'аар* «бык», *эг'аан'ч* «корова» и т. п. В последнем случае общий для всех этих сложных слов компонент *ар* или *ан'ч* может ставиться как на первом, так и (чаще всего) на втором месте.

Значительно реже, чем образование сложных существительных путем сложения двух существительных, в нивхском языке происходит образование сложных имен существительных: 1) из прилагательного и существительного, 2) из причастия и существительного. К этого рода сложным существительным относятся, например: 1) *пилачо* (*пила* «большой», *чо* ~ *со* «рыба») «осетр», ср. в том же значении *ту'укисо*; *н'алм(а)* «первый слой ююлы с кожей» (*н'ал* ~ *н'ар* «жирный», *ма* «ююла»), *мать-токон'ч* «мизинец» [*мать(ки)* «маленький», *токон'ч* «коготь, ноготь»], *матин'а* — название одного из видов нерпы [*мать(ки)* «маленький», *н'а* «зверь»], *калзиг'р* «осина» (*кала*

¹ В нивхском языке причастие по своей форме совпадает с основой глагола и не различает действительного и страдательного значения. О прилагательных здесь говорится условно, поскольку качественные слова в нивхском языке входят в систему глагола.

² Отметим, что вторые компоненты таких сложных существительных, указывающие на родовое понятие, могут опускаться.

«зеленый», *тигр* ~ *аиз'р* «дерево») и т. д.; 2) *пыиму* «самолет» (*пыи* «летающий» и *му* «лопка»), *аат'уэ'р* «кремень» (*аа* «блющий, битый», *т'уэ'р* «огонь»), *полч'ар* (в.-с. д.) «валкажник» (*пол* «падающий, упавший», *ч'ар* «дерево, лес»), *к'ырк'е* «закидной невод» (*к'ыр* «закидываемый, закидной», *к'е* «невод»), *к'езк'е* «ставной невод» (*к'ез* «ставящийся, ставной», *к'е* «невод») и т. п.

Семантические отношения компонентов этого типа сложных слов в отличие от сложных слов, состоящих из двух существительных, характеризуются единообразием и сводимы к семантическим отношениям членов атрибутивного словосочетания: определение + определяемое: первый компонент в таких сложных существительных обычно поясняет, конкретизирует второй компонент; в целом значение такого сложного слова является менее общим, чем значение его второго компонента.

Двухсоставные сложные имена существительные с числительным в качестве первого компонента встречаются редко¹.

В нивхском языке среди сложных существительных определительного типа выделяются слова, состоящие обычно из трех знаменательных компонентов. Как и в двухкомпонентных существительных, в них можно выделить два члена, смысловые отношения которых носят атрибутивный характер. Из них, однако, первый член, поясняющий и конкретизирующий второй, в свою очередь состоит из двух компонентов (обычно — из существительного и причастия), находящихся в объектных отношениях друг к другу. В качестве же второго члена выступает имя существительное. Примеры: *н'ан'ын'ниэх* «охотник» (*н'а* «зверь», *н'ын'* «охотящийся, ловящий», *ниэх* «человек»); *чон'ын'ниэх* «рыбак» (*чо* «рыба» и те же *н'ын'*, *ниэх*); *еспонизг'* «продавец» (*ес* «товар», *по ~ во* «держажий», *ниэх* «человек»); *к'еотнух* «игла, при помощи которой вяжется невод» (*к'е* «невод», *от* «шьющий, вяжущий», *нух* «игла»), ср. *к'илке* в том же значении; *чмыфадунь* «указательный палец» (*чмы* «наперсток», *фа ~ н'а* «одевающий», *тунь ~ дунь* «палец») и т. д. Лишь у нескольких трехкомпонентных существительных первый член состоит из существительного и числительного, смысловые отношения которых носят атрибутивный характер. Например: *носмек'рынь* «небольшой котел с двумя ушками» (*нос* «уши», *мек'р* «два», *ынь* «котел»); *носнык'рынь* «большой котел с четырьмя ушками» (*нос* «уши», *нык'р* «четыре», *ынь* «котел»); *изнык'ри'у* «четырекопильная парта» (*из* «копилья», *нык'р* «четыре», *т'у* «парта»).

б) Объектно-подчинительные сложные существительные. В качестве первых компонентов одного из типов этих имен существительных выступают имена существительные, взятые в форме основы, в качестве вторых — субстантивированные причастия или субстантивированные глаголы в форме на -дъ. Примеры: 1) *колхоз'ин'* «колхозник», буквально: «в колхозе находящийся»; *к'алмп'ин'* «житель с. Кальмы», буквально: «в Кальме находящийся»; *тахт'фин'* «житель с. Тахты», буквально: «в Тахте находящийся»; *лериш'ин'* «нивх острова Сахалина», буквально: «на Сахалине находящийся»; *лусмоын'* «любитель пения, человек, любящий слушать пение», и т. д.; 2) *чатыф'ид* (в.-с. д.) «щупка», *аамыть* «мужчина» (*аз ~ ар* «самаец», *мудь* «становиться»), *К'ылаарадь* — название одной сопки (*к'ыл* «ступя», *арадь* «походить»).

В нивхском языке есть довольно значительное количество сложных существительных, которые состоят из имени существительного + причастия (глагольной основы) + + какого-либо словообразовательного суффикса существительных (чаще такими суффиксами бывают -ф, -с, реже —к). Смысловые отношения знаменательных компонентов таких сложных слов имеют объектный или предикативный характер. Имена существительные, образованные при помощи суффикса -с от составной словообразующей основы, чаще всего обозначают орудия, при помощи которых совершаются те или иные действия, направленные на выраженный в первом компоненте конкретный объект. Примеры: *чон'ын'с* «орудие лова рыбы» (*чо* «рыба», *н'ын'* — основа глагола *н'ын'дъ* «охотиться, искать», *т'ен'ртас* «колотушка» (*т'ен'р* «голова», *та ~ за* — основа глагола *задъ* «бить»), *чоспс* «крючок для рыбной ловли, острога на рыбу» (*чо* «рыба», *сп < сев ~ чев* — основа глагола *еспть* «колоть»²), *ваг'зас* «кованатка» (*ваг'* «мох», *за ~ тя* — основа глагола *задъ* «бить»), *к'ылыыс* «пестик» (*к'ыл* «ступя», *ыс* — основа

¹ Здесь мы можем указать на следующие слова: *чадрыф* «большой, многосемянный дом» (числительное *та ~ ча* «три сажени», суффикс -д, *тыф ~ рыф* «дом»); *Пас'райк* — кличка собаки (*пас'* «одна половина», *тай ~ рай* «питно», словообразовательный суффикс -к); *нинях* «глаз» (**ни* «один», *нях* «глаз, глаза») и некоторые другие. Интересно, что числительные до пяти во всех 26 системах числительных нивхского языка (а в некоторых системах — и числительные после пяти) исторически являются сложными существительными (сдвигами) и состоят из собственно количественных обозначений, общих для соответствующих числительных всех систем, и названий предметов счета. Многие из них полностью сохраняют предметные значения своих компонентов, например: *пахуш* «одна связка норма для собак», *нар* «одна связка ююлки» и др.

² Гласный е здесь выпал в результате стяжения, е перешло в и, так как в результате указанного стяжения произошло стечение двух шелевых.

глагола *выидь* «толочь») и многие другие. Некоторые имена существительные рассматриваемого типа обозначают людей, выполняющих то или иное действие, направленное на конкретный объект. Например: *меньвоос* «рулевой» (*мень* «рулевое весло», *во* ~ *по* — основа глагола *эидь* «держать»), *вершпорш* (в.-с. д.) «купец» (*верш* «товар», *во* ~ *по* — основа глагола *эидь* «держать»), *саньворш* (в.-с. д.) «повар» (*сань* «котел, посуда для варев», *во* ~ *по* — основа глагола *эидь*).

Немногочисленные имена существительные, образованные от составной словообразующей основы при помощи суффикса *-ф*, указывают на место, где обычно совершается то или иное действие, направленное на определенный объект. Примеры: *чоррыль* «место, где обычно вытаскивают пеньюк с рыбой на берег» (*чо* «рыба», *ирлы* — основа глагола *ирлыдь* «тянуть, вытаскивать»), *чоршыйсуф* «место, где обычно на некоторое время оставляется в воде выловленная рыба» (*чо* «рыба», *ршыйсу* — основа глагола *ршыйсудь* «пускать рыбу в кукане, замачивать бочку»), *вытйаг'в* «место соединения наконечника стрелы с древком» (*выт* < *ыт* «железо», *йаг'* — основа глагола *йаг'дь* «защелкать, закрепить»), *н'арйаг'в* «растены в стреле, где укрепляется оперение» (*н'ар* «перо», *йаг'* — основа *йаг'дь*).

Лишь в единичных случаях составные словообразующие основы присоединяют к себе суффикс *-к*, например: *аскмул* «самый младший ребенок в семье, самый младший детеныш животных» (*аск* — субстантивированное прилагательное «младший», *му* — основа глагола *мудь* «становиться»).

2. Сложные существительные сочинительного типа

К этим существительным могут быть отнесены: 1) сложные существительные, возникшие в результате сдвига двучленного предложения или причастного оборота, 2) сложные существительные, образованные в результате либо соединения слов, близких по значению, либо удвоения. Общим для сложных существительных обоих типов является то, что в отличие от сложных существительных подчинительного типа компоненты существительных разбираемых типов в семантическом отношении не зависят друг от друга и их связь носит соположительный характер. Сложные существительные-сдвиги весьма немногочисленны. Примеры: *н'ыжиг'ыл* — название одной породы уток с длинным хвостом [*н'ыжи* «хвост», *кыл* ~ *г'ыл* от *кыл(дь)* «длинный»]; *киур* «трава, которой выстилается обувь» [*ки* «обувь», *ур(ла)* «хороший»]; *книгадхумф* «этажерка» (*книга*, *хум* от *хумдь* «жить, находиться», *-ф* — суффикс места); *тён'рипаг'-лак* — название одной из пород уток (*тён'ри* «голова», *паг'ла* «красный», *к* — суффикс); *К'очак* — собачья кличка (*К'о* < *К'ос* «шея», *ча* от *чан-дь* «белый», *-к* — суффикс).

Существительные, образованные в результате удвоения или соединения слов, близких по значению, представляют собой в основном этимологически сложные существительные. Например: *К'арг'ан'* «заездок» (*К'ар* «столб» + *К'ар* + суффикс *-н'*, который исторически имела большая группа существительных), *К'арг'и* «столб, за который в доме старого образца привязывался медведь» (оба компонента восходят к тому же *К'ар* ~ *К'ас*, во втором из них согласный утратил велирность в результате перехода *а* > *ы* в безударном положении), *тот* «рука» (*то* + *то*; ср. также *тон'к* «локоть», *тымк* «кисть руки», *чым* «ладонь»), *тиг'р* «дерево, лес», *ч'ар* (в.-с. д.) «дерево, лес», *тла* «рукоятка остроги», *к'ла* «выводная труба»¹.

*

Переходя к характеристике особенностей сложных существительных в их отличии от словосочетаний, отметим прежде всего, что многие существительные, сложный характер которых обнаруживается в результате лингвистического анализа, включают в свой состав такие знаменательные компоненты, которые в настоящее время либо не существуют в языке как самостоятельные лексические единицы, либо употребляются в других, отличных значениях. Указанное отличие некоторых сложных слов от словосочетаний является не результатом изначального расхождения в морфологической структуре, а следствием позднейшего развития сложных слов со времени их образования как лексических единиц. В пояснение сказанного приведем примеры на каждый из перечисленных выше случаев.

1) «Сложные существительные» со знаменательными компонентами, один из которых не существует в настоящее время как самостоятельное слово: *мусь* «боковые доски лодки» (*му* «лодка», **эть* «плоский плиткообразный предмет»; ср. показатель одной из систем числительных *эть* для счета кедровых досок, идущих на изготовленные лодок²), *этн'ири'* «плоская тарелка» (*и'ири'* «чашка», «посуда», **эть*), *этиг'ыл.и'р*

¹ Этимологии перечисленных слов даны ниже.

² Таковы числительные: *неть* «один», *меть* «два», *теть* «три» и т. д. О числительных этой системы и их показателе см.: Е. А. Крейнович, Гиляцкие числительные, М., 1932, стр. 7, 13; В. З. Панфилов, Нивхские количественные числительные. Автореф. канд. диссерт., Л., 1953, стр. 14.

«доска с небольшим углублением» (*кылмр* «доска», **аь*), *тых* «вершина дерева» (*ых* «конец», **ти* «дерево»¹), *тиг'р* «дерево, лес» (**ти* «дерево» + *к'ар* ~ *хар* «палка», причем второй компонент утратил гласный *а*), *хар* (в.-с. д.) «дерево, лес» (из тех же компонентов, но с выпадением гласного *и* и переходом *ть* > *ч* перед глухим шелевым), *тла* «рукоятка острого» (**ти* «дерево» + **ла* «палка, длинный деревянный предмет»²), *к'ла* «выводная труба» (**к'а/к'ы* «палка» + *ла*; ср. *к'ас* «столб, подпорка», *к'аури* «остол, палка для торможения» и другие слова того же корня³); *т'уг'р* «огонь» [корень *т'у* ~ *риу*⁴ (ср. *риудь* «жечь, сжигать», *т'уф* «дым», *т'ут* «рама очага») и *к'ар* ~ *хар* «палка, дерево», в котором гласный *а* выпал в результате стяжения, а озвончившийся после гласного *у* шелевой *й'* потерял свою велярность; таким образом, первоначальное значение *т'уг'р* — «горящее дерево, дрова»] и др. 2) «Сложные существительные со знаменательными компонентами, которые в настоящее время как отдельные слова употребляются с другим значением или сохранились только в одном из диалектов: *hemар* «старик» и *hemань* «старуха» (из *hыим* ~ *йым* «знающий, стареющий» и соответственно *ар* «самец», *ань* «самка», которые сейчас употребляются в этом значении только в отношении животных)⁵; *мати* «ручей» (мать «маленький» + *и* «речка»; последнее сохранилось только в восточно-сахалинском диалекте); ср. также *Мать,мати* — название одной речушки.

В момент образования ничем не отличающемся от соответствующих словосочетаний по своей морфологической структуре, сложные существительные подвергались в дальнейшем определенным изменениям согласно фонетическим закономерностям нивхского языка. Так, в результате действия закона стяжения слов компоненты многих сложных слов утратили свои гласные, вследствие чего эти сложные слова по своей морфологической структуре уже отошли от соответствующих им словосочетаний⁶. Наличие такого рода расхождений (равно как и выше рассмотренных) между сложными словами и соответствующими словосочетаниями уже само по себе свидетельствует о том, что те и другие представляют собой принципиально различные языковые явления. Однако это не снимает положения о тождестве морфологической структуры сложных слов и им соответствующих словосочетаний в момент образования первых, поэтому указанные расхождения не могут служить критерием для отличия сложных слов от словосочетаний.

Анализируя различные соотношения значения сложного слова в целом и значения составляющих его компонентов, сложные слова можно разбить на несколько типов. Особое место занимают сложные слова, составной характер которых выясняется только в результате специального лингвистического анализа. Значения таких «сложных слов» никак не соотносятся со значениями их составляющих компонентов, и, строго говоря, они уже не могут считаться сложными словами (например: *т'уг'р* «огонь», *тиг'р* «дерево, лес», *тых* «вершина дерева» и т. п.).

Большинство авторов, рассматривая вопрос об отличии сложных слов от словосочетаний, обычно указывает на несоответствие значения всего сложного слова в целом с суммой значений его составляющих компонентов, в то время как значение, передаваемое словосочетанием, исчерпывается суммой значений его членов. В зависимости от характера сдвига значения всего сложного слова по отношению к значениям его составляющих компонентов можно выделить два типа: 1) сложные слова со значением, которое по своему содержанию богаче суммы значений составляющих компонентов, но в которое тем не менее включаются как один из моментов его содержания также значения составляющих компонентов⁷, и 2) сложные слова, в объем значения которых уже не входит как составная часть значение по крайней мере одного из их компонентов.

К первому типу сложных слов (существительных) могут быть отнесены: *пилачо*⁸

¹ В восточно-сахалинском диалекте в фольклорных текстах встречается слово *те* в значении «штабель дров».

² Ср. числительные *ыла* «один», *мела* «два» и т. д. Относительно этимологии их показателя -*ла* см.: В. С. Панфилов, указ. соч., стр. 13.

³ С корнем *к'а/к'ы* сопоставляется показатель одной из систем числительных -*х* (ср. *нех* «один», *мех* «два» и т. д. — см. об этом там же, стр. 14).

⁴ Корень *т'у* ~ *риу* выделен Е. А. Крейновичем в работе «Фонетика нивхского (гиляцкого) языка», стр. 68—69.

⁵ Этимология этих слов была предложена В. Грубе (W. Grube, Giljakisches Wörterverzeichnis, St. Petersburg, 1892, стр. 17). См. также Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, стр. 88—89.

⁶ Например: *мых* «нос лодки» из *му* «лодка», *ых* «конец»; *мыньдых* «торбаза» из *мыньды* «рыбья кожа», *хи* «обувь»; *вытх* «наконечник копья, стрелы» из *выт* «железо», *к'у* «стрела»; *мачала* «парень» из *мать* «маленький», *ог'ла* «ребенок» и др.

⁷ В силу этого передаваемые этими сложными словами значения оказываются более узкими, чем сумма значений их составляющих компонентов.

⁸ Ср. *т'уки* в том же значении.

«осетр», буквально: «большая рыба» (но не всякая большая рыба есть осетр); *н'алм(а)* «первый слой шкуры с кожей», буквально: «жирная юкола»; *т'аклг'ема* «юкола, делаемая из брюшка рыбы» (*т'акл* «брюшко», *г'едь* «брат», *ма* «юкола»); *полч'ар* «валежник», буквально: «унавшее дерево»; *мифсай* «родник» и т. д. К этому же типу сложных существительных, очевидно, могут быть отнесены многочисленные топонимические названия, как, например: *К'рыо* — собственное название одной деревни (*к'ры* «длинный мыс», *о* «деревня»), *П'рокаймыр* — название одной бухты (*п'рокай* «корюшка», *мыр* «бухта»), *Н'ылыдымы* — название одного источника (*н'ылы* < *н'ыла* «темный», *тымы* ~ *дымы* «ключ») и т. п., а также многие клички животных, например, клички собак: *Ловртай* (лов «подмышка», *тай* «пятно»), *Ностай* (нос «уши», *тай* «пятно»), *Пукрай* (пук «кончик носа», *тай* «пятно»).

Более многочисленна группа сложных существительных, значение которых не связано непосредственно по крайней мере со значением одного из их компонентов. Таковы: *мизиг'р* «уключина», *виж'уты* «ноздри» (*виж* «нос», *к'уты* «отверстие»), *т'уг'рму* «пароход» (*т'уг'р* «огонь», *му* «лодка»), *пылму* «самолет», *к'ен'йу* — один из видов утки (*к'ен'* «солнце», *йу* < *йу* «утка»), *мачала* «парень», *хиль'ых* — название одного мыса (*хиль* «язык», *ых* «конец»), *Тлын'аур* «Полярная звезда», *Няг'рн'* — название одного созвездия и многие другие. Соотношение значений многих имен существительных этого типа со значениями их составляющих компонентов носит метафорический характер.

Говоря о расхождении значений сложного слова в целом и составляющих его компонентов, нельзя это явление ставить в связь только с последующим изменением значения сложного слова, как это обычно делают. Внутренняя форма слова даже в момент наименования того или иного предмета, явления обычно не отражает всего содержания соответствующих понятий, так как наименование тому или иному предмету, явлению обычно дается только по какому-либо одному признаку, которым данный предмет, явление легко отличается от других. Поэтому значения многих сложных слов с самого начала оказываются гораздо богаче по своему содержанию, чем сумма значений, выражаемых их компонентами. В связи с этим было бы неправильным говорить о переосмыслении компонентов сложного слова во всех тех случаях, когда содержание значения всего сложного слова в целом не совпадает с суммой значений, передаваемых его компонентами. О переосмыслении значений компонентов сложного слова можно говорить в тех случаях, когда значение хотя бы одного из компонентов сложного слова уже не связано непосредственно с тем значением, которое передается всем сложным словом в целом.

Является ли расхождение между значением сложного слова и значениями его составляющих компонентов тем моментом, который характеризует все сложные слова в отличие от словосочетаний? Анализ показывает, что в нивхском языке есть такие сложные существительные, значение которых почти соответствует сумме значений их компонентов, аналогично тому, как это имеет место в словосочетаниях. Можно назвать, например, такие слова, как *лыг'исо* «кета осеппия», *велло* «летняя кета», *калм'ин'* «житель с. Кальмы», буквально: «в Кальме находящийся» и др. Здесь по характеру отношений значений сложных слов и их компонентов можно выделить, наряду с двумя ранее названными, третий тип сложных слов.

Наличие случаев, когда между значениями сложных слов и суммой значений их компонентов не существует заметного расхождения, не означает, однако, что различие между сложными словами и словосочетаниями в семантическом плане не может быть проведено вообще. Это различие заключается в том, что ни один из компонентов любого сложного слова (как бы оно ни было близко по своему значению к соответствующему словосочетанию) сам по себе не имеет отдельного значения и не выражает отдельного понятия, что все сложное слово имеет только одно значение и выражает только одно понятие, в то время как каждый из членов свободного словосочетания имеет свое отдельное значение и сохраняет в потенции способность выразить отдельное понятие даже в случае, когда все словосочетание в целом передает только одно понятие.

Указанное различие между сложными словами и словосочетаниями обусловлено тем, что если синтаксические, смысловые отношения членов словосочетания являются живым осознаваемым моментом общения, то смысловые отношения компонентов сложного слова никогда не являются моментом общения, объектом осознания говорящего (если только не брать здесь того момента, когда происходит образование сложного слова)¹. В результате, если на любом из членов свободного словосочетания может быть сделано логическое ударение, то этого нельзя сделать в отношении компонентов сложного слова, т. е. ес-

¹ Следует отметить также, что значения некоторых сложных слов не могут быть параллельно переданы словосочетаниями, которые построены на примыкании. Например: слово *мифсай* «родник» может быть передано только описательно как *мизиг'н'учах* «из земли выходящая вода»; *П'рокаймыр* — как *п'рокай йиш мыр* «корюшку имеющая бухта»; *Ловртай* — как *ловруин тай йиш(дь)* «пятно подмышкой имеющий»; *К'рыо* — как *к'ры п'и о* «на мысу находящаяся деревня» и т. д.

любой из членов словосочетания может быть логическим предикатом (иными словами — выражать отдельное понятие), то им не может быть компонент сложного слова: логическим предикатом может быть только все сложное слово в целом. Несовпадение значения сложного слова и сочетания значений его компонентов, как бы они ни казались близкими друг к другу, проявляется и в том, что объект, обозначаемый таким сложным словом, в момент сообщения может и не обладать теми признаками, которые составляют содержание его внутренней формы (*к'алмы'ин* 'житель с. Кальмы', буквально: «в Кальме находящийся» может в данный момент и не находиться в Кальме и, наоборот, не всякий человек, находящийся в данный момент в Кальме, является его жителем), в то время как словосочетание (свободное) всегда указывает на признаки, присущие объекту в момент сообщения.

Следствием семантической цельности сложного слова является и его отличие от словосочетания, заключающееся в том, что если каждый знаменательный член словосочетания может быть распространен каким-либо другим словом, то этого нельзя сделать в отношении любого компонента сложного слова в отдельности, а лишь в отношении всего сложного слова в целом. Любое распространение одного из компонентов сложного слова приводит к отторжению распространяемого компонента и разрушению самого сложного слова, к разрушению значения, им передаваемого. Например: *пилачо* «осетр», *леле пила чо* «очень большая рыба». Эта особенность сложного слова (как и невозможность вставить другое слово между компонентами сложного без нарушения значения последнего) также является одним из его существеннейших признаков, в котором проявляется функционирование сложного слова в предложении как единого целого, как одной лексической единицы.

По нашему мнению, семантическая цельность сложного слова является тем его основным и исходным признаком, который определяет отличия сложного слова от свободных словосочетаний в синтаксическом плане, формальные изменения компонентов некоторых сложных слов, обуславливающие формальное отличие сложных слов от соответствующих словосочетаний, и другие рассмотренные выше особенности сложных слов. Заметим, однако, что хотя семантическая и синтаксическая цельность и являются такими признаками, которые характерны для слова во всех языках, эти признаки не во всех языках ограничивают сложное слово от словосочетания. Известно, например, что в индоевропейских языках такими же признаками обладают также и устойчивые словосочетания, которые выполняют в языке ту же роль, что и слова (сложные слова), функционируя в языке как готовые единицы. Тем не менее, с логической точки зрения было бы неправильно исключать семантическую и синтаксическую цельность из числа признаков слова только потому, что есть другие языковые явления, которые, будучи переходными, также обладают этими признаками.

В. З. Панфилов

ЗАВЕРШЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ КАК ЯВЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Одним из существенных моментов при характеристике синтаксических конструкций является установление их законченности или незаконченности. Вопрос о завершенности конструкции непосредственно сопрягается с вопросом о грамматической сочетаемости разрядов и форм слов. В своем наиболее общем виде грамматическая сочетаемость — это потенциальная способность определенных разрядов или форм слов сочетаться с другими разрядами или формами слов¹.

Однако характер этой потенциальности у различных форм весьма неоднороден. Даже у одной и той же формы некоторые из возможных сочетаний только факультативны, между тем как другие являются необходимыми — и это различие чрезвычайно важно в грамматическом плане. Например, в предложении *Окна дома ярко блестели на солнце* сочетаемость существительного (в данном случае *окна*) с определением в родительном падеже является факультативной, а сочетаемость определительного родительного падежа с определяемым существительным является обязательной. Предложение *Окна ярко блестели на солнце* вполне возможно, хотя оно и несколько беднее в смысловом отношении.

Итак, сочетаемость бывает факультативная и обязательная, причем у одной и той же формы слова обычно бывает не одна, а несколько «сочетатель-

¹ В дальнейшем изложении мы будем — там, где это возможно, — для удобства заменять выражение «разряды или формы слов» простым термином «форма».

ных возможностей». Впрочем, среди всех видов сочетаемости, которые свойственны данной форме, по меньшей мере одна должна быть обязательной (или становится обязательной в определенных условиях) — иначе эта форма не могла бы быть соотнесена с другими словами, т. е. не могла бы быть включена в состав предложения. Так, в русском языке родительный падеж существительных может употребляться в различных сочетаниях (например, он может входить в группу глагола, в группу существительного; он может употребляться также в сочетании с прилагательными и числительными). Но в одно из этих сочетаний родительный падеж должен вступить во что бы то ни стало, если он вовлекается в реальный речевой процесс. Исключением являются только формы, образующие односоставные предложения. Но и здесь нередко можно обнаружить следы определенной обязательной сочетаемости (см. ниже).

Наличие обязательной сочетаемости давно отмечалось в лингвистике¹. Особенно большую роль играли здесь наблюдения над «недостаточностью» ряда глаголов с точки зрения образования сказуемого (проблема копулы, глаголы «неонольной предикации»). С другой стороны, понятие переходности глагола также с самого начала было связано с представлением о необходимости для определенного разряда глаголов сочетаться с определенной формой имени. По сути дела на понятии обязательной сочетаемости основано понятие «сильного управления». Необходимость наличия косвенного падежа при каком-либо другом слове ограничивается здесь от случаев, когда косвенный падеж только возможен.

Обязательную сочетаемость как общую грамматическую закономерность надо отличать от многочисленных случаев лексической обязательной сочетаемости. Так, нередко обязательная сочетаемость возникает как результат специфической семантики слова. Например, в русском языке существительное *ряд* в своем неопределенно-количественном значении должно, как правило, «опереться» на какое-нибудь другое, предметно более определенное слово, чтобы в предложении создалась необходимая полнота смысла. Нельзя сказать *Он повстречался с рядом* или *Он написал ряд*. Обязательно надо сказать примерно: *Он повстречался с рядом приезжих* и *Он написал ряд писем*. Но это не потому, что слово *ряд* — существительное или стоит в косвенном падеже и т. п., а потому, что это слово обладает специфической семантикой. Если мы в тех же предложениях заменим слово *ряд* другими существительными с четким предметным значением, то эти предложения окажутся совершенно законченными; ср.: *Он повстречался с приезжими*; *Он написал письма*². Между тем обязательная сочетаемость как грамматическое явление фигурирует там, где необходимость восполнения данного слова другим словом для завершения конструкции диктуется общими грамматическими свойствами данного слова, его принадлежностью к определенному разряду или его постановкой в определенной форме.

Заслуживает внимания тот факт, что среди различных «сочетательных» возможностей одни могут оказаться обязательными, а другие нет. Например, «строго транзитивные» глаголы обладают обязательной сочетаемостью с подлежащим и с прямым дополнением; между тем с обстоятельством, косвенным дополнением и предикативным определением они соединены лишь потенциальной сочетаемостью. По сути дела у всех форм, играющих в предложении роль второстепенных членов, сочетаемость неравноправная. Они все обладают обязательной сочетаемостью (иногда выборочной, иногда единственно возможной), между тем как формы, играющие роль главных, необходимых членов предложения, обладают по отношению к второстепенным членам предложения лишь потенциальной сочетаемостью.

Но существует и взаимная обязательная сочетаемость. Так, в отношении подлежащего и сказуемого не только сказуемое (например, сказуемое, выраженное полнозначным глаголом) тяготеет к подлежащему, но и подлежащее тяготеет к сказуемому. Их сочетаемость обязательна в обоих направлениях — в направлении от подлежащего к сказуемому и обратно; и именно это составляет едва ли не решающее различие между сказуемым отношением и всеми другими видами синтаксических отношений.

Односторонняя обязательная сочетаемость характеризует, как правило, формы, находящиеся в синтаксико-морфологической формальной зависимости от тех форм, с которыми они сочетаются. Здесь действуют отношения грамматического господства — согласование, управление, примыкание. Совершенно по-особому складываются грамматические отношения в сказуемом сочетании. Выступающий в качестве подлежащего именительный падеж грамматически не зависит ни от какой другой формы, в том числе и от сказуемого, с которым он сочетается. Более того, само сказуемое граммати-

¹ Ср., например: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 396; В. В. Виноградов, Вопросы изучения словосочетания (на материале русского языка), ВЯ, 1954, № 3.

² Между грамматической и лексической сочетаемостью существует, конечно, много переходов. Ср. замечания А. М. Пешковского о соотношении более общих и более частных форм словосочетания (А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 78).

чески зависит от него, согласуясь с ним. И все же, выступая в качестве подлежащего, именительный падеж обладает обязательной сочетаемостью по отношению к сказуемому — он вводится в предложение именно для того, чтобы получить свое определение в сказуемом, он как бы устремляется к нему.

Таким образом, если в некоторых случаях обязательная сочетаемость выявляется и в какой-то мере порождается уже самой морфологической природой формы, ее «подчиненным», зависимым характером, то в других случаях она выявляется и порождается лишь в условиях определенной синтаксической конструкции. Но и в этом случае с данной формой оказывается сопряженным определенный вид сочетаемости. Он закрепляется в ней, хотя не имеет непосредственной морфологической основы, а дан только синтаксически.

Для оформления синтаксических структур роль потенциальной сочетаемости и сочетаемости обязательной далеко не одна и та же. Если при какой-либо форме отсутствуют те или иные члены, которые могли бы стоять при ней в силу ее потенциальной сочетаемости, то это не оказывает никакого влияния на соответствующее предложение ни со структурной, ни со смысловой стороны. Например, все многообразие обстоятельств, возможное при глаголе, фактически может при нем отсутствовать.

Обязательная сочетаемость, напротив, создает резкое различие между законченными и незаконченными синтаксическими конструкциями. Там, где в какой-либо синтаксической структуре стоит форма, обладающая по своей морфологической природе или в силу данного синтаксического использования обязательной сочетаемостью, там возникает настоятельная необходимость восполнения этой структуры соответствующим компонентом, что определяет соответствующую схему необходимого состава данной структуры.

Но обязательная сочетаемость придает той форме, свойством которой она является, и такие черты, которые в конечном счете могут повести к формальным последствиям совсем иного порядка. При точно направленной обязательной сочетаемости в форме, которая этой сочетаемостью обладает, как бы уже содержится предвосхищение того, что должно быть в данной структуре восполнено. При этом такое предвосхищение может быть в разной степени конкретизировано. Так, наличие связочного глагола *быть* обязательно указывает на определенный предикатив, но само по себе, если не учитывать семантику подлежащего, общий контекст и т. д., не содержит в себе указания на более конкретный вид этого предикатива и на его семантику.

Например, наличие связки *ist* во фрагменте немецкого предложения *Die Rose ist...* совершенно ясно предвосхищает некий предикатив, но этим предикативом в равной степени может быть и именительный падеж существительного (*Die Rose ist eine Blume*), и прилагательное (*Die Rose ist schön*), а в какой-то мере, как член «расширенного сказуемого», и наречие, предложные группы и т. д. (*Die Rose ist in der Vase*; *Die Rose ist da* и т. п.)¹. Между тем при переходных глаголах типа *nehmen* предвосхищается только одна форма — форма винительного падежа.

Однако именно в силу этого при наличии форм, обладающих четко направленной обязательной сочетаемостью, можно обойтись без языкового выражения какого-либо компонента отдельным словом или словосочетанием, если семантически оно может быть легко восполнено из контекста или ситуации, например: «*Вы берете эту книгу?*» — «*Беру*».

На первый взгляд может показаться, что обязательная сочетаемость просто превратилась здесь в сочетаемость потенциальную. Раз при глаголе винительный падеж оказывается факультативным, т. е. может либо стоять, либо отсутствовать, то это действительно очень напоминает факультативность наличия при полнозначном глаголе, например, обстоятельство. Вместе с тем здесь имеется все же и существеннейшее различие. Не вошедшие в состав данного предложения члены, которые опирались бы на потенциальную сочетаемость, могут оказаться вообще не актуальными для высказывания. Обозначаемые ими предметы, признаки и явления могут не привлечь к себе внимания, могут вообще не войти в круг мысли, находящей свое выражение в данном предложении. Между тем не вошедшие в предложение члены, которые должны были бы опираться на обязательную сочетаемость, всегда актуальны для высказывания и обозначаемые ими предметы или явления непременно привлекают к себе внимание и находятся в кругу мысли говорящего (и слушающего).

В начале настоящей статьи при рассмотрении обязательной сочетаемости мы подчеркивали именно необходимость конкретного, непосредственного присоединения одной формы к другой. В ходе нашего исследования выяснилось, однако, что этого может и не быть, что первая форма может стоять в предложении и без второй формы. Более того, даже в аналитических грамматических формах возможно абсолютное употребление компонентов. Ср. *Ты будешь писать?* — *Буду*. Однако формы, обладаю-

¹ Ср. В. Г. А д м о н и, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 55—56.

щие обязательной сочетаемостью, но выступающие абсолютно, существуют не сами по себе. Они опираются на аналогичные формы, при которых стоит соответствующий, требуемый ими компонент. Именно первые («полные») структуры объясняют вторые («абсолютные»), а не наоборот. Если бы реальная обязательная сочетаемость не была прочнейшим образом закреплена в языковом строе, не вошла бы существеннейшим моментом в грамматическое содержание отправной формы, то «абсолютная» структура была бы невозможна — значение второго компонента не входило бы обязательно в состав мысли, а было бы только факультативным, как это имеет место при потенциальной сочетаемости.

Сочетаемость вообще является особым грамматическим свойством, присущим каждой грамматической форме. Но при наличии обязательной сочетаемости от соответствующей формы исходит такая ясная, отчетливая проекция синтаксического отношения, что в случае абсолютного употребления данной формы эта проекция выходит за пределы предложения и неизбежно заставляет мысль проделать соответствующий путь и включить в свой состав нечто, не падающее прямого лексического выражения в данном предложении. И именно в силу чисто грамматической обоснованности этой проекции, являющейся определенным формальным свойством грамматической формы, мы можем говорить о ней не в семантическом плане, не с точки зрения теории эллипсов, приемысливания и т. д., а в плане конкретно грамматическом и формальном. Это подтверждается, в частности, тем, что абсолютное употребление форм, обладающих обязательной сочетаемостью, не произвольно, не зависит только от условий ситуации и контекста, а связано с общими закономерностями строя того или иного языка.

Дело в том, что такое требование завершенности конструкции, которое предполагает реализацию полной схемы этой конструкции, обнаруживается неодинаково отчетливо в различных языках. Если в строе некоторых языков оно действует с большой строгостью, то в других оно ощущается значительно слабее. И как раз в русском языке, с его чрезвычайно свободным синтаксическим строем, с характерной для него непосредственной связью между словом и предложением, сохранение «полной» схемы конструкции оказывается, как правило, отнюдь не необходимым. Именно поэтому, вероятно, последователи неполных предложений и диалогической речи в русском языке иногда освещают свою проблему так, как будто вообще не имеется почти никаких границ для «дробления» конструкции при наличии соответствующих условий в ситуации и контексте.

Для того чтобы понять проблему завершенности конструкции во всей ее сложности, надо обратиться к материалу других языков.

*

Одно любопытное явление обнаруживается в структуре английских предложений, в состав которых входит связочный или вспомогательный глагол. При ответах на вопрос, при повторениях, вообще в тех случаях, когда содержание предикатива или именной части глагольной формы ясно из контекста, наличие связочного или вспомогательного глагола оказывается достаточным для структурной завершенности предложения. Например: «Have you anywhere to hang it?» — «I should think we had» (Galsworthy, *The white monkey*); «You remember given me a note to Mr. Creene, sir?» — «I do...» (Galsworthy, *The white monkey*). В некоторых случаях предложение, в котором стоит форма, опущенная при служебном глагоде, даже удалено от сокращенного предложения: «Does he ever ask you now whether you see me?» — «Never» — «Why?» — «I don't know». — «What would you answer if he did?» (Galsworthy, *The white monkey*)¹.

Рассмотренное явление не стоит особняком в системе английского языка. Есть целый ряд грамматических фактов, которые в той или иной мере с ним соотносятся (например, употребление формального подлежащего *it* или *there*, использование вместо объекта форм *it* и *so*, применение вместо инфинитива словечка *to*, использование словечка *one* в атрибутивной группе и др.)². В. Н. Ярцева выдвигает особую категорию слов-заместителей, служащую для того, чтобы развернутая схема этих конструкций не была нарушена. При этом основная причина употребления таких слов-заместителей, с точки зрения В. Н. Ярцевой, заключается в развитии аналитического строя в английском языке³.

Признавая всю плодотворность такой концепции, мы все же полагаем, что ссылка на аналитический строй здесь не исчерпывает всей проблемы как с точки зрения самого существа языковых фактов, так и с точки зрения их связи со строем английского языка.

¹ Конечно, при необходимости подчеркнуть предикатив или дополнение употребляется полная конструкция, обычно с формами *it* или *so*.

² См. В. Н. Ярцева, Основной характер словосочетания в английском языке, ИАН ОЛЯ, т. VI, вып. 6, 1947; е е ж е, Слова-заместители в современном английском языке, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, вып. 14, 1949. Ср. также О. J e s p e r s e n, *A modern English grammar on historical principles*, pt. II. Heidelberg, 1936, стр. 246.

³ В. Н. Ярцева, Слова-заместители в современном английском языке, стр. 205.

Прежде всего надо отметить, что не все случаи, объединяемые под наименованием «слова-заместители», однородны. Так, в конструкциях типа *I am* (в ответе на вопрос «Are you ill?») слово *am*, выступая в абсолютном употреблении на основе своей обязательной сочетаемости, «замещает» не отдельное слово, а целое словосочетание (*am ill*), и это его употребление отнюдь не помогает сохранить схему соответствующего предикативного словосочетания. Вместо схемы «подлежащее + связочный глагол + предикатив» здесь получается только сочетание «подлежащее + связочный глагол». Да и сама форма *am* в данном случае, строго говоря, прежде всего выражает саму себя, играет свою собственную роль.

Подобные отклонения от структурной схемы возможны не только на базе использования некоторых глаголов. Аналогично «замещают» целые сочетания, оставаясь вместе с тем самими собой, и родительный падеж при своем независимом употреблении (например, *of the three autos William's is the best*)¹ и специфические формы притяжательного местоимения типа *mine*, *hers* и т. д. (например, *He knew that the house was hers*)².

В этой связи крайне существенно, что как раз в немецком языке, который принадлежит к наименее аналитическим германским языкам, использование слов-заместителей для сохранения законченности, цельности структурной схемы проводится несравненно более последовательно. Так, при повторении и в диалоге связочные и вспомогательные глаголы недостаточны для образования сказуемого и завершения предложения. Здесь широчайшим образом используется словечко *es*, чаще всего в энклитической форме. Например, при ответе на вопрос «Hast du das Buch?» нельзя ответить «Ich habe», а надо обязательно сказать «Ich habe es» (*hab's*), при ответе же на вопрос «Wer ist da?» соответственно надо ответить «Ich bin es» (*bin's*) и т. д.³

Но если целый ряд явлений в системе «заместительности» в английском языке, таким образом, не может быть объяснен общим аналитическим характером строя языка, то в чем же причина этих явлений? Нам представляется, что здесь должны быть учтены два момента.

1. Как известно, сама аналитичность английского языка не является абсолютной. Несмотря на свою малочисленность, флексивные элементы занимают некоторые крайне существенные позиции в системе строя английского языка (главным образом в глаголе). Они прочно закреплены за определенными синтаксическими функциями, т. е. отличаются такой четко направленной обязательной сочетаемостью, которая создает наилучшие предпосылки для развития абсолютного употребления. Так, родительный падеж в английском языке по сути дела монофункционален. Он может служить только определением к существительному, между тем как в немецком или в русском языках родительный падеж обладает целым рядом функций (в немецком, помимо определительной, также объектной, предикативной, обстоятельственной и приращительной).

Но если одни формы английского языка так монофункциональны, обладают столь четко направленной обязательной сочетаемостью, то большое количество других форм, напротив, характеризуется чрезвычайно широкой выборочной сочетаемостью, которая не позволяет опускать вторые компоненты сочетания. Такова, например, форма общего падежа. Более того, многие именные основы, выступая в общем падеже, сами по себе, по своей внешней форме, в силу господства конверсии в английском языке, до четкого раскрытия своей синтаксической роли в предложении соединяют в себе, по крайней мере с точки зрения слушающего, потенциальную сочетаемость как существительных, так и прилагательных, а в некоторых случаях даже глаголов. В формах типа *work*, *round* для четко направленной обязательной сочетаемости нет места. Именно поэтому, очевидно, определительные сочетания, состоящие в английском языке из слов в общепадежной форме, и нуждаются в воспроизведении всей схемы сочетания полностью, хотя бы с участием заместительных слов. (Характерно, что в немецком языке, где существительное и прилагательное морфологически различаются, подобное сочетание может оформляться абсолютным употреблением прилагательного.)

¹ Пример взят из книги: G. O. S u r m e r, *A grammar of the English language*, vol. III — *Syntax*, New York, 1931, стр. 18.

² Ср. В. Н. Ж и г а д л о, И. П. И в а н о в а, Л. Л. Н о ф и к, *Современный английский язык*, М., 1956, стр. 56 — 57.

³ Это относится, как правило, к связочным и вспомогательным глаголам (и к переходным глаголам с семантикой схемы действия, типа *nehmen*, *geben*). У них абсолютное употребление встречается лишь в виде исключения: в кривомах (например, *Das wäre!*) или при подчеркнутом утверждении (например, «Hat Borchardt geschickt?» — «Versteht sich, hat er...» (Fontane, Stine). Впрочем, и тут показательно многообразие после *hat er...* Общей нормой даже для диалога здесь будет полная схема конструкции. В этом смысле, как это ни парадоксально звучит, английский язык оказывается ближе к языку русскому, чем к немецкому. Ср. формы будущего времени *г* и *отвечаю* в диалоге: *Вы будете читать?* — *Буду*; *Will you read?* — *I will (I shall)*; *Werden Sie lesen?* — *Ich werde lesen (Ich werde es tun)*.

2. Исследователи уже неоднократно обращали внимание на особое значение для строя английского предложения сказуемого отношения, т. е. сочетания подлежащего (имени в общем падеже) со сказуемым (в состав которого за ничтожными исключениями входит глагол). Будучи в основном фиксированным в своем внутреннем строении и занимая также определенное место в составе всего предложения, сказуемое сочетание, вообще являющееся необходимым для двусоставного предложения, становится в английском языке и структурным центром предложения, его структурной осью. В этом смысле здесь намечается существенное отличие от структуры предложения в немецком языке, где основную роль в организации предложения играет само сказуемое с его дистантным порядком слов.

Среди других основных синтаксических отношений сказуемое отношение выделяется в английском языке еще и тем, что оно сравнительно четко охарактеризовано не только средствами порядка слов, но и формально-флективными средствами. Не говоря уже о некоторых четких флективных моментах в структуре глагола (окончание 3-го лица единственного числа, формы простого прошедшего, специализированные спрягаемые формы вспомогательных и связочных глаголов), здесь еще можно отметить своеобразную взаимную компенсацию в формальном плане, имеющую место между подлежащим и глаголом в 3-м лице настоящего времени. В единственном числе существительное, выступающее в роли подлежащего, лишено окончания, а глагол имеет окончание *-(e)s*. Между тем во множественном числе существительное, выступающее в роли подлежащего, обладает показателем *-(e)s*, а глагол лишен окончания. Хотя по своему происхождению оба эти *-s* совершенно различны и хотя каждое из них утвердилось в своей функции на основе совершенно различных процессов исторического развития английского языка, тем не менее в сложившейся системе они оказались как-то взаимно соотносенными и взаимодополняющими. Ср., например, *a bell rings — bells ring*. Их чередование помогает четкому формальному построению сказуемого сочетания, хотя, конечно, здесь имеются и иные важнейшие средства: порядок слов, употребление артикля.

Наличие в настоящем времени, в 3-м лице, этого специфического формального явления, возникающего в наиболее чистом виде в тех случаях, когда подлежащее выражено существительным, а сказуемое полнозначным глаголом, имеет особое значение потому, что в остальных случаях подлежащее и сказуемое формально обозначены и структурно отгорожены от других грамматических форм слов значительно более четко.

Именно в свете всех этих общеструктурных и конкретно-формальных особенностей сказуемого сочетания в английском языке становится понятной и такая черта этого сочетания, как повышенная внутренняя сплитность, спаянность. Если внутренняя спаянность вообще является существенной чертой синтаксических структур в английском языке¹, то все же здесь возможна и известная градация этой спаянности. В частности, в ряде случаев и в английском языке одна и та же форма одновременно соотносена с разными компонентами в предложении, обладает сочетаемостью к тому же обязательной сочетаемостью, направленной в разные стороны, обпаруживая при этом различную степень сцепленности с этими компонентами.

Как раз этот момент и кажется нам чрезвычайно важным для понимания абсолютного употребления ряда связочных и вспомогательных глаголов в английском языке. Эти глаголы обладают обязательной сочетаемостью и в сторону подлежащего, и в сторону предикатива или дополнения или именной части сложной глагольной формы. Но в силу особой внутренней спаянности сказуемого сочетания, их структурная связь с подлежащим оказывается теснее и нерасторжимее, чем их связь с предикативом и т. д. Теснейшее объединение в одном направлении делает более неустойчивой, более расторгимой связь в другом направлении. И хотя связи вспомогательного или соответствующих глаголов с предикативом, дополнением и именной частью сложной глагольной формы весьма важны (ведь они образуют вместе с предикативом один член предложения — сказуемое, а с инфинитивом и причастием образуют даже сложную форму одного слова), тем не менее они структурно могут обходиться в некоторых случаях без этих форм. Их связь с подлежащим оказывается еще более крепкой².

Вместе с тем в этой сфере в английском языке заметны и противодействующие тенденции. Так, у огромного большинства английских глаголов структурно почти нерасторжимой оказывается связь с дополнением. Здесь, очевидно, проявляется та глубочайшая взаимозависимость между синтаксическим (и даже семантическим) характером

¹ Ср.: В. Н. Ярцев а. Свободное и связанное дополнение в английском языке, сб. «Язык и мышление», т. XI, М.—Л., 1941; е е ж е, Основной характер словосочетания в английском языке. Ср. также Ж. В а н д р и е с, Язык, М., 1937, стр. 89—90.

² Между тем в немецком языке эти связи оказываются по меньшей мере равносильными. Связочный и вспомогательный глаголы не могут структурно целиком переклеститься на сочетание с подлежащим, обособляясь структурно от предикатива и т. д., хотя интонационно-синтагматически они нередко образуют единство с подлежащим.

глагола и дополнением (его наличием или отсутствием, его типом и т. д.), которая свойственна английскому языку¹.

Итак, на наш взгляд, структурная «достаточность» ряда служебных глаголов в английском языке основывается в значительной мере на такой общей закономерности, как наличие особо тесных связей между подлежащим и спрягаемой формой глагола². Возникает вопрос, как это явление соотносится с другими общими тенденциями развития строя английского речи. В этой связи нам кажется возможным предположить, что для рассматриваемых явлений существенными оказались те тенденции к структурному размежеванию важнейших синтаксических компонентов внутри предложения, которые проявляются в целом ряде индоевропейских языков. А. А. Потебня указывал как на важнейший момент в развитии индоевропейского предложения на усиление различий между именем и глаголом. Вместе с тем А. А. Потебня отмечал, что это развитие связано и с общей перестройкой внутри предложения, с растущей формальной дифференциацией членов предложения, обеспечивающей его единство и в усложненном виде³. Правда, для более новых этапов развития индоевропейских языков этот процесс сводится скорее к все более четкому выделению сказуемого (не только глагольного) из числа остальных членов предложения, а в некоторых языках (особенно в немецком языке) возникает резкое противопоставление глагольно-сказуемой группы, охватывающей и организующей все предложение, группе существительного, четко организованной внутри себя. Смысл этих процессов — обеспечение более четкой и наглядной организации предложения в условиях нарастающей сложности его состава.

Выделение одного сочетания — сочетания подлежащего с глаголом — как структурной основы предложения, являющейся его необходимым «минимумом» и резко отличающейся в морфологическом плане от всех остальных типов сочетаний, и оказывается в английском языке проявлением этой общей структурной тенденции в организации предложения. Конечно, само по себе обязательное наличие подлежащего при глаголе соответствует нормам аналитического строя. Но закономерностями аналитического строя нельзя объяснить, например, возможность структурной завершенности предложения при полной лексической невыраженности предикатива.

В. Г. Адмони

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ. I

Русское абрек

С тридцатых годов прошлого века, когда в русскую литературу прочно вошла кавказская тема, русский литературный язык обогатился новым словом: *абрек*. А. Марлинский и М. Лермонтов были среди первых писателей, пустивших его в оборот, то, во всяком случае, наиболее способствовавшими его популяризации⁴.

В «Аммалат-Беке» Марлинского *абрек* встречается неоднократно. Например: «*Абреки*, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясами, и так бросились в сечу...». У Лермонтова в «Бэле»: «Говорили про него [Казбича], что он любит таскаться за Кубань с *абреками*, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья...». «... верно, пристал [Азамат] к какой-нибудь шайке *абреков*, да и сложил буйную голову за Тереком, или за Кубанью...»; «... я ездил с *абреками* отбивать русские табуны...». У Л. Толстого в «Кавказах»: «... казак каждый час ожидал переправы и нападения *абреков* с татарской стороны...»; «Объезд, посланный для розыска *абреков*, застал не-

¹ См. В. Н. Ярцева, Свободное и связанное дополнение в английском языке, стр. 410.

² Нерасторжимость сказуемого сочетания особенно велика с точки зрения глагола. Спрягаемая форма глагола без подлежащего встречается исключительно редко.

³ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, чч. I—II, Харьков, 1888, стр. 534—535, 220.

⁴ Наиболее раннее известное нам упоминание об *абреках* относится к 1743 г.: «В самом том месте живут до тридцати дворов люди и по кабардински называют обрек. А оные суть беглецы ис кабардинцев же и из кумык и такие, которые учинили убийства или другие важные проделзости и оттого збежали в Татарстан...» — см. «Сообщение кизлярского джорданина Алексея Тузова в Коллегии иностранных дел...», в кн. «Материалы по истории Осетии. (XVIII век)», т. I («Изв. Сев.-осет. научно-исслед. ин-та», т. VI), Орджоникидзе, 1934, [печатают: 1933], стр. 34.

сколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. *Абреки* засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми».

Встречается *абрек* и у современных писателей.

«— Кто — мы? Конечно, — разбойники. Мы дома жжем, людей режем, деньги себе берем. Мы *абреки*» (А. Толстой. Необыкновенное приключение Никиты Рощина); «Но пришел отец Ахмета, потомок известных *абреков*, в Адыгею как переселенец отсюда, из предгорной Черкесии...» (А. Первенцев, Кочубей) ¹.

Легко убедиться из приведенных цитат, что словом *абрек* обозначалось определенное понятие из кавказской действительности. Оно мыслилось всегда как неразрывно связанное с Кавказом и не применялось к аналогичным понятиям русской действительности, не становилось синонимом русских слов *разбойник*, *бродяга* и т. п.

При определении содержания слова *абрек* у русских писателей и лексикографов можно заметить две тенденции. Одну можно назвать романтической, другую — реалистической. Начало романтическому представлению об абречестве положил Марлинский в «Амалат-Беке»: «Но что такое *абреки*, Джембулат? — Это не легко тебе растолковать. Бог видний: многие из самых удалых наездников иногда дают зарок, года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не слушать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завета на чужое, не боясь преследований или мести... — Одни [берут такой зарок, — В. А.] просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя».

В этой тираде абрек выступает в ореоле удалства, героизма, отреченности, фанатизма. Трудно догадаться, что речь идет о людях, живущих разбоем. Романтический образ абрека, созданный Марлинским, оказал сильное влияние на последующих писателей и лексикографов.

Е. Э. Дриинский в произведении, посвященном псовой охоте, так характеризует ловчего (руководителя псовой охоты): «Ловчий по призванию, это *абрек*, сорви-голова, жизнь-копейка! Человек на диво другим, человек по воле, по охоте обрешкий себя на труд, на риск, на испытание, на истязание...» («Записки мелкотравчатого»).

В. Даль толкует слово *абрек* следующим образом: «... отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, присавивший для грабежа к первой шайке» ². Здесь дается два определения, из которых первое идет от Марлинского, второе, возможно, от Лермонтова (ср. приведенное выше место из «Бэлы»: «... верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков...»). Под обаянием Марлинского находится еще академический «Словарь русского языка» 1891 г., который так определяет слово *абрек*: «кавказский горец, давший срочный обет или бесстрашно на смерть, мстить кровью за всякую обиду и т. п.».

Более реалистическое понимание слова *абрек* как «разбойник» находим уже у Лермонтова (см. приведенные выше места из «Бэлы»). Л. Толстой в «Казаках», впервые упоминая слово *абрек*, в примечании пишет: «*Абреком* называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека». Здесь точно передано содержание, которое вкладывалось в слово *абрек* русскими, участвовавшими в кавказской войне.

Так же понималось слово *абрек* в среде терского казачества, один из представителей которого М. Караулов в статье «Говор гребенских казаков» дает такое определение: *Абрек* «1) отщепенец, изгой (у туземных племен), человек, порвавший всякие связи с общиной и действующий во всем на свой страх, промышляющий разбоем, головорез, отсюда *абреки* 2) отважные удалцы, перебивавшиеся на левый берег Терека (до завоевания Северного Кавказа) в казацкие земли и врасплох нападавшие на беспечных жителей, занятых полевыми работами и т. п.; разбойники из туземцев (чеченцев, ингушей, кабардинцев)» ³.

Под влиянием Лермонтова, Л. Толстого, может быть, Караулова распространилось неточное понимание абречества как явления, связанного исключительно с кавказскими войнами (в действительности, как увидим ниже, это слово и понятие бытовали у кавказских народов задолго до кавказских войн). В советское время набеги горцев на русские поселения стали рассматриваться уже не как хищничество, а как освободительная война против царских колонизаторов. В связи с этим соответственно изменилось толкование слова *абрек* в наших словарях: «разбойник» превратился в «партизана». В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова и в Акаде-

¹ Выражаем благодарность работникам картотеки русского словаря Института языкознания АН СССР в Ленинграде, любезно предоставившим нам свои материалы по слову *абрек*.

² В. Даль, Толковый словарь великорусского языка, т. I, М., 1935, стр. 2.

³ М. А. Караулов, Говор гребенских казаков, Сб. ОРЯС, т. LXXI, № 7, 1902, стр. 46.

мическом словаре русского языка 1948 г. так и сказано: «Абрек — в эпоху завоевания Кавказа царской Россией — горец-партизан»¹.

Отметим еще, что и в словаре, составленном С. И. Ожеговым (изд. 1949 г.), *абрек* определен неточно как «воинственный горец». *Абреки*, как правило, бывают воинственными, но не всякий воинственный горец зовется *абреком*.

Если мы обратимся к кавказской действительности и спросим, кого называли *абреком* кавказские народы, у которых есть это слово, то мы должны будем признать, что наиболее точное определение будет — «разбойник». *Абрек* — это прежде всего лицо, живущее разбоем. Но как и у других народов, разбойник — не всегда резко отрицательная фигура. Абречество очень часто было формой социального протеста. Угнетенный, не имея сил в открытую бороться с угнетателями, «убегал в абреки» и вел беспощадную борьбу с обидчиками, пользуясь поддержкой и симпатией народных масс. О таких *абреках* составляли хвалебные песни. Абреческие песни широко распространены у кавказских горцев и составляют существенную часть героико-песенного жанра.

В старое время, в условиях родового строя и междоусобной вражды одним из источников, питавших абречество, была кровная месть. Если представитель слабого рода становился кровником более сильной фамилии, ему грозило неизбежное физическое уничтожение. Единственным спасением для него, если не удавалось добиться примирения, было — или переселиться куда-нибудь подальше или бросить все и стать *абреком*.

Таким образом, абречество было, в условиях старого кавказского быта, значительным социальным явлением, имевшим корни в объективной действительности, формой протеста против общественной несправедливости, насилия над личностью. Но все это не снимало основного признака *абрека* — что он жил разбоем. Тем более, что и обычный грабитель, не имевший ничего общего с типом «благородного разбойника», Робин Гуда или Дубровского, также назывался *абреком*.

Установив значение слова *абрек* — «разбойник», мы можем теперь заняться его этимологией.

История появления и распространения этого слова в русской литературе не оставляет сомнения, что оно вошло в русский язык из языков Кавказа. Только в виде курьеза можно вспомнить «этимологию» В. Даля, который (правда, под вопросом) производил *абрек* от *обрекатся*².

В языках Кавказа слово *абрек* в разных вариантах имеет действительно весьма широкое распространение: черкес. *abreg*, кабард. *abräg*, осет. (пронский диалект) *abyræg*, (дигорский диалект) *abæreg*, *abreg*, ингуш. *äbærg*, чечен. *oburg*, авар. *aburik*, груз. (в диалектах) *abragi*, *abrak'i*, *ap'arek'a*³, мегр. *abragi*, сван. *ambreg*.

Встают два вопроса: 1) из какого именно кавказского языка вошло *абрек* в русский язык и 2) какова этимология (происхождение) слова.

Преображенский в «Этимологическом словаре русского языка» утверждает, что русское *абрек* заимствовано из осетинского. При этом он ссылается на устное сообщение В. Ф. Миллера. Версия о заимствовании из осетинского повторена в словаре под ред. Ушакова и в Академическом словаре 1948 г.

М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка»⁴ считает более вероятным, что и русское и осетинское слово усвоены из черкесского, но тут же приводит и осетинскую этимологию В. Ф. Миллера.

Следует сказать, что если бы даже мы согласились с Миллером, что слово этимологизируется на осетинской почве (что, как мы увидим, неверно), заимствование в русский именно из осетинского мало вероятно. Во-первых, обе осетинские формы (*abyræg* и *abæreg*) в звуковых отношениях не вполне подходят к русск. *абрек*, во всяком случае меньше, чем черкесское *abreg*.

Кроме того, реальная обстановка, в какой происходило усвоение в русский язык этого слова, говорит против осетинского языка как непосредственного источника. Несомненно, что слово вошло первоначально в русскую военную и казачью

¹ Ср. противоречивые оценки движения горцев Кавказа в первом и втором изданиях БСЭ. В БСЭ¹, том 61, стр. 804 говорится о «национально-освободительном движении горских народов, направленном против колониальной политики царской России». В БСЭ², том 19, стр. 3 и 269 об этом же движении говорится, что оно «носило реакционный характер...», поддерживалось Турцией и инспирировалось Англией, что боровшиеся против царских войск горцы представляли «агентуру правящих кругов султанской Турции и капиталистической Англии».

² В 4-м издании словаря Даля редактор Бодуэн де Куртене сопровождает эту «этимологию» ироническим восклицательным знаком.

³ В литературном грузинском языке более употребительны другие слова: *qac'axi*, *avazak'i* «разбойник».

⁴ M. Va s m e r. Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Lief. 1, Heidelberg, 1950, стр. 2.

среду в период кавказских войн в связи с нападениями абреческих партий. Но в этих нападениях как раз осетины почти не участвовали. Со времени присоединения Грузии к России осетины считались «мирными» и сколько-нибудь заметного участия в действиях против русских не принимали. М. Караулов, отлично знавший обстановку, говорит об абреках «из чеченцев, ингушей, кабардинцев» (правильнее черкесов), не упоминая об осетинах. Это, конечно, не случайно.

Наиболее вероятным непосредственным источником для русского *абрек* следует признать и по звуковому облику и с точки зрения исторических реалий черкесское *abreg*. Но этим еще ничего не сказано об этимологии слова.

Попытку этимологического разъяснения слова *абрек* сделал В. Ф. Миллер¹. Он производит осетинское *abyræg* от глагола *byryn* «ползти», *abyryn* «уползти», видя в *abyræg* причастное образование со значением «ползущий» (для точности следует сказать, что *abyræg* значило бы «уползший»).

Этимология вызывает серьезные сомнения уже со смысловой стороны. Конечно, разбойнику случается и ползти, но нельзя сказать, чтобы это был его отличительный признак. Особенно мало это подходит к кавказским абрекам, которые не зря рисовались как «удалые наездники» (Марлинский), а не ползающие существа.

Вполне очевидной оказывается несостоятельность миллеровской этимологии с формальной стороны. Дело в том, что если бы *abyræg* происходило от *byryn* «ползти», то в дигорском диалекте мы имели бы соответственно *raburæg* (приставке *a-* иронского диалекта отвечает *ra-* в дигорском, а основа глагола имеет огласовку *u:* *bur*). В действительности имеем *abæreg*, что не может быть поставлено ни в какую связь с *bur*-«ползти»².

Результатом какого-то недоразумения является этимология, которую дает в цитированной выше работе о гонимых гребенских казаков М. Караулов: «араб. *ābrāk* „смелый“ от *bārākā*». В арабском есть корень *brk* «благославлять» и *brq* «блистать», но о таком же корне со значением «смелый» и т. п. ничего не известно.

Мы думаем, что слово *abreg* и его разновидности родственны другому известному в некоторых языках Кавказа слову: *avara* «бродяга» (груз. *āvāra*, армян. *avara*, ср. груз. *avari*, армян. *avar* «добыча»). Происхождение *āvāra* хорошо известно. Оно усвоено из ново-перс. *avara* «бродяга». Ново-перс. *avara* восходит закономерно к среднеперсидскому **āpārak* «грабитель» от *āpārtan* «грабить». К этой среднеперсидской форме и восходят в конечном счете разновидности слова *абрек*: груз. *aparek'ā*, *abrak'i*, осет. *abæreg*, черк. *abreg* и пр.⁴.

Иначе говоря, персидские слова были усвоены языками Кавказа дважды. Сперва в среднеперсидский период из **āpārak*; отсюда формы *abrak*, *abarek*, *aparek* и др.; потом в новоперсидский; отсюда груз., арм. *avara*:

ср.-перс. * <i>āpārak</i>	→	ново-перс. <i>avara</i>
↓		↓
груз. <i>ap'arek'</i> , <i>abrak</i>		груз. <i>avara</i>
осет. <i>abæreg</i>		арм. <i>avara</i>
черк. <i>abreg</i> и пр.		

Русское *слам*

Слам — слово жаргонное. В старое время оно было употребительно в речи маклаков, перекупщиков, биржевых дельцов, мазуриков и пр. Основное значение — «барыш, добыча», затем — «доля барыша или добычи, отдаваемая конкурентам в виде отступного или представителям власти в виде взятки» и т. п.

Даль дает такое объяснение: «срыв за то, чтобы отстать, не набивать цену, передать взятую работу и пр. *Взять сламу*»⁵. Иначе говоря, Даль имеет в виду более узкое значение «отступные». В «С.-Петербургских ведомостях» за 1870 г. № 36 приводится

¹ Сперва в ЖМНП (1886, октябрь, стр. 249—250), потом повторно в его работе «Die Sprache der Osseten» («Grundriss der iranischen Philologie», 1903, стр. 62).

² Г. Шмидт (G. Schmidt, Über die Kaukasischen Lehnwörter des Karatschajischen, «Liber Semisaecularis Societatis Flenno-Ugricae», Helsinki, 1933, стр. 466 и сл.) также отвергает этимологию Миллера, указывая как на последний источник на грузинское *abrak'i*, мегрельское *abragi*. Однако последние сами нуждаются в разъяснении.

³ Из персидского оно попало в другие языки, в том числе новиндийские и в настоящее время получило широкую известность благодаря индийскому фильму «Бродяга» («Avara»).

⁴ Г. Гюбшман (H. Hubschmann, Etymologie und Lautlehre der Ossetischen Sprache, Strassburg, 1887, стр. 119) с неоправданным сомнением относится к связи между *abyræg* и *avara*.

⁵ В. Даль, Толковый словарь, т. IV, стр. 218.

употребление этого слова специально в речи маклаков: «Маклаки торговцы покупают продаваемое имущество компанией или, по употребляемому ими выражению, в *сламу*... Если на продажу является посторонний покупатель, то компания маклаков предлагает ему тот час же итти с ними в *слам* или взять отступного и не торговаться»¹.

В силу своей жаргонной специфики слово *слам* не получило доступа в «большую» литературу. Но все же оно встречается у некоторых писателей, знакомых с бытом тех слоев городского населения, в среде которых бывало это слово, — у М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. В. Крестовского.

«—Ишь, ишь, ишь! адвокатов-то что собралось! — возопил он [Прокон]. — Это они *слам* делают!

— Какой еще *слам*?

— Такой и *слам*, что один какой-нибудь возьмет всю тушу за себя, примерно хощь за сто тысяч — ну, пятьдесят себе оставит, а пятьдесят на драку». (Н. Шедрин. Культурные люди); «Ты с гостей, с мужичи бери *сламу*, а с нашей сестры грешно; нам откуда взять!» (В. В. Крестовский. Петербургские трущобы); «Нынче Летуний утарно прокучивал выгодный *слам* с большого воровского дела, направо и налево, без толку соря своими деньгами» (там же).

У Крестовского же встречаются «блатные» выражения: *слам тырбанить* в смысле «распределять вырученную сумму между участниками», *слам юрдонить* «добычу прогнупывать» и др.

Составитель новейшего русского этимологического словаря М. Фасмер наряду с устойчивой лексикой русского литературного языка широко, хотя и несколько бессистемно, ввел в свой словарь также жаргонные и областные слова. Дано у него и слово *слам*. Фасмер полагает, что это слово образовано от *сломить* («зи с- und ломить» [brechen])². Он исходит, очевидно, из семантики «дележа (добычи)». Однако, как видно из реального употребления слова, стерженным его семантики является не идея «дележа», а идея «барыша, добычи». От Фасмера ускользнула очевидная связь слова *слам* с тюркским *aslam* «выгода», «прибыль», «барыш», «проценты»³. Это тем более странно, что Фасмер дает также областное русское *ослам* «барыш», «взятка», «проценты», «могарыч», правильно производя его от тюркского *aslam*.

Нет сомнения, что *ослам* и *слам* это два рефлекса одного и того же тюркского слова, бывавшие в разной среде и несколько разошедшиеся и по значению, и по внешнему облику. Расхождение значений настолько незначительно, что на нем не стоит останавливаться.

Что касается отпадения начального гласного в *слам*, то такое явление не чуждо русскому и вообще славянским языкам, в частности в заимствованных словах. Например, *лошадь* из тюркского *alaşa, lachuga* из тюрк. *alaşi* γ (ср. др.-русск. *алачуга*). Еще более показательное славянское *слон* (с начальной группой *сл-* как *слам*). Объяснение *слон* из *прислоняться* (Преображенский и др.), так как, мол, слон спит, прислонившись к дереву, явно искусственно. Оно смахивает на объяснение *абрек* от *обрекатся*. Наиболее убедительным из предложенных этимологий для слова *слон* остается заимствование из тюркского *aslan* «лев», и Фасмер прав, отдавая предпочтение этой этимологии⁴.

Кажется странным перенос значения «лев»→«слон», но подобные семантические курьезы бывают с названиями животных, когда данная среда весьма смутно представляет их, так как соответствующие животные являются для нее экзотическими. Фасмер приводит в виде аналогии славянское название верблюда, которое через германское посредство восходит к названию слона (гр. ἐλέφαντ-). Еще более разительную параллель можно привести из осетинского языка, где название з у б р а *dombaʒ*, засвидетельствованное в этом значении в ряде кавказских языков, в современном употреблении стало озячать... «де в»! Связующим семантическим звеном явилось несомненно смутное представление о каком-то мощном, сильном животном. Это же представление лежит в основе передвижения значения «лев»→«слон» в славянском.

Нам представляется, что связывать русское *слам* с *сломить* неправильно; *слам* восходит к тюркскому *aslam* с такой же судьбой начального гласного, как в *слон* из *aslan*⁵.

В. И. Абеев

¹ См. Я. Грот, Филологические разыскания, ч. I, 4-е изд., СПб., 1899, стр. 425.

² М. V a s m e r, указ. словарь, Bd. II, Lief. 18, Heidelberg, 1955, стр. 657.

³ В. В. Р а д л о в, Опыт словаря тюркских наречий, т. I, вып. 2, СПб., 1889, стб. 547.

⁴ М. V a s m e r, указ. словарь, Bd. II, Lief. 18, стр. 663 и сл.

⁵ Любопытно, что тюркское *aslan* «лев» и в осетинских фамильных именах отложилось в двух формах: *aslæn* (фамилия *Aslænatæ*) и *slon* (фамилия *Slonatæ*).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУФФИКСА ЛИЦА -ЩИК(-ЧИК)

Суффикс *-щик* (*-чик*), наряду с другими суффиксами лица *-ик*, *-ец*, *-ист*, *-тель*, в современном языке является одним из самых продуктивных¹. Некоторое представление об этом могут дать следующие показатели. Из 5400 имен лица, зарегистрированных в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, 15% приходится на долю имен с суффиксом *-щик(-чик)*, 13,5% — с суффиксами *-ик* и *-ник*, 7,4% — с *-ец*, 6,9% — с *-ист*, 5,5% — с *-тель*. Таким образом, почти половина (48,3%) имен лица образована с участием пяти упомянутых суффиксов, среди которых первое место принадлежит суффиксу *-щик(-чик)*.

С участием этого суффикса производятся почти все суффиксальные имена лица по производственно-техническим специальностям (*арматурищик*, *бетонщик*, *распиловщик*, *обрезчик* и т. п.). Из 158 имен лица, помещенных во втором томе словаря Д. Н. Ушакова, нами найдено было лишь 12 слов (т. е. 7,6%), которые не обозначают названий лиц по профессии: *миллионщик*, *ноctalщик*, *наговорищик*, *начетчик*, *обманщик*, *отказчик* и др. В этих словах отчетлива экспрессивная окрашенность, в отличие от профессионализмов, которые, как правило, стилистически нейтральны и являются терминами. В восьмью выпусках «Тарифно-квалификационного справочника» работников производства средств связи даны 446 названий лиц различных профессий, из которых 347 слов, т. е. около 78% от общего количества, образовано при помощи суффикса *-щик(-чик)*². В пособии для разработки материалов Всесоюзной переписи населения в разделе «Занятия металлургов»³ указано 2405 названий лиц по металлургическим профессиям, из них 1678 слов на *-щик(-чик)*, т. е. около 70%. Приведенные примеры (число которых можно было бы значительно умножить) свидетельствуют об исключительной распространенности суффикса лица *-щик(-чик)* в сфере производственно-технической лексики и терминологии. Именно здесь обнаруживаются определенные словообразовательные тенденции этого суффикса.

Прежде всего следует отметить тенденцию вытеснения суффикса *-ик(-ник)* суффиксом *-щик(-чик)*⁴ (в кругу имен лица). Например, в словаре В. Даля, в котором, как известно, богато представлена ремесленно-промышленная лексика, встречается очень много синонимических соответствий такого типа: *бисерник* — *бисерщик*, *должник* — *долыщик*, *зеркальник* — *зеркальщик*, *икряник* — *икрянщик*, *свиерельник* — *свиерельщик*, *суконник* — *суконщик* и мн. др. Оба слова, входящие в каждую такую пару, равноправны и в словообразовательном отношении одинаково правомерны. Однако словари Ушакова и Ожегова, а также другие современные источники (в частности, тарифно-квалификационные справочники), свидетельствуют, что суффикс *-ик(-ник)* в кругу имен лица вытесняется суффиксом *-щик(-чик)*. Так, из следующих пар: *будильник* — *будильщик*, *должник* — *долыщик*, *должник* — *долыщик*, *должник* — *долыщик*, *игольник* — *игольщик*, *зеркальник* — *зеркальщик*, *жалобник* — *жалобщик*, *икряник* — *икрянщик*, *суконник* — *суконщик* и др. в современном языке остались лишь слова с суффиксом *-щик(-чик)*, вытеснившие имена лица с синонимичным суффиксом *-ик(-ник)*. Если же оба слова пары живут в современном языке, то, как правило, слово на *-ик(-ник)* или приобретает предметное значение (*будильник*, *игольник*, *должник*, *долыщик*) или, если и остается в сфере имен лица, то утрачивает значение агентивности (*изменник*, *печальник*, *поклонник*).

В словаре Ушакова есть синонимические пары упомянутого типа, но здесь их значительно меньше, чем в словаре Даля; они в сущности единичны: *жестяник* — *жестящик*, *игольник* — *игольщик*, *котельник* — *котельщик*, *тулунник* — *тулунщик*, *хомутник* — *хомутчик*. А в словаре Ожегова из этих четырех пар попал единственная: *жестяник* — *жестящик*; в остальных случаях приводятся только слова с суффиксом *-щик(-чик)* (например, *котельщик*⁵).

¹ Ср. Г. С. Зенков, О закономерностях суффиксального образования имен существительных в современном русском языке. (На материале новообразований советской эпохи). Канд. диссерт., М., 1953, стр. 119—120, 193. Об истории суффикса см.: С. И. Лобанов, Из истории имен существительных с агентивным суффиксом *-щик* (XIV—XVII вв.). Канд. диссерт., М., 1950.

² См. «Тарифно-квалификационный справочник», вып. I—VIII, М., Мин-во пром-ти средств связи СССР, 1950.

³ См. «Систематический словарь занятий. Пособие для разработки материалов Всесоюзной переписи населения 1939 г.», Л., 1939, стр. 66—88.

⁴ Суффиксы *-ик* и *-ник* являются хотя и близкородственными, но, конечно, разными по своим словообразовательным особенностям. В данной статье мы их объединим и обозначаем как *-ик(-ник)*, так как оба эти суффикса одинаково ведут себя по отношению к рассматриваемой словообразовательной тенденции суффикса *-щик(-чик)*.

⁵ Ср. также «Тарифно-квалификационный справочник. Металлообрабатывающая промышленность», М., КОИЗ, 1950, стр. 78—79.

Таким образом, суффикс лица *-ик(-чик)*, в современном языке очень продуктивный и распространенный, в сфере профессиональной лексики вытесняется суффиксом *-щик(-чик)*. Указанная тенденция объясняется потребностью семантического ограничения слова со значением лица от слова со значением не-лица. Дело в том, что суффикс *-щик* имеет только одно основное значение¹, а именно агентивное, в отличие от суффикса *-ик*, имеющего различные значения, в том числе и предметное. Правда, суффикс *-чик*, являющийся фонетическим вариантом суффикса *-щик*¹, имеет омоним — уменьшительно-ласкательный суффикс *-чик* в словах типа *красачик, стульчик, огурчик* и т. п. Однако оба омонимных суффикса резко различаются по значению и легко распознаются (ср. *буфетчик — огурчик*).

О возрастающей продуктивности суффикса *-щик(-чик)*, в особенности в наименовании лиц по профессиям, свидетельствуют показания тарифно-квалификационных справочников. Чем новее, современнее какая-либо отрасль производственной деятельности человека, тем больше соответствующих наименований лиц по профессиям образовано при помощи суффикса *-щик(-чик)*. Так, сельскохозяйственная терминология, включая сюда и названия лиц по роду деятельности, в целом возникла значительно раньше, чем терминология, например, таких ведущих отраслей промышленности, как металлургия, приборостроение, нефтяная промышленность, не говоря уже о самолетостроении, электроэнергетике, производстве радиоаппаратуры. И в 535 названиях лиц сельскохозяйственных профессий насчитывается 113 слов на *-щик(-чик)*, т. е. всего только 21%². Правда, при этом следует учитывать обозначившуюся в сельскохозяйственной терминологии тенденцию образовывать наименования лиц посредством сложения с участием, в качестве опорной, морфемы *-вод*³. В так называемых «сквозных» профессиях имен лица на *-щик(-чик)* значительно больше, чем в сельскохозяйственной терминологии, однако им не свойственно то явное преобладание в коллестивном отношении, которое столь характерно для новейших отраслей промышленного производства, так как в терминологии «сквозных» профессий живет много слов давнего образования: *бондарь, дворник, источник, колесник, конюх, кузнец, печник, столяр* и т. п. В справочнике «сквозных» профессий⁴ зафиксировано 75 названий лиц, из них 32 слова на *-щик(-чик)*, т. е. 43%. В наименованиях же лиц, занятых, например, в такой современной отрасли, как приборостроение, слова на *-щик(-чик)* составляют более 84%⁵. А в названиях лиц по профессиям в металлургии и в производстве средств связи слов на *-щик(-чик)* насчитывается соответственно 70% и 78%⁶.

При сравнении терминологических эквивалентов — названий лиц по соответствующим профессиям — всегда оказывается, что более новым, современным является слово на *-щик(-чик)*. Например, такие слова, как *горновой, сноваль, строгаль, каталь, штопаль* и мн. др., являются более архаичными, чем заменившие их соответствующие имена лица на *-щик(-чик)*: *горновщик, сновальщик, строгальщик, катальщик, штопальщик (-ица)*⁷.

Суффикс *-щик(-чик)* становится по существу единственным выразителем агентивности. В самом деле, например, суффикс лица *-ец* в качестве агентивного функционирует только в таких словах, как *боец, купец, гонец, ловец, косец, гребец*, т. е. в совсем непродуктивном типе слов. Правда, есть некоторые типы новых имен лица с суффиксом *-ец*, имеющих агентивное значение. Ср., например, такие новообразования, как *орденоносец, медаленосец*. Ср. также неологизм В. Маяковского *пролетариатоводец*, и характерные сатирические образования М. Е. Салтыкова-Щедрина *белибердоносец, надеждоносец, фиговидец*. Но эти образования весьма немногочисленны; кроме того, следует иметь в виду также и то обстоятельство, что слова типа *орденоносец*, собственно, являются не суффиксальными образованиями, а словами, произведенными одной из

¹ По своему значению *-щик* и *-чик* тождественны; выбор какого-либо из вариантов целиком определяется фонетическими условиями. Подробнее об этом см., например, А. Демелтьев. Агентивные суффиксы *-щик, -чик* в русском языке, «Уч. зап. Куйбышевск. гос. пед. и учит. ин-та», вып. 2, 1938, стр. 154—156. О специфике сочетаний согласных на грани суффикса и производящей основы см. N. T r u b e t z k o y, Das morphologische System der russischen Sprache, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1934, 52.

² См. «Систематический словарь занятий», стр. 48—53.

³ Ср. значительную продуктивность и очень большую распространенность морфемы *-вод* в наименованиях лиц по профессиям в области сельского хозяйства: *животновод, овцевод, овощевод, табаковод, чаевод, цитрусовод* и т. п.; см. об этом, например, В. П. Григорьев. О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, № 4, стр. 50—51.

⁴ «Тарифно-квалификационный справочник. Сквозные профессии», М.—Л., Гизместпром, 1939, стр. 174—176.

⁵ См. «Тарифно-квалификационный справочник. Приборостроение», М., Оборонгиз, 1943.

⁶ См. «Систематический словарь занятий».

⁷ Там же, стр. 77—117.

разновидностей сложения — суффиксированным основосложением, при котором слово образуется посредством одновременного и взаимосвязанного участия сложения и суффиксации. Во всех же продуктивных типах имен лица на *-ец*, образующий суффикс лишен агентивного значения; ср. наименования лиц по местности (*ленинградец, краснодарец, тибетец, новозеландец*), слова на *-ец* от *-ение* (*выдвиженец, просвещенец*), наименования лиц по их принадлежности к идейному или иному направлению, связанному с именем какого-либо деятеля (*ленинец, мичуринец, чапаевец, петрашевец*), образования типа *ростсельмашевец, метростроевец, вузовец*, а также слова типа *динамовец, спартаковец* и т. д.

То же следует отметить и в отношении суффикса *-ик(-ник)*. Новообразования с этим суффиксом лишены (или почти всегда лишены) агентивного значения. В них возобладали значения качественной оценки (*общественник, отличник*), социальной (в широком смысле) характеристики лица (*безлошадник, производственник, льготник, допризывник*), профессии (*троллейбусник, операционник, вагонник, глазник*) и др.

Что касается агентивного суффикса лица *-тель*, то он, обладая совершенно незначительной продуктивностью, в современном языке почти не дает новообразований (ср. новое *испытатель, оформитель*)¹. Суффиксы *-арь* (*токарь, пекарь, пахарь*), *-аль* (*каталь, макаль, дрогаль*), *-ач* (*толкач, ткач, трепач*), *-ак* (*возжак, резак*), *-ок* (*ходок, стрелок, знаток, видок*), *-ун* (*крикун, прыгун, цапун, шептун, плясун*), *-ух* (*пастьух*), *-атай* (*глашатай, ходатай, соглаждатай*) в современном языке непродуктивны и новообразования не дают. Такие же единичные и в словообразовательном отношении изолированные образования, как *избач, циркач, ератарь*, конечно, сути дела не меняют. Интернациональный агентивный суффикс *-тор* проявил свою продуктивность во взаимодействии с русскими основами в сравнительно незначительном количестве слов (ср. *яровизатор, озимизатор*).

Таким образом, суффикс лица *-щик(-чик)*, один из моносемантических продуктивных суффиксов, так сказать, «монопольно использовал» в современном языке функцию выражения агентивного значения. Нам представляется, что указанные особенности суффикса *-щик(-чик)* являются частным выражением тенденции к сосредоточению процессов словообразования на сравнительно немногих, но зато особо продуктивных типах².

Наконец, следует отметить еще одну свойственную рассматриваемому суффиксу особенность — распространение его агентивного значения с лица на предмет. Как и *-тель*, *-щик(-чик)* возник вначале только как суффикс лица, но в отличие от *-тель*, который (правда, в качестве исключения) может формировать слова с отвлеченным значением качества-свойства, он распространяет свои значения только на названия конкретных вещей. Собственно, как и *-тель*, суффикс *-щик(-чик)* при этом расщепляется на два омонимных: *-щик(-чик)* со значением лица и *-щик(-чик)* с предметным значением. Слов на *-щик(-чик)* с предметным значением насчитывается мало; А. Дементьев в указанной выше статье называет всего пять таких слов: *трамвайщик, бомбардировщик, передатчик (радиопередатчик), счетчик (электросчетчик)* и *пищик* «дудочка». Относительно последнего слова, правда, есть основания сомневаться: образующий суффикс здесь не *-щик*, а скорее *-ик* (ср. *писк, пиц-а-ть, пиц-у*, а следовательно: *пиц-ик*). У Г. С. Зенкова отмечены еще *пикировщик, буксировщик, корректировщик, укладчик*³. К названным словам можно было бы прибавить и некоторые другие. Например: *метчик* (в значении лица и инструмента; см. словарь Ушакова, II, стр. 203), *резчик* (в значении лица и режущей части инструмента; Ушаков, III, стр. 1326), *автопогрузчик* (в словаре Ожегова, стр. 13, для этого слова указано только значение машины). Ср. новообразование *топливозаправщик*, не отмеченное в словарях: «Сигарообразный фюзеляж весом в десятки тонн высоко поднят над землей. Под ним, описывая дугу, свободно катит топливозаправщик»⁴. Ср. также слово *подборщик*: «Поставить в 1956—60 гг. сельскому хозяйству... 400 тыс. подборщиков к комбайнам...»⁵.

Таким образом, можно видеть, что суффикс *-щик(-чик)*, являющийся специфической принадлежностью русского языка и не имеющий своих соответствий во всех других славянских языках, обнаруживает очень большую и разнонаправленную словообразовательную активность.

А. Г. Лыков

¹ См. об этом, например: Н. М. Ш а н с к и й, Основы словообразовательного анализа, М., Учпедгиз, 1953, стр. 5.

² Ср. высказывание акад. В. В. Виноградова: «Бросается в глаза свойственное современному русскому языку стремление сосредоточить образование имен существительных, обозначающих отвлеченные понятия, в системе нескольких, четырех-пяти продуктивных типов» («Современный русский язык. Морфология [Курс лекций]», под ред. В. В. Виноградова [М.], 1952, стр. 117).

³ Г. С. З е н к о в, О закономерностях суффиксального образования имен существительных в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1954, стр. 23.

⁴ «Правда» 31 III 56.

⁵ «Правда» 15 I 56.

К ВОПРОСУ О ВОЗВРАТНЫХ И УСИЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ И О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛАХ» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В нормативных грамматиках современного английского языка все еще смешиваются возвратные и усиительные местоимения, совпадающие только по форме. Так, по мнению И. А. Грузинской, «возвратные местоимения имеют два следующих значения: 1) перехода действия на само действующее лицо...; 2) подчеркивания того, что действие совершено самим данным лицом без посторонней помощи...; в этих случаях возвратное местоимение соответствует русским (разрядка наша. — З. Ф.) *сам, сама, само...*»¹. Такая подмена одних местоимений другими при определении их функций является необоснованной. Чем же отличаются возвратные местоимения от усиительных?

Возвратные местоимения стоят в предложении после глагола, так как выступают в роли дополнения. Они могут выполнять в предложении функцию прямого (*He shaved himself in the morning*), косвенного (*He put himself a question*) и предложного (*He has done it for himself*) дополнения. Кроме того, возвратные местоимения могут: а) выполнять функцию обстоятельства образа действия — «... everything was cooked by itself» (M. Twain, *The adventures of Huckleberry Finn*) «... каждая вещь была сварена сама по себе»; б) входить в состав оборота «объектный падеж с инфинитивом» — «... the dogs could not bring themselves to give way to him» (J. London, *White Fang*) «... собаки не могли заставить себя уступить ему дорогу». Особый случай представляет идиоматическое употребление возвратного местоимения (см. ниже).

Возвратные местоимения указывают на то, что действие (или состояние), выражаемое глаголом, не переходит на какой-либо объект, а «возвращается» к субъекту или замыкается в сфере субъекта: «Nobody could spread himself like Tom Sawyer in such a thing as that» (M. Twain, *The adventures of Huckleberry Finn*) «В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Сойера». В тех случаях, когда возвратные местоимения являются вторыми объектами при глаголе, они косвенно уточняют соотношенность процесса, например: «But is the Postmaster General a sorcerer or a wizard that can know beforehand what is to be printed in the future issues of a newspaper, or is it merely a way for him to save himself time and trouble?» (T. Dreiser, *The American tragedy*) «А разве министр почты колдун или ясновидец, что берется судить о содержании невышедших номеров газеты? Или это для него просто способ заранее избавить себя от хлопот?».

Основное значение усиительных местоимений — это выделение лица, производящего действие. В отличие от возвратных местоимений, они не могут быть дополнениями и главным образом выполняют служебную роль усиляющего, подчеркивающего слова со значением «alone», что передается русскими словами *сам, сама, само, сами* в смысле «без постороннего вмешательства». Они могут: а) усиливать значение подлежащего в предложении, и тогда они стоят либо непосредственно за данным подлежащим, либо в конце предложения. Например: «Weedon Scott himself put the harness on the White Fang» (J. London, *White Fang*) «Видон Скотт сам надел упряжь на Белого Клыка»; «Well, I was getting to feel that way myself» (M. Twain, *The adventures of Huckleberry Finn*) «Ну, я и сам начинал так думать»; б) усиливать значение именной части составного сказуемого (*This was father himself*) или дополнения (*We have spoken with father himself*). Усижительные местоимения, помимо своего основного значения «alone», выражают иногда иную мысль — *for my part* «что касается меня, с моей стороны». В этих случаях *self*-форма выделяется запятыми, как обособленный член предложения: «I couldn't altogether make out why, myself, as we were not stationary here...» (Ch. Dickens, *Hard Times*) «Что касается меня, я вовсе не понимал... ведь мы здесь не заживемся».

Таким образом, английские возвратные и усиительные местоимения представляют собой местоимения разных типов.

*

Некоторые советские языковеды, следуя традиционной точке зрения в истолковании сочетаний английских глаголов с возвратным местоимением, придерживаются того мнения, что такое сочетание образует возвратный глагол (*The boy fell and hurt himself*)².

Если сочетание «глагол+возвратное местоимение» считать возвратным глаголом, то возвратное местоимение фактически перестает быть таковым; оно должно превра-

¹ И. А. Грузинская, Грамматика английского языка для старших классов средней школы, М., 1954, стр. 46.

² См. М. М. Ganshina and V. Vasilevskaya, *English Grammar*, М., 1953, стр. 150.

тятся в глагольный формант, формирующий элемент грамматической категории возвратности. В действительности же, как мы уже говорили, возвратное местоимение — это дополнение, выражающее объект. Возвратное местоимение в функции прямого дополнения не является, однако, самостоятельным в такой степени, как другие дополнения (например, *the child* в *he dressed the child* и т. д.). Это, во-первых, выражается в том, что оно, как правило, самостоятельно не употребляется (на вопрос: *Whom did he dress?* вряд ли можно ответить: *himself*) и, во-вторых, в том, что невозможно построить предложение в пассивной форме со словом *himself* в роли подлежащего (нельзя вместо *He dressed himself* сказать *Himself was dressed by him*).

В сочетаниях «глагол + возвратное местоимение» местоимение — объект, ограничивающий в той или иной мере действие субъекта. В зависимости от лексического характера глагола сочетание этого глагола с возвратным местоимением передает различные оттенки возвратности — от собственно возвратности до весьма широкой общей субъектной соотнесенности (ср. *he washes himself, he saw himself in the mirror, he told himself «по»* и т. д.). Возвратное местоимение в сочетании с глаголом, выражая своеобразный оттенок субъектной инклюзивности, выполняет функцию служебного слова; выступая же в предложении в роли дополнения, оно выполняет функцию знаменательного слова. Совмещая в себе свойства знаменательного и служебного слова, возвратное местоимение выявляет двойственный характер. Если же сочетание «глагол + возвратное местоимение» считать возвратным глаголом, то роль местоимения сводится лишь к служебной функции; знаменательная же его функция остается нераскрытой.

От характера связи возвратного местоимения с глаголом зависит прочность этого местоимения при глаголе. При построении предложения с переходным глаголом без соответствующего возвратного местоимения опущение этого местоимения указывает на возможность одного только типа объекта при этом глаголе, т. е. возвратного местоимения. Эта необходимость постановки возвратного местоимения приводит к наличию в современном языке параллельных образований типа *I dressed myself quickly* и *I dressed quickly*.

Нам все же представляется возможным выделить три случая обязательного употребления возвратных местоимений при глаголах возвратного значения, а именно:

1. Возвратные местоимения употребляются в тех сочетаниях «глагол + возвратное местоимение», в которых четко определена знаменательная функция местоимения, выступающего в роли самостоятельного члена предложения (дополнения). По своему значению эти местоимения часто соответствуют русскому *себя*, не тождественному аффиксу *-ся* (*-сь*), и большей частью употребляются после таких переходных глаголов, как: *to ask, to force, to lift, to tell, to abandon, to reduce, to call, to describe, to devote, to stuff, to see, to deliver, to apply, to adjust, to defend, to amuse, to expose, to pick, to pierce* и др. Например: «... for each had asked himself: „Come, now, should I have paid that visit in that hat?“ and each had answered „No“» (J. Galsworthy, *The man of property*) «... Каждый из них задавал себе вопрос: „Ну, а вот, например, я — пошел бы с таким видом да в такой шляпе?“ И каждый отвечал: „Нет ...“»

Значение возвратности в подобных глаголах является не обычным, а эпизодическим, опциональным, появляющимся при особой ситуации, в определенном контексте. Ср. *to force* — переходный глагол, обычно со значением «заставить кого-нибудь (не себя) что-нибудь сделать»; *to lift* — переходный глагол, действие которого переходит, как правило, на объект, не совпадающий с субъектом. Поэтому отсутствие возвратного местоимения во всех указанных случаях неизбежно вело бы к нерасчлененности высказывания.

К этой же группе относится ряд сочетаний глагола с возвратным местоимением, указывающий на замыкание действия в сфере субъекта и соответствующий русским глаголам с аффиксом *-ся* собственно-возвратного значения (*порезаться, повеселиться, удариться* и пр.). Обычно эти сочетания указывают на процессы, вызывающие острые физические реакции человека: *to cut oneself, to hang oneself, to hurt oneself, to torment oneself, to bruise oneself, to entrench oneself*. Без возвратного местоимения данные глаголы совершенно теряют свойства возвратности и превращаются в обычные переходные глаголы (*резать, сечь, ударить* и пр.).

2. Возвратные местоимения употребляются в устойчивых фразеологических единицах, например во фразеологических сращениях: *to bring oneself home* «оправиться» (после денежных затруднений), *to pull oneself together* «взять себя в руки». Местоимение *oneself* в подобных выражениях совершенно необходимо. Опущение его приводит либо к распаду фразеологической единицы, либо к потере прежнего смысла. (Ср. эти же примеры без *oneself*: *to bring home* «приносить домой», *to pull together* «тащить вместе».)

3. Кроме того, возвратное местоимение сохраняется после глаголов: *to bestir* — *to bestir oneself* со значением «пачпнать энергично действовать» и в повелительном на-

клонении *bestir yourself!* «пошевеливайся(-тебя)!»; *to betake* со значением «прибегать к чему-либо». «отправиться (удалиться) куда-либо» (с предлогом *to*): «Upon this, Mr. Childers politely betook himself... to the landing outside the door» (Ch. Dickens, *Hard Times*). «Мистер Чайлдере из вежливости удалился... на площадку за дверью...»; *to bethink* «вспомнить», «подумать» (с предлогом *of*): «...Bill had bethought himself of the rifle» (J. London, *White Fang*) «Билл вспомнил о ружье».

Известно, что в современном английском языке есть ряд, обычно переходных, глаголов, которые в контексте могут употребляться в значениях возвратных, причем возвратное местоимение при них необязательно (*to dress, to wash, to shave, to bathe* и др.). Имея в виду эту категорию глаголов, мы могли бы согласиться с мнением Б. А. Ильиша о том, что «опущение возвратного местоимения возможно лишь при глаголах, обозначающих привычные, часто повторяющиеся действия»¹. Но суть дела, видимо, не только в привычных действиях, выраженных тем или иным глаголом, а в семантических оттенках, зависящих от сочетания глагола с местоимением. Так, например, *to dress oneself up* может указывать на действие субъекта — процесс одевания, а *to dress up* на манеру одевания, на форму одежды. Ср.: а) *She dresses herself up like an old woman*, б) *She dresses up like an old woman*. В первом случае речь идет о том, что «она одевается, как старуха», т. е. медленно, а во втором, что «она одевает (носит) платье, ничем не отличающееся от платья старухи», т. е. немодное.

Таким образом, возвратное местоимение в сочетании с глаголом может выступать как элемент, модифицирующий семантику данного глагола.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Не следует допускать смешения возвратных и усиленных местоимений, выпадающих в современном английском языке по форме, но совершенно различных и по значению, и по функциям.

2. Характерная особенность английских возвратных местоимений — их двойственный характер, т. е. способность совмещать в себе свойства знаменательного и служебного слова.

3. Учитывая специфику английских глаголов и их сочетаний с возвратными местоимениями, не следовало бы утверждать, что в современном английском языке существуют возвратные глаголы, которые якобы образуются путем прибавления возвратных местоимений к переходным глаголам. Нам представляется более правильным говорить не о возвратных глаголах, а о глаголах, имеющих возвратное значение в условиях контекста.

4. В современном английском языке следует разграничивать случаи обязательного и необязательного употребления возвратных местоимений при глаголах возвратного значения. Необязательное употребление этих местоимений зависит в значительной степени от того, сопровождается ли употребление глагола специфической семантикой или особой экспрессией.

З. И. Футерман

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗНАЧЕНИИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ФОНЕТИКИ

В № 4 ВЯ за 1956 г. была помещена заметка В. А. Вайткевичуте по поводу некоторых положений очень интересной и важной статьи И. И. Цукермана «Преподавание фонетики русского языка литовцам» (см. ВЯ, 1955, № 5). Эта заметка, вопреки желанию ее автора, может дать повод к отрицанию того большого значения, которое имеет сопоставительная фонетика для изучения звуковой системы каждого из сопоставляемых языков. Такой вывод был бы, разумеется, глубоко ошибочным, тем более, что большую часть наблюдений и положений И. И. Цукермана В. А. Вайткевичуте не оспаривает.

Как известно, акад. Л. В. Щерба видел общеобразовательное значение иностранных языков между прочим в том, что изучение их позволяет глубже понять особенности родного языка. Это относится, конечно, и к фонетике. Наблюдения над произношением чужого языка позволяют иногда увидеть такие фонетические черты в родном языке, которые в других условиях могут остаться незамеченными. Статья И. И. Цукермана хорошо иллюстрирует сказанное. Даже в отношении ассимиляции по звонкости и глухости, где автор не прав, к сообщаемым им фактам нужно отнестись с полным вниманием. Если, как показывает В. А. Вайткевичуте, отличие литовского произношения

¹ Б. А. Ильиш, Современный английский язык, М., 1948, стр. 194.

от русского заключается не в неполном озвончении или оглушении, то это означает лишь, что нужно искать сущность этого отличия в чем-то другом, может быть, менее уловимом.

Что касается вопроса о твердых и мягких согласных, то мнение обоих авторов, одинаково считающих, что эти согласные фонематически противопоставляются в литовском языке, остается недоказанным. Отсутствие мягких согласных в конце слов заставляет сомневаться в том, что такое противопоставление имеет место в литовском языке. Во всяком случае, до выяснения состава гласных фонем, что для литовского языка пока не сделано, вопрос этот нужно считать открытым.

Подчеркивая теоретическое значение сопоставительной фонетики, не следует ни в какой степени умалять и ее практического значения. Общеметодические выводы И. И. Цукермана должны найти применение при преподавании русского произношения представителям самых различных национальностей Советского Союза.

Л. Р. Зиндер

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

В связи с созданием сложной электронной вычислительной машины в последнее время оживленно обсуждаются практические и теоретические вопросы кибернетики, в частности, вопрос о выполнении машинным путем перевода текста с одного языка на другой. При тесном сотрудничестве лингвистов, математиков и инженеров уже осуществлен опыт такого перевода¹. Оценивая результаты этого опыта с точки зрения лингвистической проблематики, возможно и необходимо рассмотреть перспективы развития машинного перевода.

В техническом отношении совершенствование специальной электронной машины для перевода идет быстрым темпом — выдвигаются проекты построения быстродействующей машины (30 тыс. и более тактов в секунду, т. е. 10 и более предложений) с применением новейших достижений техники (полупроводники, ферриты, устройство долговременной памяти). Эта машина в будущем даст возможность обслуживать даже своеобразные телефонные абоненты (одна машина на 1200 абонентов) или выполнять синхронно устный перевод, например на конференциях². Но так как машинный перевод представляет собой не только техническую, но в значительной мере и лингвистическую проблему, выяснение возможностей лингвистики для осуществления механизированного перевода имеет принципиальное значение.

Как известно, работа машины по переводу языкового текста предполагает построение специальной программы, которая вводится в закодированном виде в машину и на основании которой машина совершает операции по переводу. Так как машина может функционировать на основе этой программы только по принципу включения и выключения контакта (положительный или отрицательный ответ), то программа должна содержать описание последовательности всех заданных однозначных операций для получения искомого результата³.

В конечном итоге система всех операций должна основываться на определенном алгоритме, в котором лингвистические единицы приравнены к однозначным символическим величинам, ибо машина может оперировать только с постоянными, формально зафиксированными элементами. Отклонение от этой программы в принципе не допускается, если считать, что и корректировка программы в свою очередь может быть основана только на соответствующей программе. В такой же мере программирование, выполняемое самой машиной, ее «самоастройка» могут быть произведены в конечном итоге только на основе заданной человеком определенной команды. Составление подобной программы предполагает поэтому полную формализацию системы языка, т. е. приведение его структуры — как лексической, так и грамматической — к символическому уравнению, которое может служить целям однозначных действий электронной машины (действие ее в данном случае аналогично процессу математического вычисления машинным путем)⁴.

Специалисты прямо утверждают, что «... механизация некоторых функций возможна тогда, когда они в принципе описываются конечным алгоритмом и когда мы настолько детально изучили процесс выполнения этих функций, что умеем его расчленивать на последовательные акты, изображаемые в машине элементарными логическими

¹ См., например: «Machine translation of languages», ed. by W. N. Lock e and A. D. Booth. New York — London, 1955; Д. Ю. П а н о в, Автоматический перевод, М., 1956; И. К. Б е л ь с к а я и др., Некоторые вопросы автоматизации перевода, «Вестник АН СССР», 1956, № 12.

² См. Л. И. Г у т е н м а х е р, Статистические и информационные машины нового типа, «Вестник АН СССР», 1956, № 10.

³ См., например: О. С. К у л а г и н а и И. А. М е л ь ч у к, Машинный перевод с французского языка на русский, ВЯ, 1956, № 5; И. К. Б е л ь с к а я и др., указ. статья, стр. 28—29.

⁴ А. И. К и т о в, Электронные цифровые машины, М., 1956.

операциями»¹. Но так как условием функционирования машины для выполнения ею специальной задачи — именно перевода — является наличие формальной программы, то решение этой задачи целиком выпадает на долю лингвистической науки. Здесь языкознание оказывается перед важной теоретической проблемой — исследованием возможностей и границ формализации языка.

Проведенные в СССР и США опыты перевода с заданного языка (английского, французского) на русский и наоборот были основаны на сознательном ограничении характера текста (узко технического), его словаря (до 2 тыс. единиц), фразеологии (отсутствие сочетаний с переносным значением, идиом и т. п.), многозначности слова и других языковых явлений. Составление программы пока что было возможно только при выполнении этих условий. Совершенно естественно, что формализация правил для лингвистических соответствий в таких узких рамках могла быть, после определенного предварительного исследования, уложена в соответствующую программу — команду для машины. Несмотря на большое количество операций, потребовавшихся для получения конечного результата, при существующей скорости (8—16 тыс. операций в сек.) перевод был осуществлен сравнительно быстро (один абзац в 8—10 фраз за 18—20 сек.). В принципе эта работа могла быть осуществлена и каким-либо другим механическим способом, так как все операции по переводу, зафиксированные в программе, рассчитаны на простейшие акты, моделирующие элементарные последовательные процессы работы переводчика по отысканию требуемых эквивалентов. При колоссальной скорости работы электронной машины эти элементарные акты исполнялись мгновенно, благодаря чему при переводе не только быстро отыскивались готовые лексические элементы, но и учитывались соответствующие грамматические форманты (например, падежные формы, порядок слов, некоторые глагольные формы), в обобщенном виде представленные в программе-команде.

Перевод, сделанный при этих простых текстах, был удовлетворителен (в частности, на машине БЭСМ АН СССР (англ. яз.) и на машине «Стрела» (франц. яз.)) и требовал незначительной работы редактора². На основании этих опытов теперь можно утверждать, что удовлетворительный перевод с одного языка на другой при четко ограниченных лингвистических условиях может быть осуществлен машинным путем.

*

Как же далеко могут быть раздвинуты границы применения машинного перевода, какие существуют в данном случае сдерживающие факторы, связаны ли эти ограничения с техническим прогрессом или они обусловлены существом самого предмета, можно ли ожидать в будущем решения вопроса о возможности перевода текста любого характера — литературного, публицистического, поэтического и т. д. и с любого языка — вот вопросы, которые должны быть принципиально исследованы теоретическим путем. Естественно, что исходным моментом в решении данных вопросов должно быть исследование сущности языковой системы как базы, на которой строится сам процесс перевода.

Некоторые авторы полагают, что коммуникативная функция языка как раз и предопределяет возможность безграничной формализации языка, его способности в этом отношении быть представленным в необходимой символической программе «в удобной для машинного перевода форме»³.

Коммуникативную функцию языка эти авторы рассматривают, видимо, как относительно самостоятельную функцию сообщения какому-либо лицу какого-либо содержания, и с этой точки зрения они обосновывают возможность изобразить формальными средствами коммуникативное ядро любого текста и подготовить его таким образом для машинного перевода. Нам кажется, однако, что неправомерно отгораживать в какой-либо степени так называемую коммуникативную функцию языка от других его функций (например, экспрессивной), так как язык представляет собою единую сущность и систему, в которой неразрывно соединены все функции, определяющие его общественную природу. В живом языке экспрессивная, коммуникативная и все другие функции языка взаимно обусловлены и не отделяемы друг от друга; существование одной функции предполагает наличие другой. Выделить и зафиксировать каким-либо образом, в каком-либо живом языковом акте одну из сторон принципиально невозможно, поэтому вряд ли будет оправдана попытка найти способ формализовать коммуникативную сторону языка для целей машинного перевода.

¹ М. В. Келдыш, А. А. Ляпунов, М. Р. Шура-Бура, Математические вопросы теории счетных машин, «Вестник АН СССР», 1956, № 11, стр. 35.

² См.: И. К. Бельская и др., указ. статья, стр. 31; И. А. Мельчук, Сообщение по вопросам разработки и построения информационных машин, ВЯ, 1957, № 5, стр. 161—162.

³ П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5, стр. 108.

В любом цельном языковом произведении нельзя «отпрепарировать» какую-либо одну сторону языка, не искажая его действительной природы. В предполагаемой форме может существовать только искусственный язык (например, эсперанто), но он уже не нуждается ни в каком переводе. Создание искусственного языка не облегчает нашей лингвистической задачи, а является лишь ее другим решением, которое относится уже к иной области. Это не перевод при наличии множества языков, а замена множества языков одним языком.

Другой путь, предлагаемый для принципиального решения проблемы машинного перевода, — путь, снимающий все трудности, связанные с формализацией языка, состоит, по мнению других авторов (например, логика Айдукевича, В. Уивера¹), в том, чтобы создать некий «универсальный» язык, поддающийся полной алгоритмизации. Подобное мероприятие, во-первых, трудно в настоящее время обсуждать, поскольку нет еще работ, содержащих конкретное описание подобного языка, во-вторых, оно не связано с задачей непосредственного перевода с одного языка на другой, а предполагает создание «промежуточного» языка.

Создание некоего «метаязыка» в качестве посредника при машинном переводе с одного языка на другой имеет действительно важное практическое и теоретическое значение, но сам по себе «метаязык» в этом случае останется лишь вспомогательным промежуточным звеном, которое не снимает взаимодействия языков при окончательном переводе с одного конкретного языка на другой. В конечном итоге лингвистическая предпосылка перевода остается неизменной.

Возможный путь решения проблемы универсального машинного перевода (включая даже сплехотворный перевод поэтических текстов) некоторые лингвисты видят, по существу, только в прогрессе техники²; но так как в данном случае остается недоказанной возможность полной формализации конкретного языка, то эти прогнозы мало убеждают.

Довольно широко распространена еще одна точка зрения на перспективы машинного перевода³. Она усматривает выход из затруднения в работе редактора машинного перевода и в соответственном расширении его функций. Практически такое решение вопроса всегда возможно, но оно не только ограничивает значение машинного перевода, но и ставит под сомнение его фактическую целесообразность в широких масштабах. Кроме того, здесь еще далеко не определены функции и объем работы редактора.

Все приведенные выше факторы еще раз убеждают нас в том, что проблема машинного перевода в настоящее время принципиально остается лингвистической проблемой и решение ее необходимо искать только в этой области.

*

Лингвистическая наука не может дать в настоящее время удовлетворительного однозначного решения при составлении формальных правил употребления многих языковых единиц. Такое состояние науки, однако, объясняется, по нашему мнению, не беспомощностью ее методики исследования — корни этого лежат в самой природе языка, исключающей возможность универсального формально-схематического описания функционирования элементов живого языка как единой системы.

«Правила перевода, пригодные для машины, не могут апеллировать к смыслу фразы, а должны исходить только из формы ее написания»⁴, — это предпосылка работы машины. Возникает вопрос: возможен ли вообще перевод без понимания смысла переводимого? Смысл, семантика есть не что-то внешнее для языка, а неотъемлемая составная часть всех языковых единиц. Все элементы языка, все его формы объединены в систему разнообразными семантическими связями, которые нельзя уложить в единую, практически конечную схему — таблицу.

Рассмотрим основные причины этого явления. Известно, что большинство слов в языке имеет не одно, а несколько значений. Многозначность слова — его неотъемлемое качество. Решение вопроса о выборе соответствующего значения слова принципиально не связано с учетом его формальных признаков, а производится в процессе перевода по смысловым, семантическим признакам. Лингвистическая наука не в состоянии указать какие-либо отправные данные, необходимые в этих случаях для составления программы машинного перевода. В словарях зафиксированы десятки, даже сотни (например, для английского глагола *to be* в Оксфордском словаре) значений соответствующих слов, и формальное регламентирование употребляемости этих слов принципиально невозможно.

¹ См., например, W. Weaver, Translation, «Machine translation of languages», стр. 23.

² См. A. D. Booth, W. N. Locke, Historical introduction, там же, стр. 14.

³ См. Л. И. Жирков, Границы применимости машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5.

⁴ М. В. Келдыш, А. А. Ляпунов, М. Р. Шура-Бура, указ. статья, стр. 31.

Предлагаемый рядом исследователей¹ способ определения значения слова по непосредственно предшествующему и непосредственно следующему за ним слову вызывает сомнения. В этом случае предполагается, что в программе, вложенной в машину, будут предусмотрены все возможные комбинации данного слова в данном значении с другими словами, а это мало вероятно (кроме как в случае фразеологически связанных значений).

Однако, если даже предположить, что при машинном переводе удастся достигнуть некоторого сужения круга искомых значений слов путем определения частоты употребления слова по статистическим данным или путем установления достаточных формальных признаков «микрконтекста»², сфера применения этого метода может быть весьма ограниченной. Во-первых, потому что слов, связанных контекстуально и допускающих только один определенный перевод, можно найти немного, и, во-вторых, потому, что нельзя установить требуемые для каждого перевода границы контекста.

Не поддаются никакому регламентированию и переводы слов, употребленных в переносном значении³.

Сравнительно большое распространение имеют в языке случаи окказионального употребления слова. Например, в английском языке можно весьма часто наблюдать образование прилагательных из других частей речи и целых групп слов путем конверсии; такие прилагательные в большинстве случаев не входят в постоянный словарный состав языка, но образуются, так сказать, «для одного раза», для употребления в одном конкретном контексте.

Такого рода образования, которыми изобилует современная английская публицистическая и художественная литература, а также многочисленные газетные клише типа *Big Four summit meeting* «встреча глав правительств четырех держав», невозможно переводить без знания контекста, а иногда и без знания исторической обстановки, политических взглядов автора и т. д. При этом главная трудность для перевода создается здесь тем обстоятельством, что смысловые связи внутри такого типа сочетаний могут быть весьма сложными и многообразными при одной и той же грамматической структуре словосочетания. Именно здесь содержится многочисленных «подводных камней», преодолеть которые может только «мыслящий», а не «механический» переводчик. Не преодолимую до конца трудность представляет также перевод однотипных грамматических моделей — словосочетаний.

В английском языке совершенно аналогичные внешние сочетания переводятся каждое по-разному. Перевод такого рода сочетаний требует от переводчика тщательного анализа текста с учетом всех его грамматических и смысловых связей, всех возможных вариантов перевода, а также знание всего контекста в целом.

Большое место в работе переводчика занимает и перевод так называемых «реалий», значение которых может быть раскрыто часто только при помощи специальных справочников, энциклопедий и пр. Само собой разумеется, что раскрытие содержания подобных выражений не может быть регламентировано языковыми правилами и не может быть, следовательно, обработано как программное указание для машинной операции.

Серьезная трудность возникает при переводе различного типа фразеологических сочетаний и идиом. Обычно в данном рода случаях предлагают все сочетание вносить в словарь целиком как неделимую единицу (что и имеет место в ныне существующих словарях обычного типа). Однако здесь возникает непреодолимое препятствие — омонимия фразеологических и свободных сочетаний, например англ. *black dog* «черная собака» (свободное сочетание) и «уныние» (фразеологическая единица)⁴.

Многие фразеологические единицы имеют не одно, а несколько значений; например англ. *red herring* может иметь значения: 1) «копченая селедка», 2) «солдат», 3) «что-либо намеренно отвлекающее внимание, сбивающее со следа». Здесь мы снова возвращаемся к известной проблеме многозначности.

Вопросы выбора из ряда синонимов необходимого слова для машины могут быть решены только в случае наличия формально-однозначных разделяющих признаков. Например, при конверсии частей речи в английском языке необходимо слово выбирается по признаку присутствия грамматического форманта (*snow-snows*) или при наличии прямых признаков контекста (проверка на рядом стоящее слово для определения части речи: если за данным словом идет глагол, то предыдущее — существительное). В случае отсутствия непосредственных критериев для выбора значения слова решение может зависеть только от общего контекста (например, значение фразы *French sup-*

¹ См., например, L. E. Dostert, *The Georgetown — I. B. M. Experiment*, «Machine translation of languages», стр. 129—131.

² См.: E. Reifler, *The mechanical determination of meaning*, там же, стр. 149—154; W. Weaver, указ. соч., стр. 21.

³ См. об этом подробнее в статье Г. В. Колшанского «К вопросу о возможностях машинного перевода» («Бюллетень Объединения по проблемам машинного перевода», № 4, М., 1957, стр. 82).

⁴ См. А. В. Рунин, *Англо-русский фразеологический словарь*, М., 1955, стр. 298.

ply troublesin Syria может быть: а) «Французы провоцируют беспорядки в Сирии»; б) «Затруднения французов в отношении снабжения в Сирии»). Следует также учитывать, что многие авторы в целях достижения большей выразительности иногда видоизменяют структуру фразеологического сочетания, нарушают порядок следования компонентов, вводят в него новые слова и т. д. Проблему сохранения стилистических особенностей при переводе текстов различного жанра мы здесь разбирать не будем.



Итак, природа языка во всех его элементах (лексика, морфология, синтаксис), служащая средством материализации общественного сознания человека, средством общения человека, является по своей внутренней структуре весьма сложным образованием, свойственным только человеку в процессе его общественно-сознательной деятельности. Поэтому механизм языка не может быть доступен целиком методу чисто формального анализа. Законы, управляющие деятельностью мышления и языка, не могут быть сведены к сумме элементарных законов, определяющих формы бытия и движения в неорганическом мире. При всей аналогии функционирования машины с некоторыми мыслительными процессами, протекающими в мозгу, механическая модель никак не может воспроизвести творческую деятельность органа высокоорганизованной живой материи — мозга ¹.

Следовательно, все, что выходит за рамки элементарных, формально и однозначно определяемых правил функционирования языка, не может быть объединено схемой и, следовательно, не может быть объектом машинной обработки. Не развитие техники ставит предел возможностям машинного перевода, а сам язык. Машина может сделать лишь то, что ей укажет человек, а в данном случае человек бессилён воспроизвести всю программу возможного функционирования языка в соответствующий момент перевода, ибо для этого ему пришлось бы возвращаться каждый раз к творческой деятельности мозга, другими словами, прибегать к помощи своего мышления при нахождении нужного результата «по смыслу».

Лингвистика не в состоянии изобразить свой предмет — язык — в виде практически конечного числа аксиом, что принципиально доступно только науке, имеющей дело с постоянными величинами, такой, как математика. В данном случае язык представляет собою такую совокупность, которая не поддается во всем объеме алгоритмическому разрешению. Здесь вообще лежит предел для любого вида кибернетических устройств.

Таким образом, несмотря на быстрое и эффективное развитие техники вычислительных машин, можно придать категорическую форму следующему высказыванию самых горячих защитников машинного перевода: «Возможно, что никакая управляющая машина никогда не сможет моделировать мозг, а будет моделировать только выполнение мозгом ограниченного класса функций» ².

Нельзя в то же время отрицать практическую ценность машинного перевода; внедрение его в широких масштабах будет полезным мероприятием. Однако необходимо при этом всегда учитывать, что этот вид перевода будет выполнять лишь элементарную функцию, будет играть лишь подсобную роль при переводе к тому же только специальных текстов ³. При необходимости получения полноценного перевода машинный перевод может быть лишь исходным материалом для переводчика-редактора, а в необработанном виде или в форме созданного для этой цели «промежуточного» языка может выполнять роль быстро действующего механического информатора.

Задачей лингвистической науки, кооперирующейся в настоящее время с математическим направлением в целях разработки техники машинного перевода, и является сейчас изучение круга элементарных языковых явлений, поддающихся формально-структурному описанию, поддающихся математической обработке. Это направление не может претендовать на роль универсальной методики лингвистического исследования; наоборот, оно само в значительной степени строится на результатах структурного, описательного, семантического и исторического анализа языка, но соприкосновение лингвистики с математическими методами и аппаратом может быть благотворным для нее и приблизит науку о языке к сфере точных наук.

Л. С. Бархударов и Г. В. Колманский

¹ См.: П. К. Апохип. Физиология и кибернетика, ВФ, 1957, № 4, стр. 153—154; И. И. Гальперин. О рефлекторной природе управляющих машин, там же, стр. 165.

² М. В. Келдыш, А. А. Ляпунов, М. Р. Шура-Бура, указ. статья, стр. 37.

³ Л. И. Жирков, указ. статья, стр. 122.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Karel Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků. — Praha, ČSAV. 1955. 488 стр.

Новая монография известного чехословацкого слависта проф. К. Горалка была задумана, по словам самого автора, в первую очередь как учебное пособие в связи с тем, что имеющиеся учебники «Сравнительная грамматика славянских языков» В. Вондрака и «Славянские языки» Р. Нахтигали мало доступны для широкого читателя. Название книги К. Горалка точно отражает ее содержание и построение, кстати сказать, весьма отличное от других пособий. Являясь введением в изучение славянских языков, этот труд, помимо специальных разделов по сравнительной грамматике славянских языков, содержит несколько дополнительных разделов, посвященных характеристике славянских языков, истории славянских литературных языков, сравнительной лексикологии¹. Применительно к этому собственно сравнительная часть изложена несколько сжато; автор, естественно, вынужден был уделять главное внимание наиболее типичным фактам и узловым проблемам. Все это не могло не усложнить задач, стоявших перед ним. В оценке книги К. Горалка необходимо учитывать, кроме научной стороны, также педагогическое ее назначение.

После небольшого предисловия, знакомящего с условиями возникновения и целями книги, следует раздел I — «Вопросы языкового родства и сравнительное изучение славянских языков» (стр. 11—39). Здесь затрагиваются вопросы множественности языков, генетического родства как такового, довольно подробно говорится о происхождении речи. Далее характеризуются понятия исторической типологии, сравнительно-исторического метода, излагается теория немотивированного характера звуковой стороны языка (стр. 22). При этом автор придерживается известной точки зрения, что наименование, за исключением звукоподражаний, обусловлено $\theta\acute{e}z\acute{y}$, но не $\phi\acute{o}z\acute{y}$, хотя недавние экспериментальные исследования показали, что так называемые звукоподражания не представляют никакого исключения и тоже определяют психологическими и лингвистическими ассоциациями индивидуума в первую очередь, т. е. $\theta\acute{e}z\acute{y}$ ². Автор излагает в этой главе важнейшие методы научного исследования славянских языков, подробно останавливается на сравнительно-историческом методе, опирающемся на структурное понимание языка и на данные лингвистической географии. Сравнительно-историческая проблематика славянских языков характеризуется как имеющая определенное своеобразие. Между прочим, К. Горалек указывает на важность изучения социальных диалектов (жаргонов) для сравнительно-исторического изучения славянских языков (стр. 37). Это следует отметить как положительный факт. К сожалению, автор не развил данного положения в специальном разделе о лексикологии, как он сделал с рядом других проблем, развивая их в следующих специальных разделах. Недостатки изучения социальных диалектов сказываются прежде всего в сравнительной лексикологии. Например, зап.-слав. *kat* «палач» довольно сложно объясняли из *kajati sĕ* «каяться», в то время как это — старое слово воровского жаргона, заимствованное из нем. *Gatte* «супруг»; ср. русский аргоизм *дядя* «палач».

В этом общем разделе автор затрагивает конкретный вопрос стабилизации ударения в ряде славянских языков. Начальное ударение чешского и словацкого языков он расценивает как сближение с немецким и венгерским (стр. 17). Что это не так, хорошо показали исследования Т. Лер-Славинского, который, исходя из свободного севернорусского ударения как наиболее близкого общеславянскому среди западно-славянских языков, определяет начальное ударение среднекашубских говоров и чешско-словацкой группы как следующий этап органического развития. Из этого начального ударения развитось в качестве побочного польское ударение на предпоследнем

¹ В этом вопросе автор ссылается на установки С. Б. Бернштейна. См. его статью «Основные задачи, методы и принципы „Сравнительной грамматики славянских языков“» (ВЯ, 1954, № 2, стр. 54).

² Подробно см. H. W i s s e m a n n, Untersuchungen zur Onomatopöie, Tl. 1 — Die sprachpsychologischen Versuche, Heidelberg, 1954.

слоге, вытеснившее затем старое начальное ударение¹. Акцентологические отношения объясняются таким образом глубже и правдоподобнее, чем предположением языкового сближения.

Определяя язык как «систему (структуру) взаимно обуславливающих друг друга компонентов» (стр. 25), К. Горалек одновременно допускает органическое развитие внесистемных, спорадических явлений, например $\tilde{z} > r$ в серб. *more*, *moreš* < *možeš*, *jer* (там же). Примеры этого перехода в южнославянских языках объясняют также как проявление ротаизма, соотносимое с обратным процессом $\tilde{r} > \tilde{z} > \tilde{z}$ в западнославянских языках².

II раздел «Славянские языки в прошлом и настоящем» (стр. 40—63) характеризует разные аспекты родственной близости славянских языков на фоне расселения и племенного разделения славян. Излагаются принципы классификации славянских языков³.

Важную роль призван играть небольшой III раздел «Индоевропейская основа славянского языка и проблема балто-славянского единства» (стр. 64—74). Здесь говорится об общих особенностях, связывающих славянские языки с другими индоевропейскими. Однако с самого начала следует отметить досадный недосмотр: в сводной таблице, наглядно иллюстрирующей лексическое родство на материале числительных, в одном ряду со ст.-слав. *единъ*, лат. *unus*, нем. *ein*, литовск. *vienas* стоит греч. $\tilde{\epsilon}\tilde{\iota}\tilde{\varsigma}$, $\tilde{\epsilon}\tilde{\nu}$, которое не имеет с прочими словами ничего общего и восходит к $*sems$, $*sem$.

Автор понимает сложность балто-славянской проблемы, но считает нужным ввиду значительности общих черт балтийских и славянских языков исходить из балто-славянской общности как из рабочей гипотезы (стр. 71 и сл.). Далее следует вполне традиционное перечисление важнейших общих фонетико-морфологических черт (главным образом инноваций) обеих языковых групп: упрощение двойных согласных, перемещение ударений (закон Фортунатова — де Соссюра), развитие местоименного склонения прилагательных, переход причастий на *-nt-* в мягкое склонение, переход согласных именных основ в твор. падеж мн. числа в склонение на *-i*, новые указательные местоимения $*to$, $*tā$, род. падеж ед. числа основ на *-o* из старого аблатива ($*-ōd$) и др. Здесь же говорится об общей лексике: литовск. *galvā* = слав. *golva*; литовск. *rankā* = слав. *ръка*.

Зная, что автор принимает балто-славянскую общность не безусловно, но как рабочую гипотезу, мы вправе были бы ожидать от него большей критичности в оценке отдельных черт. Есть основания, например, считать переход причастий настоящего времени в склонение на *-io-* совершенно самостоятельным, параллельным процессом отдельно в балтийских и славянских языках. Об этом свидетельствуют ясные следы согласных основ у причастий на *-nt-* в праславянскую эпоху; ср. старославянский им. падеж мн. числа мужского рода *ведѣхите*, особенно — остатки субстантивированных причастий: др.-русс. *могутъ*, ст.-слав. *мохѣтъ* «доминус», *слохѣтъ* «знаменитый человек», русск. *жгут* (жгу), серб. *врѣмак* «родник», польск. *wrzątek* «кипяток», русск. *руть*, польск. *rtęć* — то же (из $*rit$ «капиться»), чеш. *stojatý* «стоячий», *tekutý* «текущий, жидкий», польск. *majątek* «имущество», *majątny* «состоятельный», русск. *реут* ($*revotъ$: *revěti*), чеш. *ort'átko* «сверло, мотовка»⁴.

Следует специально сказать о сравнении литовск. *galvā* — слав. *golva*. Разумеется, их не причисляют к балто-славянским инновациям, но упомянутые формы и им подобные на *-ā* называются обычно как безусловно тождественные. Тем не менее и в данном случае ощущается потребность в пересмотре. Дело в том, что сравнение форм типа литовск. *galvā* — слав. *golva* неправомерно в фонетическом отношении. Литовская форма сомнений не вызывает: балто-славянское окончание *-ā* здесь правильно сократилось в $\tilde{ā}$. Так как упомянутый процесс сокращения был общим, в славянских примерах должно быть $\tilde{ā} > \tilde{ā} > o$. Следовательно, единственно точным с точки зрения фонетической эволюции будет сравнение литовск. *galvā* — слав. $*golvā$. Последняя форма действительно существует в роли зват. падежа ед. числа основ на *-a*: *golvo!* Аналогичная история индоевропейских основ на *-ēr*, *-ēn* (им. падеж ед. числа) проливает свет на балто-славянские факты. Глубокий анализ этой истории дал Е. Курилович. Известно, что в большинстве языков одна форма выступает как именительный и звательный падеж. В данном случае можно говорить о первичной — номинативной и вторичной — вокативной функциях общей формы. При этом может происходить дифференциация; тогда оказывается, что новая форма приходится на им. падеж ед. числа, а старая фор-

¹ См. Z. K l e m e n s i e w i c z, T. L e h r - S p ł a w i ŋ s k i, S. U r b a ŋ c z y k, *Gramatyka historyczna języka polskiego*, Warszawa, 1955, стр. 60—67.

² См. R. N a h t i g a l, *Slovanski jeziki*, Ljubljana, 1952, стр. 183—184.

³ На стр. 60 и 61 рецензируемой книги албанский язык называется продолжением языка древних иллирийцев. Более обоснованным является мнение, что албанский продолжает фракийский язык (см. Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, София, 1952).

⁴ M. V a s m e r, *Alte slavische Participia*, «Mélanges linguistiques offerts à H. Pedersen», Aarhus — København, 1937.

ма консервируется, принимая функцию зват. падежа ед. числа. Таким образом, выдвигается теория, согласно которой вокативы па -*ēr*, -*ōr*, -*ēn* представляют остаточные формы старых поминативов. Первоначально зват. падеж равен им. падежу; ср. их тождество во множественном числе. Замена -*ēr* через -*ēr* в им. падеже носит морфологический характер: это — обновление формы, но не фонетический переход. До тех пор старый именительный не имел характерной формы¹. Точно так же в славянском зват. падеже *rkō*, *golō* можно видеть завулгаризованные формы первоначального именительного, ограниченные вторичной звательной функцией. Таким образом, только слав. *rkō*, *golō* соответствует литовск. *rankà*, *galvà*. Общеславянский именительный *rkā*, *golā* представляет чисто славянское морфологическое новообразование, которое носит характер долгой ступени гласного окончания. Новообразование может исходить от местоимений, для которых в славянском известны случаи удлинения гласного, несущего экспрессивную или смысловозначительную нагрузку: *jāzъ*, *tū*, в данном случае *tā* — указат. местоимение жен. рода (<**iā*, ср. литовск. *iā*). Описанный случай показывает, что еще многое очевидное в балто-славянском вопросе не проверено.

Раздел IV «Общий обзор развития славянского языка» (стр. 75—99) определяет специфику славянского языка, периодизацию его истории. Здесь характеризуются проблема упрощения грамматических категорий, основные черты славянского глагола, фонетики, структуры предложения, лексики — все те главные вопросы, которые детальнее излагаются далее в специальных разделах.

Раздел V называется «Сравнительно-исторический обзор славянской фонетики» (стр. 100—153). Развитие славянской звуковой системы рассматривается в сравнительном плане, с привлечением значительного индоевропейского материала, причем используется современная литература и отражены результаты новых теорий. Из педагогических соображений, которые в данном пособии играют не последнюю роль, следовало несколько полнее охарактеризовать ларингальные звуки, указав, что это, очевидно, согласные элементы в отличие от гласных «шва», что существенно ввиду совпадения символов тех и других: ∂_1 , ∂_2 . Слав. *mylěti*, литовск. *min-ėti*, лат. *manere*, греч. *ἐμνῆναι* возводятся к общему **mō₂n-* (стр. 101). Теперь известно, что все это — вторичные замены единственно возможной здесь первоначально нулевой ступени **mn-ē-*². Напротив, ∂_2 (*shwa secundum*) реально в сочетаниях *iḍrt*, *iḍ₂lt*, давших балто-славянские *irt*, *iirt* *ilt*, *iūlt* (ср. стр. 105).

Описание индоевропейской системы согласных корреляций отражает уточнения, внесенные исследователями (ср. стр. 103):



Автор правильно указывает, что слав. *ch* (*x*) не может восходить к и.-е. **kh*, но только к **s*, причем широкое распространение *x* (кроме случаев после *i*, *u*, *r*, *k* и экспрессивных употреблений) объясняется грамматической аналогией (стр. 105). Представляет интерес утверждение, что прогрессивная (третья) палатализация отнюдь не является самой младшей (стр. 107—108). Однако автор не использовал некоторых новых материалов об этой палатализации³. Далее подробно характеризуются сочетания согласных с *i*, палатализация гласных. Отпадение конечных согласных объясняется возможным влиянием неславянского субстрата, но это не подкрепляется фактами (стр. 114). Хронологически неточным следует признать предположение автора о том, что упрощение групп согласных протекало в славянском одновременно с ликвидацией двойных согласных (стр. 115). Если упрощение *kt* > *t*, *bd* > *d*, *pn* > *n*... произошло только в славянскую эпоху, то упрощение двойных согласных является уже балто-славянской особенностью. История *torit*, *tolt* слишком схематизирована (стр. 119). В последнее время механизм метатезы хорошо анализировал Ф. В. Мареш, используя отдельные положения Г. Х. Серенсена⁴. Кстати, полабск. *gord*, кашубск. *gard* многие, в отличие от К. Горалка, считают вторичными формами⁵. Большое место уделено важному вопросу корреляции твердости-мягкости согласных в славянских языках (стр. 146—147).

¹ J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 143—146.

² См. J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 219.

³ Ср., например, И. Грицкат-Вирк. Још о трећој палатализацији, «Јужнословенски филолог», XIX, 1951—1952.

⁴ F. V. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», ročn. XXV, seš. 4, 1956, стр. 456 и сл.; H. Chr. Sørensen, Die sogenannte Liquidametathese im Slavischen, «Acta linguistica», vol. VII, fasc. 4—2, Copenhagen, 1952.

⁵ F. V. Mareš, указ. соч., стр. 460; А. Лампрехт, Несколько замечаний о развитии фонетической системы праславянского языка, «Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university», ročn. V, č. 4, Brno, 1956, стр. 21—22.

Раздел VI озаглавлен «Обзор развития славянской морфологии» (стр. 154—216). Стремление объяснить все факты и категории языка как взаимодействующую систему проявляется в наблюдении автором своеобразных компенсирующих отношений в развитии славянского склонения и спряжения на почве отдельных славянских языков. Так, консервативность именной падежной флексии русского сочетается с упрощением форм спряжения; упрощенное аналитическое склонение болгарского, напротив, существует с сильным развитием глагольных категорий (стр. 155). Довольно кратко говорится об истории славянских предлогов (стр. 189), причем не разграничиваются новые и архаические образования в этой области. Следовало специально обратить внимание на материал южнославянских языков, так как именно южнославянские языки представляют немало поучительного по истории славянских предлогов. Здесь имеется ряд архаических форм; ср. серб. диал. *med* «между» при общеславянском распространении расширенной формы *među*; болг. *към* «к», сохраняющее конечный согласный. Интересна форма серб. *код* «у, при, близ, возле, к», не известная другим славянским языкам, но тоже, по-видимому, являющаяся значительным архаизмом. Вероятно, близкие формы можно указать за пределами славянских языков: греч. *κατά* «сверху вниз, под, в, по», хетт. *katta* «вниз»¹. Различие значений этих предлогов не носит принципиального характера, тем более что фиксация окончательных предложных значений происходила поздно.

Раздел VII «Избранные главы из сравнительного синтаксиса» (стр. 217—255) характеризует типы славянского предложения, средства построения фразы: 1) звуковые (здесь же дана фразовая интонация), 2) порядок слов, 3) морфологические средства. Все эти средства образуют взаимодействующую систему. Раздел VIII (стр. 256—283) посвящается сравнительной лексикологии. Здесь рассматривается структура словарного состава, его изменения, определяются принципы этимологии. Автор справедливо включает в понятие лексикологии также и семантику (стр. 256), так как последняя может быть понята и реализуется только на конкретном лексическом материале.

Включение раздела IX — «Краткий обзор истории славянских литературных языков» (стр. 284—339) — продиктовано важностью научного лингвистического исследования славянских культурных диалектов. Далее следуют три раздела: X «Славянская письменность» (стр. 340—355), XI «Характеристики отдельных славянских языков» (стр. 356—402) и XII «Краткий очерк истории сравнительного славянского языковедения» (стр. 403—424). В заключение приложены образцы параллельного текста на разных славянских языках и хорошая библиография, занимающая 45 страниц.

Из мелких неточностей отметим следующие: *vedetъ*, *vedetъ* названо 2-м лицом (стр. 122); на стр. 125 вместо литовск. *vārnas* следует читать *vařnas*; на стр. 197 вместо *śędzia* должно быть *śędzia*; на стр. 205 перепутаны инициалы: вместо К. Л. Muske нужно К. Е. Muske; на стр. 281 русское слово *сюртук* причисляется к восточным заимствованиям, в то время как оно происходит из франц. *surtout*; на стр. 317 упоминается Евгений Карский, тогда как на самом деле он Ефимий. Наконец, сообщение о том, что в 1952 г. вышел II том «Сравнительной грамматики славянских языков» А. Вайана (стр. 420, сноска 37), насколько известно, не соответствует действительности.

Выше мы касались главным образом отдельных спорных вопросов и деталей изложения. В целом же книга К. Горалка представляет собой весьма полезное и содержательное пособие по сравнительному изучению славянских языков.

О. Н. Трубачева

Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Splawinski, S. Urbanczyk. Gramatyka historyczna języka polskiego.—[Warszawa], Państw. wyd-wo naukowe, 1955. 596 стр.

«Историческая грамматика польского языка» представляет собой учебный курс по истории польского языка, предназначенный для студентов-полонистов. Отсутствие подобного пособия вызывало справедливые нарекания ученых и учащейся молодежи. Поэтому появление коллективного труда виднейших польских лингвистов, профессоров З. Клеменевича, Т. Лер-Сплавинского и С. Урбанчика, дающего систематическое

¹ Предположение о слогаобразующем сонанте в хеттском и греческом словах (см. О. Szemerényi, Hittite pronominal inflection and the development of syllabic liquids and nasals, «Kuhn's Zeitschrift», Bd. 73, 1955, стр. 65 и 76) менее вероятно (ср. J. Kurylowicz, указ. соч., стр. 226).

изложение сложного и исключительно важного в системе филологического образования материала, следует расценивать как значительное событие¹.

Перед нами обширный труд, дающий на огромном фактическом материале всестороннее и очень тщательное описание исторических изменений, пережитых польским литературным языком за весь период его письменной истории. Авторы широко использовали основные памятники древнепольского письменности, работы польских грамматиков, произведения писателей и поэтов, привлекли данные диалектов.

«Историческая грамматика польского языка» состоит из введения и четырех основных разделов, соответствующих обычному делению курса: 1) фонетика, 2) словообразование, 3) морфология и 4) синтаксис.

Краткое введение рассматривает вопросы древнейших связей польского языка с другими славянскими языками, указывает их особенности и дает характеристику акцентологических отношений древнепольского языка. В нем ярко выражено стремление связать отдельные языковые факты (в частности, те или иные особенности языковых групп) с историческими судьбами древнейших славянских племен.

К сожалению, в разделе, посвященном характеристике акцентных и количественных отношений (§§ 8—18), Т. Лер-Сплавинский ограничился изложением лишь традиционной точки зрения и не привел выдвинутых в последнее время новых положений. Впрочем, для общего курса, в котором этот раздел занимает, естественно, лишь небольшое, подчиненное место, он дан достаточно подробно, изложен очень ясно и доступно.

В главу о фонетике входят три раздела: 1) славянские языки и место среди них польского языка (этот раздел правильнее бы было отнести во введение); 2) общая характеристика развития польской системы гласных и согласных и 3) детальное описание развития польской фонетической системы. Но собственно фонетическая характеристика польских звуков и звуко сочетаний, развившихся на основе праславянской языковой системы, дана только в третьем разделе. Эта часть представляет собой интересное, подробное изложение дальнейшей эволюции общеславянских звуков и звуко сочетаний в польском языке.

Говоря о фонетических изменениях, имевших место на польской почве, З. Клеменсевич не ограничивается их описанием. Он стремится, где это возможно на основе достоверных научных данных, также объяснить результаты, представленные в современном польском языке. При этом обычно приводится несколько теорий, рассматривающих указанные явления, отмечают их сильные и слабые стороны, каждая из них оценивается с современных научных позиций. Так, например, очень подробно рассмотрен вопрос о развитии долготы гласного в закрытом слоге только в положении перед звонким согласным (случай типа *wóz, bób* при *nos, chór* и т. п. в современном языке). Очень интересно, с учетом различных взглядов на описываемые факты, освещена сложнейшая проблема мазурения. Сказанное относится и к изложению более мелких фактов (например, причины перехода в малопольском диалекте конечного *ch* в *k*; случаи прогрессивной ассимиляции в сочетаниях глухих согласных с *rz*; изменения некоторых праславянских групп согласных и др.).

Описание ведется таким образом, что ощущается непрерывность и постепенность изменений. Очень интересна в указанном плане, например, характеристика все прогрессирующего нарастания качественных изменений в произношении кратких и долгих гласных и постепенной утраты в связи с этим количественных различий между гласными. При этом отмечается и направление подобных процессов, характеризующихся тем, что продолжительное время еще действовало ощущение фонологической и фонетической разницы между соответствующими звуками при одновременном ослаблении в сознании говорящих и пишущих оснований для такого различия (см., например, стр. 91—95, § 27 — о развитии старопольских *ǫ, a*).

Однако, кроме описания отдельных звуков, кроме освещения путей их развития и изменений, в курсе, дающем подробный и глубокий анализ многих фактов, следовало бы больше внимания уделить выведению некоторых общих закономерностей, действовавших в определенные исторические периоды развития польского языка. Хотелось бы, чтобы более широко и последовательно были освещены исторические связи между отдельными фонетическими явлениями, а также больше внимания было уделено фонологическим моментам, что в ряде случаев дало бы возможность свести к общим процессам факты, на первый взгляд развивавшиеся изолированно.

Так, например, совершенно несомненно, что для истории польской фонетики была закономерной веларизация гласных в положении перед твердыми переднеязычными согласными. Поэтому, говоря об изменениях на польской почве передних гласных, *e, ě*, сочетаний *ь* с плавными (**turt, *tblt...*), следовало бы дать обобщающий вывод

¹ Авторский коллектив следующим образом разделил работу: вводная часть (включенная в главу о фонетике) написана Т. Лер-Сплавинским; автором основной части — глав по исторической фонетике, грамматике и словообразованию — является З. Клеменсевич; замечания, отражающие особенности польских диалектов, принадлежат С. Урбанчику.

о том, что во всех этих случаях судьба передних гласных определялась качеством соседнего согласного, величайшее воздействие которого было очень значительно: если этим согласным оказывался твердый переднеязычный, то предшествующий ему гласный изменялся в гласный заднего или среднего ряда ($e > o$, $\tilde{e} > a$, $*tbrt > tart...$).

Следовало бы также сделать общий вывод о характерных для польской фонетики результатах смягчения согласных перед гласными переднего ряда. Высокая степень палатализации польских согласных в указанном положении привела к так называемому асинхронному произношению мягких согласных, что реализовалось в развитии дополнительного фрикативного элемента. Последний постепенно усиливался при ослаблении, а иногда и полной утрате основной артикуляции. Таким образом, на месте палатализованного согласного развивался фрикативный палатальный звук. Указанная особенность, чрезвычайно характерная для истории всех палатализованных согласных в польском языке, в книге отмечена лишь для особого произношения мягких губных в северопольских говорах (см. стр. 130, 138). Не сделан общий вывод о том, что гласные переднего ряда оказывали палатализирующее воздействие не только на губные, но и на переднеязычные и на заднеязычные согласные (ср. результаты изменений мягких переднеязычных: $l' > \tilde{c}$, $d' > \tilde{g}$, $s' > \tilde{s}$, $z' > \tilde{z}$ и т. д., а также изменение в северо-западных диалектах групп *ky, gy, ke, ge* в $\tilde{c}i, \tilde{g}i, \tilde{e}e, \tilde{g}e$). Это указывает на характерную для польского языка закономерность: выделение дополнительного спиранта при произношении палатализованных согласных, а затем его постепенное усиление всегда шло при параллельном ослаблении основной артикуляции (что иногда приводило даже к полной утрате последней). Такой результат представлен во всех однотипных случаях.

Раздел, посвященный словообразованию, состоит из двух частей: общей и специальной. В общей части (§§ 2—15) говорится о методах словообразовательного анализа, о принципиальных отличиях его от членения слов на морфемы, об отношении производной и производящей основ. В ней дается также краткий обзор исторических процессов становления, изменения и продуктивности формантов, использованных заимствованных аффиксов и т. п. В специальной части (§§ 16—60) описаны суффиксы и префиксы, употреблявшиеся в старопольском языке, с указанием на их наличие в современном языке. При этом классификация дается по семантическому признаку, в связи с чем одни и те же аффиксы оказываются включенными в разные группы (например, суффиксы действующего лица — отглагольные, именные — разделены на несколько групп в зависимости от более узкого значения, эмоциональной окраски и т. п.).

Описание словообразующих формантов с учетом их употребительности и продуктивности в различные исторические периоды ограничивается материалом существительных, прилагательных и глагола, причем характеризуются в основном данные литературного языка. Диалектным особенностям словообразования уделено относительно мало места. Это находит свое объяснение, с одной стороны, в недостаточной изученности соответствующего материала, а с другой — в том, что говоры в общем не дают принципиально иной картины по сравнению с нормами литературного языка.

При делении слов на производящую и производную основы всегда учитываются современные лексические отношения. Автор четко отличает подобный метод словообразовательного анализа от выделения в слове отдельных, входящих в его состав морфем. Здесь также можно было бы сделать обобщения относительно уменьшения или расширения продуктивности некоторых суффиксов и случаев изменения значения слов с соответствующими суффиксами.

Раздел морфологии ограничен характеристикой форм изменяемых частей речи. В нем дано достаточно полное описание истории флексий существительных, прилагательных, числительных и глагола. При этом в соответствии с принятой в книге системой изложения большое внимание уделено самому процессу формирования падежных и именных образований, динамичности этих процессов. Приводится много примеров из древних письменных памятников, даются интересные объяснения широко представленные в разные эпохи истории языка параллельным формам, факультативному употреблению тех или иных окончаний. Особое внимание, естественно, уделено описанию постепенных изменений старых грамматических отношений и развитию современной системы склонения и спряжения.

Не ускользнули от внимания автора и отдельные слова, возникшие из синтаксических сочетаний, как *południe, północu* и более позднее *północ* (стр. 357), некоторые союзные слова (*poki, póki, — poty, póty* — стр. 472—473) и многое другое.

Интересна в методическом отношении подача материала по историческому изучению падежных форм имен существительных: параллельно рассматриваются формы одних и тех же падежей разных типов старого склонения. Такой метод сравнительного изучения падежных флексий в значительной степени облегчает их усвоение, так как дает наглядную характеристику флексий и различий между ними. Тем не менее следовало бы, кроме этого, дать и общие парадигмы каждого типа склонения, которые почему-то приведены для всех частей речи, кроме имени существительного.

Приходится пожалеть также о том, что и в главе о морфологии часто нет обобщающих замечаний по отдельным центральным проблемам польского словоизменения

Правда, о лично-мужской форме довольно подробно говорится в параграфах, посвященных именительному и винительному падежам множественного числа существительных мужского рода, но следовало бы, хотя бы так, как это сделано в заключении раздела о количественных числительных (см. § 83), отметить пути становления категории, ее последовательное проявление во всех именах, указав, в частности, на то, что в первую очередь она начала проявляться в именах числительных.

Серьезным достоинством книги является изложение в ней материала по синтаксису. Как известно, эта область, пожалуй, наименее разработанная не только в польском, но вообще в славянском языкознании. После работ Я. Лоса, во многом уже устаревших, это первая попытка дать сводный курс исторического синтаксиса.

В книге дано описание типичных синтаксических конструкций в древнепольском и современном языке. При этом автор ставит перед собой двойную задачу: с одной стороны, показать устойчивость синтаксической системы польского языка, с другой же, особое внимание уделить тем явлениям, которые привели к отклонению современной структуры от древнепольской.

Построение и изложение этой части книги вполне отвечает отмеченным задачам: в нее включены разделы, посвященные способам выражения членов предложения (на материале простого предложения), управлению, способам сочетания предложений, входящих в состав сложного предложения, а также значениям, выраженным придаточными предложениями с различными союзами и союжными словами.

Естественно, что нельзя было охватить все проблемы, связанные с анализом предложения. Так, не уделено специально внимание особенностям прямой речи, вводным словам и предложениям, порядку слов и многому другому.

Весь раздел синтаксиса значителен не только по своему объему, но и по строгой систематизации фактов, хорошо подобранных и в ряде случаев введенных в научный оборот впервые. Некоторые наблюдения и обобщения З. Клеменевича уточняют ряд сложных вопросов славянского исторического синтаксиса. Однако неразработанность отдельных синтаксических проблем и спорность некоторых исходных положений отразились и в рецензируемой книге. Это относится прежде всего к примыкающему далеко не всеми синтаксистами принципу логической характеристики членов предложения. Так, например, исходя из этого принципа, воздерживаясь от достаточно строгого и четкого определения главных членов предложения, З. Клеменевич предлагает, с нашей точки зрения, очень спорную дифференциацию личных и безличных предложений, ошибочно включает в разряд подлежащих некоторые типы предложений без грамматического подлежащего.

Едва ли предложения с отрицательным словом или отрицательной конструкцией, обязательным элементом структуры которых является дополнение в форме родительного падежа, следует характеризовать как личные с подлежащим в родительном падеже. Например: *nie («nie ma»)w ichu cięch prau dy; niebojażni boję; nie zatowia w mięsie mojem* (XIV в.); *jako koń a tuł w nich rozuma nie; jemuz nie rovnego mistrza pogańskiego i krześcijańskiego...* (XV в.).¹ Точно так же трудно признать подлежащим существительное, выступающее при сказуемых со значением «доставать — не доставать, убывать, прибывать» и т. п., т. е. существительное, являющееся в действительности, по своей синтаксической функции (а не по логическому значению), дополнением, выраженным приглагольным родительным со значением части целого (примеры см. на стр. 396).

Все отмеченные случаи правильнее было бы трактовать как безличные предложения, конструктивно характеризующиеся обязательным падежом дополнения в родительном падеже. Это дополнение нельзя считать подлежащим хотя бы потому, что обязательным признаком последнего является грамматическая независимость его от других членов предложения, а это, в свою очередь, связано с формой именительного падежа (если только подлежащее не выражено целым сочетанием или инфинитивом).

Вряд ли правомерно рассмотрение конструкций типа *dwa bracieńca, trze bogowie* (XIV в.) *trze męzowie, cztery, synowie* (XV в.) *byłoby jest dziewięć lat, ogarnęli mię psów wiele* (XIV в.), *pięć wiele filozofów* (XVI в.) как случаев, в которых подлежащими являются существительные, выступающие то в форме именительного (при числительных «два — четыре»), то родительного падежа (при числительных «пять» и более) (см. стр. 396). Правильнее было бы сказать, что в данных примерах мы имеем дело с определенной формой синтаксической связи существительного с числительным, образующей единое словосочетание, которое целиком выступает как подлежащее. Этого положения не может изменить и объяснение происхождения рассматриваемых конструкций, согласно которому «уже в древнейшую эпоху истории польского языка происходит передвижка синтаксической значимости с числительного на имя существительное; последнее получает в этой группе значение управляющего слова, и в связи

¹ Ср. данное в книге определение формы подлежащего: «Обычно подлежащее выступает в именительном падеже. Подлежащее в родительном падеже встречается при сказуемом, обозначающем отрицание наличия, существования» (стр. 395). Далее следуют приведенные выше примеры.

с этим оно выполняет функцию подлежащего, сохраняя, однако, традиционную форму косвенного, а именно, родительного падежа...» (стр. 397). Тем более, что далее говорится о подобных конструкциях «числительное + существительное» как о неделимом сочетании (стр. 400—431).

Вызывает также возражение и отнесение деепричастных оборотов к эквивалентам предложений. Тот факт, что деепричастные обороты выражают те же значения, что и придаточные предложения, которыми они могут быть заменены, не оправдывает их понимания как грамматических эквивалентов последних. При лингвистическом анализе нельзя не учитывать формальных способов выражения тех или иных значений, не следует при изучении грамматических отношений всецело опираться на рассмотрение логических и смысловых связей.

Заканчивая разбор «Исторической грамматики польского языка», считаем необходимым сделать несколько общих замечаний. Приводимые в каждом разделе факты диалектов, всегда очень интересные и точные, иногда органически мало связаны с изложением основного материала и воспринимаются как самостоятельные фрагменты. Следовало бы больше сопоставлять результаты наблюдений над материалами древнепольских памятников и других источников истории языка с данными говоров, поскольку последние часто представляют факты общепольского языка, нередко уже исчезнувшие в современном литературном языке, но наблюдаемые в древнейший и средневековый периоды его истории.

В книге в общем мало внимания уделяется сравнению излагаемых языковых фактов со сходными явлениями в других славянских языках (исключение представляет старославянский язык). Чтобы не увеличивать объема и так большой книги, можно было бы прибегать к сравнению с современными славянскими языками лишь в наиболее показательных случаях (как это, например, сделано в очерке о словообразовании — стр. 202, § 21, п. 11; стр. 203, § 23, п. п. 1, 2).

Все изложение ведется как описание отдельных исторических явлений, рассматриваемых в традиционном плане. Однако изучение исторического материала можно было бы вести, сопровождая его характеристикой отдельных, наиболее важных периодов истории польского языка, подводя определенные хронологические итоги каждого этапа, совмещая такого рода обобщения с характеристикой отдельных явлений. При таком методе изложения книга по истории языка стала бы, несомненно, более ценной. Нельзя не отметить с похвалой к хорошо составленному и достаточно обширному (стр. 513—596) указателю к книге (составитель М. Карась).

В целом книга заслуживает большого внимания как несомненный вклад в изучение истории польского языка и как в общем успешное методическое решение проблемы создания специального университетского научного пособия. Она представляет глубокий интерес не только для полонистов, но и для значительно более широкого круга специалистов, занимающихся общими и частными вопросами истории славянских языков.

А. С. Посыпанская

Pochodzenie polskiego języka literackiego. («*Studia staropolskie*». Pod red. K. Bu-
dzyka. T. III). — Wrocław, Wyd-wo PAN, 1956. 472 стр. (Inst. badań literackich PAN).

Дискуссия о происхождении польского литературного языка, возникшая среди польских языковедов более сорока лет назад и разделившая их на два лагеря — сторонников великопольской и сторонников малопольской диалектной основы литературного языка¹, в послевоенные годы приобрела небывалую актуальность. Особое значение ей придает та большая работа по изучению истории польского языка и исследованию его диалектов, которая развернулась в Польше по окончании второй мировой войны. Вопрос о началах польского литературного языка, особенно важный для полонистов и славистов ввиду относительно слабой разработанности проблемы

¹ Начало дискуссии обычно связывают с работами К. Н и т ш а «*Próba ugrupowania gwar polskich*» («*Rozprawy Akad. um. [PAU]. Wydz. filologiczny*», Ser. III, t. I, ogólnego zbioru t. XLVI, Krakowie, 1910) и «*Pochodzenie polskiego języka literackiego*» («*Język polski*, I, 1913), в которых нашла свое отражение концепция великопольского происхождения польского литературного языка, и А. Б р ю к н е р а «*Przyczynki do dziejów języka polskiego*», Ser. II («*Rozprawy Akad. um. [PAU]. Wydz. filologiczny*», Ser. III, t. IV, ogólnego zbioru t. XLIX, 1911), а также «*Powstanie i rozwój języka literackiego*» (в кн. «*Język polski i jego historia* [«*Encyklopedia polska*», t. II, dz. III (cz. I)], Warszawa—Kraków, 1915), в которых изложена противоположная, малопольская концепция.

формирования литературных языков вообще, не лишен известного интереса и для более широких лингвистических кругов. Все это делает весьма своевременным опубликование Институтом литературных исследований Польской Академии наук сборника «Происхождение польского литературного языка», знакомящего с нынешним состоянием дискуссии.

В сборнике выступают преимущественно языковеды. Две статьи принадлежат перу представителей других общественных наук — А. Гейштора (историка) и М. Р. Майеновой (литературоведа). В своем большинстве рассматриваемые работы относятся к 1951—1956 гг. Исключения составляют упомянутая статья К. Нитша «Происхождение польского литературного языка» (дополненная в 1956 г.) и статья Т. Лера-Сплавинского «Проблема происхождения польского литературного языка» («Problem pochodzenia polskiego języka literackiego»)¹, которые интересны не только как отражение в основном и по настоящее время не изменившихся взглядов их авторов², но и — едва ли не больше — в качестве освещающих исходные позиции сторонников великопольской концепции, которая именно в этих работах впервые нашла свое обоснование.

Статья К. Н и т ш а, крупнейшего польского диалектолога, написанная на основании всей совокупности известных в период ее написания фактов, не могла не оказать большого влияния на развитие полемики. Влияние это продолжает и теперь в значительной мере сказываться в работах представителей обоих лагерей, которые лишь постепенно выходят за круг намеченных в статье К. Нитша проблем. Опираясь на положение: «во всем мире основой литературного языка становится диалект той провинции, которая первой поднимается на высшую ступень и становится центром формирующегося государства и народа»³, — К. Нитш основой польского литературного языка считает великопольское наречие, поскольку первоначальным центром Польши была именно Великопольша. Автор при этом, по-видимому, недооценивает возможность существенных изменений и перегруппировки говором, вызванных их взаимодействием и взаимовлиянием. Пожалуй, наиболее яркий пример в этом отношении представляет собой говор Москвы (кстати, приводимый К. Нитшем в обоснование своего тезиса), который, издавна являясь основой русского литературного языка, сам подвергся под влиянием южнорусского наречия значительному изменению, став из севернорусского — среднерусским⁴. Подобная трансформация тем более допустима по отношению к великопольскому наречию, перенесенному, согласно К. Нитшу, со своей исконной территории в Краков, в область малопольского наречия, и здесь ставшему основой польского литературного языка.

Не менее априорным является положение К. Нитша о «культурном диалекте» как устной форме литературного языка, якобы сложившейся в дописанный период в Великопольше, при королевском дворе и в среде высшего духовенства, и перенесенной затем в Краков. Таким образом, «культурный диалект» в понимании К. Нитша оказывается лишенным широкой народной основы и территориальной отнесенности, что мешает строгой локализации и хронологии обсуждаемых особенностей литературного языка и остается, вероятно, одним из наиболее серьезных препятствий при решении вопроса о происхождении польского литературного языка. В статье К. Нитша это особенно сказывается в вопросе о носовых и сочетании *-ew-*. Представляется сомнительной возможность определения роли каких-либо языковых особенностей без предварительного выяснения их значения в системе языка, что возможно только при всестороннем анализе. В связи с вышеизложенным преждевременным представляется вывод об исключительности экспансии великопольского наречия на малопольское.

Т. Л е р - С п л а в и н с к и й в своей статье развивает положения, уже изложенные у К. Нитша. Выдвинутое им справедливое требование анализа грамматической структуры для выяснения диалектной основы польского литературного языка, к сожалению, в данной статье не реализуется. К аргументам К. Нитша автор добавляет другие доказательства великопольского происхождения литературного языка (великопольское *chw-* вместо малопольского *f-* и особенность носового резонанса гласных). В своей статье Т. Лера-Сплавинский находит возможным отнести начало мазуренья (произношение *s, c, z, dz* вместо *sz, cz, ż, dź*) к допольскому периоду, что весьма сомнительно⁵. Скорее о спонтанном развитии в говорах Малопольши общепольских *q,*

¹ «Przegląd Współczesny», V, 1926.

² См. стр. 16 и 338 рецензируемого сборника. Ср. также рецензию Т. Лера-Сплавинского на этот сборник (Т. L e h r - S p ł a w i ń s k i, Jeszcze o pochodzeniu polskiego języka literackiego, «Język polski», roczn. XXXVII, № 1, 1957).

³ См. стр. 7 рассматриваемой книги.

⁴ Есть и другие объяснения природы московского говора, как и всего среднерусского наречия вообще, принадлежащее Р. И. Аванесову (см. Р. И. А в а н е с о в, История средневеликорусских говоров, «Докл. и сообщ. Филол. фак-та МГУ», вып. 1, 1946).

⁵ Ср., например, Z. S t i e b e r, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa, 1952, стр. 70—71.

q, ȳ, ȳ, чем о великопольском влиянии, принимаемом Т. Лером-Сплавинским вслед за К. Нитшем, свидетельствует наличие в центральной Малопополье говоров с *o*, *e* вместо *q*, *ȳ* литературного языка. Объяснение К. Нитша¹ связано, напротив, со значительными трудностями, так как предполагает отсутствие в Великопольше «разложженного» произношения носовых типа *domp* (*dąb*), *rzont* (*rząd*), *prent* (*pręt*) и т. п. ко времени возможного влияния, что далеко не бесспорно. Более вероятным является предположение великопольского влияния для части малопопольских говоров в отношении характера носового резонанса, однако существование носового резонанса, идентичного великопольскому в наиболее южных малопопольских говорах (Подгалье, Спинь, Орава), ставит под сомнение возможность воздействия со стороны Великопольши и там, где контакты не были исключены.

Противоположная концепция малопопольской, точнее центрально-малопопольской, основы литературного языка представлена в статье В. Ташицкого «Генезис польского литературного языка в свете фактов истории языка» («Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historycznojęzykowych») и статье Т. Милевского «Новые работы о происхождении польского литературного языка» («Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego»).

Концепция В. Ташицкого, сильная своей критической направленностью, в известной степени восполняющая недостатки гипотезы К. Нитша, не лишена, однако, некоторой односторонности. Положение о возникновении литературного языка в XVI в., противопоставляемое им теории великопольского «культурного диалекта» X—XI вв., ограничивает автора в использовании даже своих преимуществ (ср. аргумент о рано утвердившихся в литературном языке формах типа *ra-*, *ja-*, *bać się*, общих для него с малопопольским наречием). Помимо преувеличения роли диалектизмов и недооценки действия нормы до XVI в., к числу недостатков у В. Ташицкого следует отнести положение об исключительно малопопольском характере диалектной основы литературного языка. Тех четырех малопопольских признаков литературного языка XVI в. (повсеместное употребление элемента *-ow-*: *kowalowi*, *ogniowi*; параллелизм *mię*, *cię*, *się* и *mie*, *cie*, *się* с предлогами и при глаголах; окончание *-och-*: *w krajoch*; глагольные формы типа *mówilech*), из которых только первый вошел в современный литературный язык, а остальные были весьма непрочными, явно недостаточно для обоснования точки зрения автора. Неприемлема во всех отношениях и оценка появления мазуренца и перехода *-ch* > *-k* на малопопольской территории (датируемых В. Ташицким XV—XVI вв.) как признаков отрыва литературного языка от своей диалектной основы.

Справедливо усматривая в сбивчивости определения понятия литературного языка и употребления термина «культурный диалект», широко бытующего в среде польских лингвистов, одну из серьезных причин неудач дискуссии, Т. М и л е в с к и й пытается в своей статье дать более точное определение этих понятий. Однако он только усложняет проблему, определяя «культурный диалект» то как локальный письменный язык, то как особый кастовый «жаргон» (обслуживающий потребности духовенства), который автор тем не менее находит возможным считать основой литературного языка. Критерий для определения понятия литературного языка у Т. Милевского слишком субъективен (см. стр. 63—64), а для XVI в., к которому относит автор его появление, помимо прочего, ахроничен. Весьма неопределенным у Т. Милевского является также понятие образца (для «культурного диалекта»), противопоставляемое им понятию нормы (для литературного языка).

С. У р б а н и к, сторонник гипотезы «культурного диалекта» в традиционном понимании, в статье «По поводу дискуссии о происхождении польского литературного языка» («Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego») подвергает критике неточность терминологии Т. Милевского, как и отрицательные моменты в работах представителей малопопольской концепции вообще (недостаточный учет данных современной диалектологии, преувеличение роли диалектизмов в XIII—XV вв.). Важной является мысль автора о необходимости подразделения памятников старопольской письменности, в зависимости от степени соблюдения норм, на три класса: 1) высший — религиозная литература, предназначенная для библиотек богатей; 2) средний — проповеди, молитвы, переводы уставов, писанные с практической целью; 3) низший — судебные записи.

Наиболее перспективной представляется позиция З. Ш т и б е р а, отраженная в его статье «По поводу дискуссии о происхождении польского литературного языка» («Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego»). В отличие от большинства других участников дискуссии, З. Штибер выступает сторонником смешанного великопольско-малопопольского происхождения диалектной основы литературного языка, которую он, впрочем, пока не уточняет ни в отношении территории, ни в отношении времени ее возникновения. Признавая важность влияния чешского литературного языка, на которое нередко ссылаются представители обеих полемизирующих группировок,

¹ Cp. K. N i t s c h, Z historii narzecza małopolskiego, «Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski», vol. II, Cracoviae, 1928, стр. 454—456.

ровок, он в то же время не склонен его преувеличивать. Основное значение З. Штибер придает одному из двух особенно интенсивно взаимодействовавших до XVII в. наречий — великопольскому или малопольскому.

Сторонник великопольской теории С. Роспонд в статье «Проблема генезиса польского литературного языка. Полемические замечания к статьям Т. Милевского и В. Ташуцкого» (*Problem genezy polskiego języka literackiego. Uwagi polemiczne do artykułów T. Milewskiego i W. Taszyckiego*) излагает в отношении генезиса литературного языка ряд интересных соображений, большая часть которых основана на материале новых разысканий автора. Так, самого пристального внимания заслуживают наблюдения С. Роспонда, свидетельствующие о значительном единстве графики и орфографии при передаче польских слов и названий в различных польских канцеляриях XII—XIII вв. Автор проследивает здесь непрерывную линию традиции, которая находит свои дальнейшие развития в польской письменности XIV—XV и XVI вв. Весьма интересны также лексические наблюдения С. Роспонда, которые в ряде случаев приводят к мысли не столько о великопольской основе, сколько о позднейшем великопольском влиянии. Однако собственно великопольскую лексику, проникавшую в литературный язык XVI в., автор не особенно четко отделяет от севернопольской (в том числе мазовской); в связи с этим он не оценивает силу воздействия великопольского наречия на литературный язык в XVI в. Местом зарождения польского языка С. Роспонд считает не всю Великопольшу, а только ее центральную часть вместе с территориями, прилегающими к ней с юга и востока (т. е. наиболее близкими к Малопольше).

Не отказываясь от мысли связать начало формирования литературного языка с устной нормой носителей великопольского наречия — представителей господствующего класса, З. Клеменсевич, однако, не склонен считать ее основой литературного языка. В своей работе «О разновидности современного польского языка» (*O różnycy odmianach współczesnej polszczyzny*) он развивает мысль, скорее приближающуюся к точке зрения З. Штибера: «... общий язык (т. е. «литературный язык», согласно терминологии З. Клеменсевича. — О. Т.) мог формироваться только в качестве смеси элементов разных диалектов, именно, прежде всего, великопольских и малопольских...» (стр. 220). Важно, что к своей позиции исследователь пришел иным путем. Большое значение З. Клеменсевич придает историческим данным, в частности первым свидетельствам применения польского языка в письменности, проповедей и при обучении. Не избегнув в своей работе отдельных неудач, что, прежде всего, относится к попыткам упорядочения терминологии разновидностей современного польского языка, автор в целом убедительно воссоздал в ней общую картину формирования литературного языка. Теоретически ценными моментами работы, помимо мысли о смешанной основе, является признание первенства письменного языка в формировании литературной нормы, а также схема периодизации истории польского литературного языка до XVII в. Из числа отдельных ошибочных положений наибольшее возражение вызывает принимаемая автором возможность первоначального развития литературного языка в виде языка классового (стр. 216).

В. Курашкевич начал работу «Происхождение польского литературного языка в свете данных исторической диалектологии» (*Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej*), которая, как и вообще труды этого ученого, отличается богатством новых фактов. Несмотря на удачное объяснение ряда частных вопросов, статья В. Курашкевича дает все же сравнительно мало для решения основной проблемы; в сущности, автор лишь пересматривает прежние аргументы великопольского лагеря. Отвергая положение о «культурном диалекте» в понимании К. Нитша, В. Курашкевич считает основой польского литературного языка говор города Кракова, подвергшийся, по мнению автора, чрезвычайно сильному великопольскому влиянию. Заметное преувеличение роли великопольских говоров в формировании литературного языка (автор не принимает во внимание диалектизм типа *Domk, krostawc, redło* и т. п., не вошедших в литературный язык) вместе с недооценкой роли малопольских (например, в вопросе о носовых) лишает это мнение достаточной убедительности.

Соображения по дискутируемому вопросу в свете новых данных, почерпнутых главным образом из рассмотренной работы В. Курашкевича, изложены Т. Лером-Славинским в статье «Из размышлений о происхождении польского литературного языка» (*Z rozważań o pochodzeniu polskiego języka literackiego*), которая относится к 1954 г. Особый интерес представляет часть, посвященная критическому рассмотрению основных теорий происхождения мазуряня — одного из узловых вопросов дискуссии. Не принимая высказанных в последнее время взглядов Г. Конечной, Е. Куриловича и С. Роспонда по этому вопросу, автор предлагает свою гипотезу кельтского субстрата как причины мазуряня, которую едва ли можно признать более убедительной. В основном поддерживая В. Курашкевича, Т. Лер-Славинский тем не менее по-прежнему остается сторонником «культурного диалекта» как устной великопольской нормы, ставшей основой литературного языка.

Языковедческие работы сборника включает совместная статья В. Ташицкого и Т. Милевского «Польский литературный язык возник в Малопольше. К дискуссии о происхождении литературного польского языка» («Polski język literacki powstał w Małopolsce. Cios w dyskusji nad pochodzeniem literackiej polszczyzny»). Обосновывая в общем убедительно возможность независимого развития носовых в малопольских говорах в том же направлении, что и в великопольских, В. Ташицкий не в состоянии опровергнуть аргументов своих противников (К. Нитша, С. Роспонда), доказывающих наличие появления мазуренья. Если обоим авторам удастся отстоять право центрально-малопольского наречия в известной мере считаться основой литературного языка, то их усилия аргументировать его исключительность в этой роли не достигают цели. Определение Т. Милевским XVI—XVII веков как периода «старопольского литературного языка», до появления которого им признается только существование «культурных диалектов», представляется неубедительным.

Статья историка А. Гейштора «Замечания о формировании польской народности в раннем средневековье на польских землях» («Uwagi o kształtowaniu się narodowości polskiej we wcześniejszym średniowieczu na ziemiach polskich») интересна попыткой связать возникновение польского литературного языка с процессом складывания польской народности. Автор стремится показать роль широких народных масс в формировании польского литературного языка. Однако определение его основы как великопольской, выдвигаемое А. Гейштором, из приводимых им исторических предпосылок с необходимостью не вытекает.

В заключающей сборник статье М. Р. Майеновой «Проблемы и позиции в дискуссии о происхождении польского литературного языка» («Problemy i stanowiska w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego») отмечаются известные сдвиги в уточнении методологии и накопления новых фактов, которые приближают к выяснению основного вопроса дискуссии, и вместе с тем констатируется неразрешенность проблемы в целом. С этим общим выводом нельзя не согласиться.

Завершение дискуссии задерживается как по причине недостаточной изученности ~~старинных письменных источников, так и недостаточности сведений о развитии польского и малопольского, в их взаимосвязи с историей польского литературного языка, так еще более вследствие несогласованности в таких принципиально важных вопросах, как вопрос о времени возникновения польского литературного языка, о его первоначальной форме — письменной или устной, о характере общественной среды, в которой он возник, и т. п.~~ Нерешенность вопросов подобного рода мешает уяснению и тех весьма многочисленных частных фактов, которые уже стали достоянием польской лингвистической науки и при более четком их истолковании могли бы в значительно большей степени способствовать решению всей проблемы. Сложность проблем дискуссии не поддает сомнению и делает ее временную незавершенность вполне понятной, даже если учесть, что Польша располагает превосходными лингвистическими силами.

При всем том последний период лингвистической полемики, посвященный проблеме происхождения польского литературного языка, был отнюдь не бесплоден. Помимо привлечения ряда новых ценных наблюдений и фактов, что в рассматриваемом сборнике главным образом отличает работы В. Курашкевича и С. Роспонда, последний этап был отмечен и расширением круга возрений. С особой силой это выразилось в появлении новой концепции смешанного великопольско-малопольского характера диалектной основы польского литературного языка. Есть основания полагать, что новая концепция, представленная З. Штибером и отчасти З. Клеменсевичем, более других приближается к истине.

Кроме указания З. Штибера на то, что литературному языку свойственны как великопольские, так и малопольские диалектные элементы, в пользу новой концепции говорят как будто следующие доводы: 1) неоднородность великопольского и малопольского наречий, заставляющая представителей как великопольской (С. Роспонд), так и малопольской концепции (В. Ташицкий, Т. Милевский) считать только часть говоров соответствующих наречий основой литературного языка; 2) существование в центре Польши языковой области, занимающей «территорию вокруг Серадза, между Петровком, Чепстоховом, Велюшем, Калишем, Коло и Лэнчицей»¹, диалект которой Т. Лер-Сплавинский называет центральным. Этот диалект, максимально выравненный и являющийся переходным между великопольским, малопольским и мазовецким наречиями², Т. Лер-Сплавинский объясняет как результат взаимодействия трех указанных наречий; по-видимому, наиболее длительным следует считать взаимовлияние великопольско-малопольское.

¹ Т. Лер-Сплавинский, Польский язык, М., 1954, стр. 50.

² Упоминания об указанном диалекте находим, помимо Т. Лера-Сплавинского, и у других польских языковедов, в частности К. Нитша, С. Шобера, С. Урбанчика. Ср.: K. N i t s c h, Wybór pism polonistycznych, t. I, Wrocław, 1954, стр. 217—218; S. S z o b e r, Gramatyka języka polskiego, cz. I, Warszawa, 1931, стр. 154; S. U r b a n i c z y k, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa, 1953, стр. 70.

Поскольку отмеченная неоднородность великопольского и малопольского наречий также могла объясняться сближением части их говоров на смежных территориях, а упомянутое центральнопольское наречие лежит именно между теми великопольскими и малопольскими говорами, в которых усматривают основу литературного языка¹, представляется возможным объединить эти диалектно сближенные районы в единую языковую область и именно в ней видеть территорию смешанного диалекта, основы польского литературного языка. Видимо, именно здесь, в тех частях Великопольши и Малопольши, между которыми издавна сложились многообразные тесные экономические, политические и культурные связи, сложилась та новая, общая для них диалектная система, которая естественно должна была включать элементы как того, так и другого наречия и ввиду главенствующей роли этих районов (Гнезно, Познань, Краков) стать основой польского литературного языка.

При принятии подобного допущения задача дальнейшего исследования вопроса в значительной степени заключалась бы в определении границ и времени возникновения названной территории, а также особенностей ее формирования, что возможно лишь при условии максимально точной локализации (и хронологии) особенностей литературного языка. Вопрос о том, какое из двух наречий легло в основу говоров указанной территории, должен в таком случае приобрести лишь второстепенное значение как не имеющий непосредственной связи с вопросом о диалектной основе польского литературного языка.

О. Б. Ткаченко

Herbert Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Tl. I. Die Final- und abhängigen Heischesätze («Veröff. der Abt. für slav. Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slav. Seminar an der Freien Univ. Berlin», Bd. 14). — Wiesbaden, 1957. 262 стр.

Опубликованная часть работы Г. Брейера «Исследования в области конъюнктива в старославянском и древнерусском языках» посвящена весьма мало изученному вопросу о способах выражения модальных отношений желательности в придаточных предложениях. Автор рассматривает употребление глагольных форм в составе придаточных предложений цели и в так называемых зависимых предложениях требования (Heischesätze), т. е. в таких дополнительных предложениях, которые зависят от глаголов требования, желания, просьбы, приказа. При этом в исследовании выделяются случаи использования изъявительного и сослагательного наклонений, глаголов совершенного и несовершенного видов, определяются вводящие придаточные предложения союзы и их взаимоотношения с теми или иными формами глагола. Попутно автор останавливается и на синонимических в отношении придаточных предложений цели и требования инфинитивных конструкциях.

В первой части работы (§§ 3—33) Г. Брейер анализирует старославянский материал. Особое внимание уделяется данным евангельских текстов (в основе — Маринский кодекс; учитываются разночтения и других рукописей) и Супрасльской рукописи, из которых автор приводит исчерпывающее количество примеров на употребление тех или иных конструкций. Автор приходит к следующим выводам:

1. В придаточных предложениях цели и требования старославянским глаголом совершенного вида обычно передается греческий конъюнктив аориста, глаголом несовершенного вида — греческий конъюнктив настоящего времени. Однако встречаются и отклонения. Автор предполагает, что в случае использования настоящего времени бесприставочных глаголов несовершенного вида (видѣти, ити, ести и т. п.) в соответствии с греческим конъюнктивом аориста формами настоящего времени выражается значение будущего времени, так как действие придаточного цели и требования с точки зрения субъекта главного предложения всегда относится к будущему.

2. В качестве союза, вводящего придаточные предложения цели и требования, выступает обычно союз *да*. Придаточными предложениями с этим союзом переводятся не только греческие предложения с *ὅτι*, но и греческие инфинитивные конструкции.

3. Формы условного наклонения в придаточных предложениях цели и требования встречаются весьма редко (в евангельских текстах 1:16 случаев). Автор, полемизируя с Ст. Слоньским и А. Мейе, вполне обоснованно утверждает, что употребление форм условного наклонения в подобных случаях приводит к усилению оттенка желательности

¹ Ср. стр. 175 рецензируемой книги, где С. Роспонд определяет область зародышевого польского *końcu* как «центральный диалект (Великопольши. — О. Т.) с прилегающими с востока и юга (т. е. со стороны Малопольши. — О. Т.) территориями», и стр. 44, где В. Ташицкий основой польского литературного языка считает центральномалопольский диалект, граничащий с юга с центральным диалектом в понимании Т. Лера-Сплавинского.

действия или же вносит особый оттенок виреальности, например, в случае Лк. 15,29: и *мѣкъ нѣкогда не дасть си козлаати, да съ двѣма ѡвци възвесеца съ вѣкъ* (стр. 56).

Приводимый Г. Брейером фактический материал из памятников старославянского языка определен в общем вполне правильно. Укажем все же некоторые неточности. На стр. 44: *судѣ бо ти естъ, да помыслѣтъ едина оудѣ тѣмѣхъ...* — едва ли следует видеть здесь целевое значение. На стр. 22: *и надѣ въстѣли сими ѡбидѣ нами и вѣли пропадѣ великъ оутѣрѣди сѧ, чѣко да оутѣшѣти мѣнѣти отъ сѣдѣхъ къ вѣмѣ не възмогѣмѣтъ ни нѣде отъ тѣждѣ къ намѣ прѣходѣтъ* — очевидно, придаточное предложение следствия, но не цели.

В §§ 34—77 автор рассматривает древнерусский языковой материал. Особенное внимание уделяется языку летописей (§§ 24—65). Уже в «Повести временных лет» Г. Брейер обнаруживает существенную особенность в использовании глагольных форм: в отличие от старославянского языка, в предложении требования, зависящих от глаголов просьбы, нормальным является использование форм условного наклонения. В дальнейшем формы условного наклонения распространяются и в придаточных предложениях цели; они господствуют, в частности, в языке 2-й Софийской летописи (13 случаев при 7 случаях с изъявительным наклонением).

Типы придаточных предложений цели и требования в древнерусском языке вообще находятся в зависимости от происхождения памятника и ст. удельного вса церковно-славянской языковой стихии. В составе Успенского сборника XII в. придаточные предложения с формами условного наклонения встречаются, например, главным образом в оригинальных древнерусских произведениях — в «Сказании о Борисе и Глебѣ» и «Житии Феодосия Печерского». Разнотипность придаточных предложений имеет место еще в литературном языке XVII в.: формы изъявительного наклонения характеризуют язык Авраамия Палицына, в то время как у Григория Котляхина в придаточных предложениях цели и требования встречается лишь условное наклонение.

Приводимый Г. Брейером фактический материал позволяет предположить, что в живом русском языке формы изъявительного наклонения в рассматриваемых придаточных предложениях не были употребительны уже около XVI в.

Автор прослеживает также развитие новых целевых союзов, в том числе и особенно характерного для русского языка союза *чтобы*. Уделяется внимание также использованию инфинитива с новыми целевыми союзами в соответствии с целевыми придаточными предложениями. К сожалению, Г. Брейер совершенно не касается вопроса об односубъектных и разносубъектных сложных предложениях с придаточными цели, хотя этот момент сыграл весьма существенную роль в развитии соответствующих конструкций в русском языке¹.

Вторая часть работы Г. Брейера в общем содержит весьма ценный материал по историческому синтаксису русского языка. Возможно, что несколько более целесообразным было бы положить в основу классификации хронологический момент, не выделяя в особый раздел материал летописей, весьма разновременный по происхождению (XIII—XVII вв.). Укажем также, что из поля зрения автора совершенно выпадает бессознательное подчинение целевых предложений в древнерусском языке типа *...такому человеку бысаетъ наказаніе кнѣзѣмъ, и отдадутъ тому господину назабѣ еѣ слуги: не бей челоуѣ и не затѣвай на господина своего ложно*², — с использованием форм повелительного наклонения.

В заключение автор делает общий вывод о том, что в русском языке, благодаря использованию форм условного наклонения в придаточных цели и требования, образуется как бы «новый конъюнктив», — в отличие от южнославянских языков, где по-прежнему используется изъявительное наклонение (исperfektivное настоящее время). В этом отношении русский язык сближается с западнославянскими языками, в которых формы условного наклонения также весьма рано проникли в придаточные предложения рассматриваемого типа. Причину этого измещения Г. Брейер видит в разных путях, по которым пошло развитие видовой системы у южных славян и в древнерусском языке. В русском языке перфективное настоящее время полностью развило значение будущего времени; это способствовало проникновению форм условного наклонения в придаточные предложения. Формы перфективного настоящего времени в южнославянских языках не имеют самостоятельного значения будущего времени, для его выражения используются описательные формы; поэтому перфективное настоящее, получив «бевременное» значение, продолжает употребляться в зависимых предложениях.

В целом работа Г. Брейера, содержащая богатый фактический материал и хорошо обоснованные выводы, представляет собой заметный вклад в изучение славянского исторического синтаксиса.

А. Б. Правдин

¹ Ср.: Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, [М.], 1956, стр. 527 и сл.

² Г. Когошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, СПб., 1906, стр. 120.

Е. В. Кротевич, Н. С. Родзевич. Словник лінгвістичних термінів. Загальна ред. Е. В. Кротевича. — Київ, Вид-во АН УРСР, 1957. 236 стр. (Ин-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР).

Уже давно имеется потребность в словаре лингвистических терминов, который помог бы читателю разобраться в большом количестве терминов, употребляемых разными учеными. Такой словарь должен содержать в себе систематизированное собрание всех или почти всех терминов, которые встречаются в языковедческой литературе. Подобное издание послужило бы первым шагом для упорядочения страдающей исключительно разнообразием лингвистической терминологии, да и сам словарь был бы незаменимым пособием при изучении истории языкознания.

Попытки создания терминологического словаря у нас были. В 1924 г. проф. Н. Н. Дурново выпустил «Грамматический словарь»¹, составленный на основе статей, написанных им для «Литературной энциклопедии»². Это очень небольшой словарь, содержащий всего 273 слова, уже в значительной степени теперь устаревший; к тому же он представляет в настоящее время библиографическую редкость. Вторым опытом словаря лингвистических терминов был изданный на правах рукописи Московским институтом востоковедения «Лингвистический словарь» проф. Л. И. Жиркова³. Этот словарь, тоже далеко не полный (214 слов), составлен в качестве пособия к курсу «Введение в языкознание». В выборе иллюстративного материала заметна склонность к восточным языкам, так как словарь предназначался прежде всего для студентов указанного института. Положительной стороной словаря Л. И. Жиркова является наличие в нем краткой характеристики отдельных языков и языковых семей.

Широко известен за рубежом и у нас словарь лингвистических терминов Ж. Марузо⁴, выдержавший ряд изданий. В США в 1954 г. вышел словарь лингвистических терминов Лей и Гейнора⁵. Несколько раз переиздавался в Югославии словарь-справочник по сербохорватскому языку М. С. Лалевица⁶.

Рецензируемая книга является первым изданием из серии терминологических словарей, подготовляемых к печати Институтом языкознания им. А. А. Потебни Академии наук Украинской ССР. Словарь Е. В. Кротевича и Н. С. Родзевич выгодно отличается от словарей Н. Н. Дурново и Л. И. Жиркова как объемом словника (около 700 терминов), так и наличием при большей части статей библиографических справок. Библиография в Словаре в основном составлена из новых работ (включая издания 1955 г.). Авторы дают в большинстве случаев ссылки на труды, помещенные в различных периодических изданиях, сборниках, ученых записках, а также на брошюры, обычно мало учитываемые в исследованиях. Это вполне закономерно для Словаря, в котором нельзя помещать большие списки, где имелись бы исчерпывающие перечни литературы по какому-либо вопросу. Более полные перечни можно найти в монографиях и в работах, к которым относится указанный словарь.

Написанный на украинском языке «Словарь лингвистических терминов», однако, может быть использован и читателем, мало знакомым с украинской грамматической терминологией: для этой цели в конце словаря имеется русско-украинский указатель лингвистической терминологии. Кроме того, в самом тексте рядом с украинским помещен соответствующий русский термин. Составители в каждом объясненном слове отметили ударение, что редко делают авторы терминологических словарей. Для большинства терминов, заимствованных из других языков или представляющих собой кальку с иноязычного слова, в словаре дается указание о их происхождении. Нередко отмечается даже, каким языковедом введен тот или иной термин.

Несмотря на указанные выше положительные моменты, следует, однако, подчеркнуть, что рассматриваемый словарь составителями недостаточно продуман и составлен небрежно. Прежде всего в нем нет общего принципа отбора терминов. Отсутствие единого критерия привело к тому, что в словарь попали отдельные слова, не являющиеся лингвистическими терминами (например, *абзац*, *палеография*); непонятно также, зачем включены в словарь транслитерированные русскими и украинскими буквами латинские грамматические термины *деκκлинация* и *конъюгация*.

Весьма многочисленны пропуски терминов. Перечислим некоторые из них: по фонетике — *абруптивы*, *аканье*, *акцентологические законы* А. А. Шахматова и

¹ Н. Н. Дурново, Грамматический словарь. (Грамматические и лингвистические термины). М. — ПГ., 1924.

² «Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов», тт. I—II, М. — Л., 1925.

³ Л. И. Жирков, Лингвистический словарь, М., 1945 (2-е доп. изд., с предисл. И. И. Мещанинова, — М., 1946).

⁴ J. Marouzeau, *Lexique de la terminologie linguistique*, 3-е éd., Paris, 1951.

⁵ M. A. Pei, F. Gaynor, *A dictionary of linguistics*, New York, 1954.

⁶ М. С. Лалевић, Речник из српскохрватског језика и правописа, 5-о изд., Београд, 1953.

Ф. Ф. Фортунатова — Ф. де Соссюра, закон открытых слогов, выдержка, архифонема, глайды, йотация, коартикуляция, когеренция, коррелятивы, корреспонденты, нейтрализация, речевой (говори́льный) аппарат; согласные зубные, какуминальные, межзубные, полусмычные, приданные, твердые и мягкие (смягченные) согласные, смычно-проходные, **амфатические** согласные, эпентеза (сставка); по морфологии — грамматическая индукция, итеративные глаголы, морфологическое чередование звуков, морфонология, отыменные образования, формати; по синтаксису — аттракция, бессюжетное предложение; по лексикологии и семасиологии — абыдеация, дифференциация значений, семантическое поле, синекдоса, словарь языка отдельного автора, словари синонимов, фразеологический словарь, **эпистомиесми**; по истории языков — дательный самостоятельный, дифференциация и интеграция языков или диалектов, историческая грамматика, историческая фонетика, история языка, ларингальная теория, происхождение языка; а также термины, обозначающие лингвистические школы и направления.

Отсутствуют такие термины, как лингвистика, языкознание, графема, искусственные языки, ономастика, пиктография, письмо, речь, синхрония и диахрония, языковая экспрессия и многие другие. Следовало бы включить в словарь и названия важнейших языков и языковых семей.

Однако дело не только в том, что в словаре встречаются нелингвистические термины и пропущены многие широко распространенные лингвистические. Книга вообще лишена внутреннего единства, в ней много повторений, некоторые связанные друг с другом понятия подаются изолированно.

Повторения имеются в статьях «Эксплозия» и «Имплозия», «Предложение» и «Сложное предложение» и др. Не указано соотношение между «Вспомогательным глаголом» и «Глагольной связкой». Есть и неточные или неверные ссылки на другие статьи словаря («Восходящее ударение», «Метатеза»); встречаются также фактические ошибки. В статье «Акут» утверждается, что «...старые акутовые долготы в чешском и словацком языках, как правило, сохранились долгими, а старые циркумфлексные долготы все сократились». Это утверждение верно для чешского языка, в словацком же языке сократились как старые циркумфлексные, так и старые акутовые долготы.

В статье «Выпадение звуков» в качестве примера исчезновения гласного звука приводятся укр. *вінок* — *вінка*, *кінець* — *кінця*. На самом же деле в данном случае мы имеем просто исторически сложившееся чередование гласного с нулем звука на месте былого глухого (редуцированного) гласного (ср. др.-русс. *бѣньк* — *бѣнька*, *коньць* — *коньца*).

В качестве доказательства родства языков приводится лишь то, что эти языки «сохраняют, как аномалии, исключения, формы, которые были нормативными в период их былой общности», причем нет ни одного примера (см. «Генеалогическая классификация языков»). Почему-то в качестве соответствия укр. *тхір* приведено русск. *хорек*, а не *хорь* (см. «Дестимологизация»). Слово *экспираторный* — не от лат. *expiratio*, а от лат. глагола *exspirare* «выдыхать». Согласный в укр. *теій*, *війна* почему-то назван неслогообразующим гласным (см. «Консонант»). Слово *мрамор* рассматривается как результат метатезы. На самом же деле это слово является заимствованием из старославянского языка, куда оно попало из греческого (откуда и лат. *marmor*). Ошибочно объяснено слово *тема*.

Отметим некоторые опечатки: в статье «Инфинитив» должно быть: «основы на -*и*», а не «на -*і*» (стр. 75); в результате опечаток искажен смысл двух последних предложений в статье «Дифтонг» (стр. 48); неверно дано написание латинского слова: *litera* *vm. littera* (стр. 198).

Несколько слов нужно сказать о библиографии. Отсутствие четко проведенного принципа в подборе библиографии оправдывается в предисловии «сложностью и трудоемкостью работы над библиографией». Небрежная и бессистемная подача библиографии обусловила и другие недостатки этой части словаря: не выдерживается общепринятый принцип библиографического описания произведений, допускается большое число неточностей.

Весьма краткий список работ и учебников по общему языкознанию, по русскому и украинскому языкам помещен в примечании на стр. 4. Этот список следовало бы несколько расширить, включив в него учебник А. А. Реформатского «Введение в языкознание», «Лекции по общему языковедению» В. А. Гогородникого и ряд других пособий, и выделить этот список особо. Неясно, почему в число лингвистических словарей попал «Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов» (тт. I—II, М.—Л., 1925). В таком случае лингвистическими словарями будут все энциклопедические и толковые словари, ведь и в них дается объяснение лингвистических терминов.

Некоторые статьи лишены библиографических справок («Внутренняя форма слова», «Причастный оборот»). Но иногда одни и те же работы повторяются в библиографии соседних статей («Этимологический словарь» и «Этимология»; «Словарь идиом» и «Словарь иностранных слов»; «Фразеологическая единица» и «Фразеология»). Было бы лучше, если бы вместо многократного повторения названий одной и той же работы да-

вдалась отсылка к библиографии какой-нибудь статьи. Вообще вся система отсылок в рассматриваемом словаре не продумана, а при библиографии ее вовсе нет. При указании источника цитации составители ограничиваются только фамилией автора, не давая названия произведения.

В некоторых случаях статья представляет собой по существу цитату из чужой работы (без указания источника), лишь с незначительными сокращениями и искажениями. Так, почти вся статья «Контекст» (83 стр.) взята из книги Л. А. Булаховского «Нариси з загального мовознавства» (Київ, 1955, стр. 25—26). Например:

у Э. В. Кротевича и
Н. С. Родзевич:

«Лише з контексту стає цілком ясним, наприклад, про яку саме картку йдеться в таких реченнях: „Я одразу впізнала його на старій картці“; „Він устиг написати на картці лише кілька слів запрошення на товариську вечерю“; „Запишіть цю книгу на картку“ і т. п. Контекст встановлює важливе розрізнення — як саме слово вжите: в його прямому (звичайному) значенні чи переносно (образно, фігурально)» (стр. 83).

у Л. А. Булаховського:

«Лише з контексту стає цілком ясним, наприклад, що йдеться про фотографічну картку: „Я одразу впізнала його на старій картці“, чи про візитну картку: „Він устиг написати на картці лише кілька слів запрошення на товариську вечерю“, чи про картку для картотеки: „Запишіть цю книгу на картку“ і т. п.... (25 стр.).

Контекст, як сказано, встановлює для нас і важливе розрізнення — як саме слово вжито (тим, хто говорить, пише): в його прямому (звичайному) значенні чи переносно (образно, фігурально)...» (стр. 25—26).

С небольшими сокращениями списаны из книги Л. А. Булаховского предыдущий и следующие два абзаца этой статьи. Впрочем, разночтения можно объяснить тем, что составители не списывали из этой книги Л. А. Булаховского, а переводили соответствующие места из его же книги «Введение в языкознание», ч. II, изданной на русском языке Учпедгизом в Москве в 1953 г. (2-е изд. — 1954). Почти дословно переведено и включено в статью «Народная этимология» (100 стр.) соответствующее место (стр. 169) из учебника «Введение в языкознание» Л. А. Булаховского (в «Нарисах з загального мовознавства» это место опущено).

Реминисценции книги Л. А. Булаховского заметны и в ряде других статей словаря (например, «Катахреза», «Термин», «Дезимологизация»). В словаре нет никаких указаний на источники, использованные при составлении этой книги.

Однако в ряде случаев составители находились также под влиянием «Словаря иностранных слов» (под ред. И. В. Мехина и Ф. Н. Петрова, 5-е изд., М., 1955). Так, по «Словарю иностранных слов» дано объяснение *контаминации* с привлечением для иллюстрации того же примера. Оттуда же взяты определения и ряда таких слов: *лексикография*, *метонимия*, *сонант*, *фрикативные согласные* и др.

Рассматриваемый словарь страдает и другими недостатками: неравномерностью охвата терминологии разных разделов языкознания (более или менее полно отражена терминология синтаксиса и морфологии, в других частях видны значительные провалы), громоздкостью отдельных статей (в то время как некоторые чрезмерно кратки: давая лишь определение, они не раскрывают нужного понятия), отсутствием раздела «О пользовании словарем» и т. д.

Очевидно ни составители, ни Институт языкознания им. А. А. Потебни не отнеслись с должным вниманием к составлению «Словаря лингвистических терминов» — к этому «очень трудному, сложному, сравнительно новому и ответственному делу» (из предисловия к словарю). Тем не менее нужда в терминологическом словаре такова, что и данный словарь, несмотря на его недоработанность, несомненно, может принести известную пользу читателю.

Все же одной из очередных задач наших языковедов остается составление лингвистического словаря, который отвечал бы современному уровню науки, отражая ее последние достижения. Лучше всего такой словарь издать на русском языке, тогда он будет служить пособием для более широкого круга лиц, интересующихся языкознанием.

И. Г. Добродомов

Курс де лимбэ молдовеняскэ литерарэ контемпоранэ. Вол. 1. I — Ынтродучеря, II — Фонетика, III — Лексиколожия, IV — Морфоложия. Суб ред. луй А. Т. Борщ, Н. Г. Корляну (редакторы принч.) ши В. П. Соловьев. — [Кишинэу, «Шкоала советикэ», 1956]. 515 стр. (Ин-тул де историе, лимбэ ши лит-рэ ал Филиалей Молдов. а Акад. де шtiinца а Униуний РСС).

Вышедший из печати первый том «Курса современного молдавского литературного языка» содержит краткий очерк истории молдавского литературного языка, описание звукового строя современного языка и его лексики, в большей же своей части посвящен анализу грамматического строя (морфологии).

В работе приведен обширный фактический материал. Излагаемые положения иллюстрируются в большинстве случаев хорошо подобранными примерами из современных авторов, а также из произведений классиков молдавской литературы и ранних памятников молдавской письменности.

Довольно полно и всесторонне описана молдавская лексика. При этом рассматривается как формирование лексики, так и ее особенности в настоящее время.

Указанный раздел работы можно вообще считать наиболее удавшимся, хотя отдельные вопросы (специфика молдавской лексики, славянские элементы, народная этимология) могли быть рассмотрены в нем более детально¹.

Гораздо менее удачен другой дополнительный раздел «Курса» — «Фонетика». Написанный без учета важного в данном случае опыта румынских фонетистов и по существу содержащий лишь перечень артикуляционных особенностей отдельных звуков без определения фонематических соотношений, он не дает даже приблизительно верного представления о системе молдавских звуков. Живые позиционные чередования не отделены в нем от традиционных исторических. Удивляет отсутствие главы об интонации. «Фонетика» изобилует и другими ошибками и неточностями уже более частного характера².

Мало удачным можно также считать опыт исторического введения, где так непоследовательно и противоречиво изложены взгляды на взаимоотношения молдавских и румынских литературных и разговорных норм, а также — на диалектную основу молдавского литературного языка. Периодизация истории молдавского языка дана не на единых основаниях.

Рассматривая раздел морфологии, которой отведено в «Курсе» самое значительное по объему место, прежде всего следует отметить, что наряду с положениями, которые находятся в соответствии с достижениями современной науки о языке, здесь имеется и целый ряд устаревших, неверных положений, отражающих уже давно пройденные этапы развития языкознания.

Таково, например, представленное в «Курсе» учение о наклонениях глагола. Из определения категории наклонения узнаем (стр. 327, 328), что наклонение выражает то, каким образом говорящий представляет себе отношение глагольного действия к действительности («... кум сокоате ворбиторул ранпорул фаце де реалитате а прочесулуй експримат де верб»). Из последующего же изложения оказывается, что в молдавском языке имеются личные и неличные «наклонения». К «неличным наклонениям» (модуриле неперсонале) относят инфинитив, причастие, герундий. Естественно при этом, что описание этих форм не содержит характеристики их с точки зрения отношения к действительности, так как отношения к действительности эти формы не выражают и противопоставляются другим глагольным формам совсем по иным признакам (по отсутствию способности выражать сказуемостные отношения, по своей близости к именам и т. д.). От трактовки неличных глагольных форм как особых наклонений уже давно отказались все грамматисты как у нас, так и за рубежом. Одно из редких исключений составляет в этом отношении Академическая грамматика румынского языка, с которой в данном случае не следовало брать примера.

Что касается других наклонений, то нельзя, например, считать даже приблизительно верным определение значения конъюнктива. Форме этой приписываются грамматические значения (возможности действия, цели, необходимости, желания, просьбы, сомнения и т. д.; см. стр. 329), которые в одних случаях выражаются лексическим значением глагола или контекстом, а в других вообще отсутствуют. В этом нетрудно убедиться на примерах, предлагаемых автором раздела: *trebuie să vedem* «надо посмотреть», *trebuie с 'о меричь* «надо, чтобы ты это заслужил» (подчеркнуто мной. — В. Т.). В примере *се ласа олякă сă се ходиняскă* «позволяла себе немного отдохнуть» и вовсе не обнаруживается ни один из указанных оттенков значения формы. Значение неуверенности действия, приписываемое форме прошедшего времени конъюнктива (стр. 367), в при-

¹ Ср. Д. Михалчи, О лукраре колективэ а лингвистилов молдовенъ, газ. «Молдова социалистэ» 17 II 57.

² См. Н. Корчинский, Ун сукчес елоквент, газ. «Култура Молдовей» 6 I 57; Р. Удлер, В. Сербалэ, Фонетика, «Култура Молдовей» 21 II 57.

водимом примере содержится в глаголе главного предложения: *ну кред, сз фи выдрзнит* «не думаю, чтобы они осмелились» (подчеркнуто мной. — В. Т.). Сложность и многообразие функций конъюнктива в молдавском языке действительно создает большие трудности определения его значений, но не оправдывает, на наш взгляд, того смещения значения формы с лексическим значением слов и общим смыслом предложения, которое наблюдается в работе.

Подобное смещение обнаруживается и при анализе других категорий. Так, одним из значений формы будущего времени считается способность этой формы выражать неуверенность (акциуна ындоелникэ; стр. 362). В примере же эта неуверенность выражена в содержании всего предложения, связана с его вопросительным характером.

Частица *сз* при конъюнктиве неверно названа союзом (стр. 209). Эта частица уже давно утратила свое союзное значение и стала аналитическим средством выражения глагольной категории (сослагательного наклонения), регулярно включаемым в парадигмы спряжения всеми грамматиками, не исключая и самого «Курса». Значение союза ощущается в частице *сз* лишь при употреблении формы конъюнктива в некоторых типах придаточных предложений.

Значения временных форм индикатива описаны довольно подробно. Спорным, однако, является включение молдавского имперфекта в разряд относительных времен (стр. 328), тем более, что при характеристике значений имперфекта (стр. 349—351) никаких аргументов в пользу этого мнения не приводится. Хорошо, что в группе прошедших времен значение простого перфекта определяется в плане сопоставления со значением сложного перфекта, так как обе формы тесно связаны по значению. Однако область употребления сложного перфекта искусственно сужена. Не отмечается тот неоспоримый факт, что в современном языке сложный перфект может употребляться для выражения всякого прошедшего действия (исключая сферы имперфекта), в том числе действия, происшедшего в весьма отдаленные от момента речи периоды времени и при наличии уточняющих этот период обстоятельственных слов. Например: *ын вану, XIX с'а дизволтат ши студияр лимбий молдовенешть ын школиле Бессарабий* «в XIX веке началось (стало распространяться) изучение молдавского языка в школах Бессарабии» (стр. определение значения этой формы на стр. 354).

Неверно, на наш взгляд, объяснение второй формы будущего времени *ам сз кынт* «спою, буду петь». В «Курсе» приобретение этой конструкцией значения будущего времени объясняется (стр. 360) близостью модального значения конъюнктива (возможное действие) к временному значению конструкции в целом. Однако поскольку конъюнктив в молдавском языке имеет тенденцию повсюду заменять инфинитив (теряя при этом свое собственное модальное значение), то очевидно, что новая разговорная форма будущего времени построена потишу, который в давние времена послужил образцом для создания будущего времени в западных романских языках, с той лишь разницей, что вспомогательный глагол в молдавском языке находится в препозиции, а не в постпозиции. Временное значение будущего связано в этой форме не с модальным значением конъюнктива (который и не имел его в указанной конструкции), а, как это было и при образовании форм будущего времени в западных романских языках, с оттенком намерения, должеествования глагола *а авя* «иметь», приобретаемого им в такого рода конструкциях (стр. в современном французском языке: *j'ai a chanter* «я должен, я намереваюсь петь»).

Непонятно, почему залог исключается авторами из системы грамматических категорий глагола (см. § 100), хотя в дальнейшем изложении описанию залоговых отношений и уделяется место (§ 104). Категория залога в молдавском языке имеет вполне определенные грамматические средства выражения, специальные глагольные формы, и не включать ее в глагольные категории нет никаких оснований.

Противоречиво и непоследовательно дано учение о структуре слова. Так, формоизменяемый постпозитивный артикль (*скауну-а* «стул») называется то флексией (стр. 208), то суффиксом (стр. 210), то служебным словом (стр. 215); одна и та же глагольная основа — то основой (стр. 344), то корнем (стр. 343), хотя в § 71, где определяются эти понятия, делается предупреждение о необходимости их разграничивать (стр. 210).

Образующими личные глагольные формы основами в некоторых случаях почему-то считаются не сами глагольные основы, а инфинитив и причастие, которые ни в какие времена не служили и не служат в молдавском языке продуктивными элементами для образования простых глагольных форм (в качестве глагольных основ инфинитив и причастие выступают лишь в аналитических формах). Так, по-видимому, на том основании, что личные окончания имперфекта совпадают с окончаниями настоящего времени глагола *а авя* «иметь», образование этой формы представлено как инфинитив + глагол *а авя* (стр. 349). Но такое расчленение имперфекта неверно с точки зрения исторической, поскольку молдавский имперфект образован не от инфинитива, а продолжает соответствующую латинскую форму. Искусственно и неверно оно также с точки зрения структуры формы в современном молдавском языке и даже как чисто практический прием не помогает уяснению образования формы. Ведь как ни делить, например, форму *кынтам* «я пел, мы пели» (*кынт-ам* или *кынта-м*), одновременно выделять в ней инфинитив и глагол *а авя* не удается. В глаголах других спряжений: *коборам* «спускал», *дучам* «вел» и вовсе нельзя усмотреть формы инфинитива (*а дуче, а коборы*).

Что касается образования простого перфекта, то и он образован не от самого причастия (см. стр. 351), а от основы причастия, которая лишь в непродуктивном III спряжении совпадает с формой самого причастия (*дус* «ушедший», *зис* «сказанный»), а в живых продуктивных спряжениях (I и IV) не отличается от основы, образующей другие глагольные формы (ср. *кынт-ай*, *кынт-ашь*, *кынт-э* — перфект и *кынт-ам*, *кынт-ай*, *кынт-а* — имперфект).

Учение о падежной системе так, как оно изложено в «Курсе», представляет определенный анахронизм. Молдависты все еще упорно не хотят отказаться от традиционной схемы четырехпадежного склонения, хотя схема эта не отражает реально существующей в языке системы форм.

Молдавский язык не располагает специальными формами для именительного, родительного, дательного и винительного падежей, значение и функции которых подробно описаны в «Курсе» (см. главу об омонимии падежей на стр. 234). Выраженных специальными падежными флексиями падежных форм существительных в молдавском языке различается только две: *каса* «дом» и *касе*. Первую из них можно назвать прямым или субъектно-объектным падежом, вторую — косвенным или падежом косвенного дополнения. Но даже эти две падежные формы обнаруживаются только в единственном числе слов женского рода. Во множественном же числе и в обоих числах мужского и так называемого обоюдного рода специальные падежные формы выделить и совсем невозможно. Большинство молдавских существительных изменяется, таким образом, лишь в числе, а во всех «падежах» они остаются неизменяемыми. В роли своеобразной двухпадежной (постпозитивной и препозитивной) флексии выступает здесь, правда, определенный и неопределенный артикли (*ун лул* «волок», *унуй лул*, *лулул*, *лулулуй*). Поэтому вместо длинных парадигм и перечисления «типов склонения» достаточно предложить схему двухпадежного склонения артикля и сказать, что без артикля существительное по падежам не изменяется, кроме существительных женского рода, в которых форма косвенного падежа совпадает с формой множественного числа. Зная правила образования множественного числа существительных, таким образом можно получить любую (из двух) падежную форму.

Такое представление остатков падежной системы в молдавском языке не только более удобно и правильно методически, но и научно обосновано, так как исходит из живых форм молдавского языка, дает понятие о системе форм, специфике этой системы в молдавском языке. Традиционное же учение о четырех падежах, приписывающее молдавскому языку категории, широко распространенные в других языках, но не получившие развития в молдавском, целиком покоится на русской и латинской грамматиках, не отражает специфики молдавского языка и давно требует пересмотра.

В связи с этим следует сказать, что авторы «Курса» вообще чувствуют себя более уверенно тогда, когда дело идет о категориях, имеющих в русском языке и, следовательно, разработанных русистами. Специфика грамматической структуры молдавского языка описана слабее. Часто по поводу тех или иных явлений языка авторы ограничиваются общими замечаниями, пригодными для многих других языков. Так, очень поверхностно и общо описаны залоговые отношения (§ 104), категория лица и безличные глаголы (§ 103), понятия переходности и непереходности (стр. 326—327). А между тем все эти категории имеют в молдавском языке как со стороны значения, так и в отношении их внешнего выражения, ряд специфических особенностей, на которых главным образом и следовало бы остановиться.

При характеристике частей речи не учтено, что большое количество местоименных форм молдавского языка имеет несамостоятельный, служебный характер. Например, так называемые «краткие» формы личных местоимений *ме* «меня», *те* «тебя», *о* «ее», *ыл* «его» и т. д. не употребляются без глагола; также ряд указательных местоимений (*ачест* «этот», *ачастэ* «эта» и др.) не употребляются без существительного, при котором они, заменяя артикль, выполняют роль своего рода детерминативов (в *ачест пуй* «этот дыпленок», *ачешть пуй* «эти дыплеты» указательный детерминатив выражает род и число существительного). В результате все слова местоименного содержания неправильно относятся к разряду слов самостоятельных (§ 72).

Характеризуя средства, которыми располагает молдавский язык для образования новых слов и форм (§ 70), автор раздела ограничивается их перечислением, не определяя места и степени распространения каждого из этих средств в языке (отмечается лишь характерность изменения основы). Не подчеркнута, в частности, особая продуктивность в современном языке аналитических средств выражения (ср. такие относительно новые образования разговорного языка, как *ам са кынт*, *о са кынт* «спую, буду петь»), не дается оценка специфической комбинации аналитических и синтетических средств, столь характерной для молдавского языка, не отмечаются особенности самого молдавского аналитизма.

С другой стороны, в работе не учитывается то общее, что имеется во всех романских языках, не используются достижения языкознания в области романтики, хотя изучение родственных молдавскому языков имеет очень длительную и во многих отношениях поучительную для молдавистов традицию.

Так, не оставляет сомнений сложность определения грамматических значений артикля. Категория артикля во всех языках представляет одну из наиболее трудных проблем грамматики. Но по поводу сущности основных значений романского артикля написано много трудов, имеется много теорий. Поэтому желательно, чтобы авторы раздела об артикле в своих описаниях этой категории четко ориентировались на какую-нибудь, пусть даже не свою, но последовательную и глубоко продуманную теорию. Однако в «Курсе» это не ощущается. Общим видам субстантивного артикля (как определенному, так и неопределенному) приписывается функция индивидуализации существительного (стр. 426); значение определенности и неопределенности, сообщаемое существительному определенным и неопределенным артиклем, на стр. 207 называется грамматическим, на стр. 209 — грамматическим и семантическим, на стр. 426 — семантическим.

В работе много отдельных неясностей, неточных формулировок, неудачных выражений, часто даже просто досадных недоразумений, па которых не позволяют остановиться размеры рецензии. В качестве примера приведем, однако, случай с формой *луй* при существительных собственных, обозначающих лицо (*журнала луй Некрасов* «журнал Некрасова»). На стр. 434 она названа артиклем (хотя правильнее эту форму было бы считать своеобразной препозитивной флексией, выражающей падежные отношения), а на стр. 302 уже явно ошибочно — притяжательным местоимением, которое и анализируется в главе, посвященной местоимениям.

Подводя итоги, можно сказать, что на недостатках научной стороны «Курса», несомненно, сказалось отсутствие прочной научной базы в молдавистике вообще, отсутствие большого количества серьезных и глубоких исследований как в области современного языка, так, особенно, и по его истории. В результате «Курс» в целом представляет не столько обобщение большой исследовательской работы самих молдавистов, сколько собрание и классификацию материала, так или иначе известного из других источников.

Коснемся теперь проблемы литературных норм молдавского языка и того, как эта проблема разрешена в «Курсе».

Известно, что молдависты в своем стремлении создать единые нормы литературного молдавского языка долгое время исходили из предвзятого и ошибочного мнения о необходимости противопоставить нормы молдавского языка нормам литературного языка, принятым в Румынии. Следствием этих тенденций, преодолеваемых с большим трудом лишь в последнее время, было значительное обеднение молдавского литературного языка и засорение его узко диалектальными элементами.

Авторы «Курса» избрали другой, на наш взгляд, более удачный путь определения единых норм молдавского языка. Они стали искать их в самом литературном языке, вернее, в языке художественных произведений молдавских писателей. Эта ориентация на ту языковую реальность, которая создана на протяжении многих лет, уже сама, являясь предпосылкой правильности многих изложенных в «Курсе» взглядов на нормы молдавского литературного языка, оберегала авторов от опасностей предвзятого не научного подхода к их определению.

«Курс» достаточно широко отражает поиски новых путей установления литературных норм, в результате чего получили права гражданства многие забытые и искусственно игнорируемые слова и формы (например, простой перфект), которые обогащают современный язык, делают его более гибким и выразительным.

Однако вместе с тем нельзя не отметить и некоторой тенденциозности авторов «Курса»: из нескольких, употребляемых в литературе вариантов иногда выбирался ими тот, который имел наибольшее распространение в ранние периоды развития молдавской литературы, а не тот, который чаще встречается теперь. Показательно, что сами авторы «Курса» не всегда пользуются теми литературными нормами, которые они рекомендуют в своей работе. Так, например, глагольные формы *e*, *eu* (3-е лицо единственного и множественного числа глагола *a lua* «брать»), *a ave* «иметь» (инфинитив) и ряд других, широко употребляемые авторами в работе (см. стр. 212, 328, 373 и др.), не приводятся в парадигмах спряжения этих глаголов даже в качестве возможных литературных вариантов (см. спряжение вспомогательных и неправильных глаголов на стр. 408—410, 412). Окончание *-e* в инфинитиве глаголов 2-го спряжения считается диалектным (см. стр. 21).

В результате создается впечатление, что сами лингвисты, авторы «Курса современного молдавского литературного языка», по которому изучают молдавский язык сотни студентов, не в достаточной мере владеют нормами литературного молдавского языка и пользуются диалектизмами.

Следует, правда, учесть, что и сейчас одной из задач молдавистов является исправление многочисленных ошибок в области нормализации языка, допущенных в предыдущие периоды. Поэтому стремление восстановить в правах формы, которые долгое время официально игнорировались и изгонялись, а вследствие этого были отчасти забыты, в какой-то мере понятно и имеет оправдание. Но и в этом отношении, разумеется, следует избегать крайностей. Нельзя совсем избегать чрезвычайно широко распространенных в современном языке слов и форм только на том основании, что их употреб-

ление в письменном литературном языке не имеет особенно длительных традиций. Такие формы можно давать, если не как основные, то как возможные варианты, с указанием на степень их распространения в языке, на принадлежность их к тому или иному стилю речи и т. д.

В этой связи следует сказать, что в «Курсе» вообще очень мало внимания уделено характеристике слов и форм с точки зрения их употребительности и распространения в языке, мало изучаются их стилистические оттенки. Даже стилистической дифференциации словарного состава уделено всего несколько страниц. Не всегда отмечается продуктивность или непродуктивность того или иного явления в языке.

В заключение — о композиции «Курса» и о работе редакции. К сожалению, приходится отметить, что «Курс» не создает впечатления единого по замыслу произведения. В отдельных частях и разделах его сильно ощущаются индивидуальные склонности авторов к тому или иному типу описания языковых явлений. Так, фонетика дана в чисто нормативно-описательном плане и без элементов истории. В описании молдавской лексики, напротив, преобладает исторический план. Раздел морфологии, построенный в основном по типу практических описательных работ, снабжен отдельными историческими экскурсами. По некоторым спорным вопросам иногда приводятся разные мнения. Одни разделы начинаются с описания значения той или иной категории в современном языке (в большинстве случаев), другие — с происхождения форм (см., например, общую характеристику местоимений на стр. 283), третьи — с примеров, как в школьных учебниках (см. употребление личных местоимений, стр. 291).

Подобную разноплановость частей работы можно объяснить только тем, что и самими составителями «Курса» и, в частности, его редакции не вполне были ясны цели и задачи, которые стояли перед ними при его написании. Было ли этой задачей создать на основе научных исследований нормативный, практический курс современного языка, своего рода грамматический справочник (см. предисловие к Академической грамматике русского языка) или задачей было создание теоретического курса, включающего обсуждение проблем, полемику, дискуссии? В предисловии к «Курсу» по этому поводу ничего не сказано, кроме того, что «Курс» — научный. Но научной работа может быть и нормативная и проблемно-теоретическая. Рассматриваемый труд, как уже отмечалось, представляет смешанный тип. Наряду с преобладающим нормативным описанием фактов языка в нем есть элементы теории. Однако относящиеся к этим элементам исторические экскурсы не придают работе большой ценности, поскольку в большинстве случаев они слишком примитивны, схематичны, поверхностны, касаются лишь самых общих вопросов происхождения и истории молдавских форм. Кстати, странно звучит частое подчеркивание романского происхождения молдавского языка. Факт этот давно установлен, не подвергается сомнению и не требует специальных доказательств, приводимых в «Курсе» (см., например, стр. 343).

Недостаточная работа редакции сказалась и в более частных вопросах построения «Курса». Так, книга изобилует повторениями. Общее определение категории наклонения находим и на стр. 327, и на стр. 328. Модальные значения отдельных наклонений определяются и в главе о наклонениях (стр. 329—332) и в главе о временах этих наклонений (стр. 364—370). Употребление одних и тех же форм личных местоимений только с несколько различных сторон изучается в отдельных параграфах с разными заголовками (см. стр. 287 и стр. 291). Значения предлогов изучаются и в главе о предлогах (стр. 442—457), и в главе о падежах существительного (стр. 234—236). Неопытно, почему артикль — средство выражения грамматических категорий существительного, необычайно тесно связанный с ним в молдавском языке, рассматривается отдельно от существительного (правда, это уже вопрос не только технического порядка). При этом повторяются парадигмы склонения артикля, данные уже в главе о существительном.

В некоторых формах, например в парадигме простого перфекта, следовало бы проставить ударения, так как, принадлежа к письменному языку, эта форма часто произносится с неверным ударением. В работе отсутствуют библиография и список цитируемых авторов.

В заключение можно сказать, что несмотря на ряд серьезных недостатков, на которых мы считали наиболее целесообразным здесь остановиться в первую очередь, работа в общем была встречена с удовлетворением всеми, кто обучает или обучается молдавскому языку. Следует также надеяться, что работа послужит толчком к дальнейшему изучению молдавского языка во всех его аспектах.

В. П. Титова

V. Pisani. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino. — Torino, Rosenberg e Sellier, 1953, XVII, 354 стр., 2 карты и таблица алфавитов. («Manuale storico della lingua latina», vol. IV).

Хорошо известно, что до недавнего времени в научной литературе по языкам древней Италии (кроме латыни) не было книги, которая давала бы синтез современных знаний в данной области, и это несмотря на наличие многочисленных статей, монографий и учебных пособий, посвященных как частным вопросам, так и отдельным языкам: оскско-умброскому, этрусскому, венецкому и т. д. Поэтому новая книга профессора Миланского университета В. Пизани, которая заполняет отмеченный выше пробел, заслуживает всестороннего рассмотрения.

Книга В. Пизани состоит из девяти глав: гл. I — «Оскско-умбрийские диалекты» (стр. 1—216), гл. II — «Памятники пикенского языка» (стр. 217—221), гл. III — «Мессапский язык» (стр. 222—236), гл. IV — «Венецкий язык» (стр. 237—266), гл. V — «Лигурский язык» (стр. 267—279), гл. VI — «Сикульский язык» (стр. 280—289), гл. VII — «Этрусский язык» (стр. 290—302), гл. VIII — «Ретийский и другие мелкие языки Северной Италии» (стр. 303—315), гл. IX — «Фалисский и другие латинские диалекты» (стр. 316—334). Следовательно, В. Пизани рассмотрел все языки античной Италии, кроме латинского, которому он посвятил отдельную работу¹. Что же касается сиканского языка в Западной Сицилии, то о нем говорится в главе шестой, посвященной языку сикулов.

Характеризуя книгу в целом, следует отметить тщательный филологический отбор языковых памятников (по существующим изданиям), неуклонное стремление автора оперировать проверенными языковыми фактами, широкое привлечение сравнительных материалов из других древних индоевропейских языков: германских, кельтских, балто-славянских, иранских и т. д. Книга В. Пизани составлена очень продуманно: она содержит, с одной стороны, важнейшие тексты на древних языках Италии, с другой, использует много новых памятников, изданных за последние 25 лет (см., например, в книге №№ 3, 6, 16, 33, 35D, 43, 69, 87, 88, 111—115, 116, 117, 128 и др.).

Весьма существенны в исследовании В. Пизани также новые чтения и интерпретации ранее опубликованных памятников. В отношении филологической интерпретации языковых текстов, которая, как известно, является необходимым предварительным условием их лингвистического осмысления, наиболее уязвимым в рецензируемой работе оказался раздел, посвященный венецкому языку, и то по причинам, мало зависящим от автора. Мы имеем в виду непрерывное пополнение количества венецких надписей вследствие новых находок² и пересмотр всех известных памятников венецкого языка, предпринятый в связи с этим проф. Лежён³.

Стремление автора оперировать надежным фактическим материалом сказалось и на архитектонике книги: каждый раздел ее построен таким образом, что сперва приводятся языковые тексты с лингвистическим комментарием, а уже на основе этого дается характеристика фонетико-морфологического строя и лексики разбираемого языка. Попутно автором затрагиваются вопросы, связанные с определением родственных связей изучаемых языков, хотя не всегда это сделано достаточно подробно (см. ниже).

В. Пизани привлекает для сравнения данные всех древних индоевропейских языков, что выгодно отличает его пособие от других руководств по итальянским языкам, в которых упор обычно делается на языковые факты, объяснимые на основе близко родственных языков и диалектов (латинский, фалисский)⁴. Это неоспоримая заслуга автора, являющегося видным специалистом по истории индоевропейских языков.

Как уже упоминалось, рецензируемая книга снабжена таблицей итальянских алфавитов и двумя лингвистическими картами, на которых указаны территориальное рас-

¹ Cp.: V. P i s a n i, *Manuale storico della lingua latina*: II — *Grammatica latina storica e comparativa*, 2 ed., Torino, 1952, XIV, 308 стр.; III — *Testi latini arcaici e volgari*, Torino, 1950, XVI, 196 стр.

² См.: G. B. P e l l e g r i n i, *Iscrizioni paleovenete da Lagole*, «Rendiconti dell'Accad. naz. dei Lincei», Serie VIII, vol. VIII, 1953, стр. 313 и сл.; e г о ж е, *Noterle venetiche*, «Studi Etruschi», t. XXIII, 1954; E. V e t t e r, *Die neuen venetischen Inschriften von Lagole*, «Carinthia», I (Jg. 143), Hf. 3—4, 1953.

³ М. Лежён подготовляет «корпус» венецких надписей. К перечню его статей по венецкому языку и эпиграфике (см.: M. L e j e u n e, «Latomus», t. XII, 1953, стр. 386—387; см. также «Revue belge de philologie et d'histoire», t. XXIII, № 2, 1955, стр. 364) следует добавить две работы: M. L e j e u n e, *Les épingles votives inscrites du sanctuaire d'Este*, «Revue des études anciennes», t. LVI, № 1—2, 1954; e г о ж е, *Les urnes cinéraires inscrites de Montebelluna et de Covolo au Musée de Trévise*, «Rendiconti dell'Accad. naz. dei Lincei», Serie VIII, vol. IX, 1954.

⁴ В этом плане достаточно сравнить рецензируемое пособие с новым руководством Э. Феттера по оскско-умброскому языку (E. V e t t e r, *Handbuch der Italischen Dialekte*, t. I, Heidelberg, 1953).

пространение отдельных языков и места находок надписей. Напомним географическое распределение языков античной Италии. Северная Италия: лигурийский, галльский, ретийский, венецкий; Центральная Италия: пикенский, умбрский, этрусский, фалискский, латинский; часть Центральной и вся Южная Италия: так называемые сабелльские диалекты (пелигнийский, маррукийский, вестинский, волскский, марсийский, сабинский) и оскский; Калабрия — мессапский язык; Восточная Сицилия — сикульский. Назовем также важнейшие места, где были обнаружены памятники на языках Северной Италии: район Бриона — Орнавасо — Джубиаско — Чернуско (лигурийский), район Верона — Магре — Больцано — Терлаво (ретийский), район Эсте — Беллуно — Калальдо — Гурина — Идриа (венецкий). Из языков Центральной и Южной Италии требует пояснения только пикенский, локализуемый в районе Пезаро-Новилара.

Генеалогически языки древней Италии делятся на неиндоевропейские (по терминологии итальянских лингвистов, «средиземноморские») и индоевропейские.

Начнем с первых. К ним относятся этрусский и близкий к нему ретийский, пикенский и сиканский (Западная Сицилия). О близости этрусского и ретийского, в частности, свидетельствует фонетическая структура этих языков, для которой характерно отсутствие гласного *o* (заимствованные слова с *o* передаются через *u*, например: этрусск. *puṛluna* — лат. *Populonia*) и звонких смычных (глухие смычные транскрибируются: *c, t, p* — *χ, φ, φ*), колебание щелевых (*s* — *z, f* — *h*)¹. В области морфологии наблюдается сходство между притяжательными суффиксами (окончаниями *genitiv'a*): ретийск. — (*a*) *le* в *ritale, estuale* (Пизани, № 134), *lasanuale* (№ 136), *-eli* в *laviseseli* (№ 137)² и этрусск. (*a*) *l-la* в *Unial* «Junonis», *Ale-s-la* «fili Auli» (так называемый «genitivus genitivi»).

К ретийскому В. Пизани относит надписи из Валь-Камоника, в которых пытались видеть язык «эвганеев», родственный латино-фалисскому (стр. 313)³. Заметим, что надписи эти состоят главным образом из изолированных слов (*zelaz, alaiataz, xemolaz, enotinaz* и т. д.) и не дают возможности судить о родственных связях языка, на котором они написаны.

Общая характеристика морфологии и лексики этрусского языка, которую дает автор (стр. 295—299), весьма полезна в том смысле, что подчеркивает агглютинирующий характер словоизменения (например, *Uni* «Juno», *Unial* «Junonis», *Unialti* «lu Junonis») и неиндоевропейский характер основного словарного фонда этого языка: *an* «быть», *ar* «делать», *sec, sex* «дочь», *maχ* «один» (ср. индоевропейский корень **dhē-* и формы **dhughatēr*, **oi-no*)⁴.

О пикенском (точнее северопикенском) языке трудно что-нибудь заключить, так как близняшек из Пезаро незначительно по объему. Вероятно, перед нами неиндоевропейский язык. Слово *frontac* с характерным для этрусского языка суффиксом *aχ*, например *rumaχ* «Romanus», встречается в оскской надписи (Пизани, № 38) в форме *frunter* «fulgurator». Возможно, что оно — догреческого («средиземноморского») происхождения. Ср. греч. βροντή «гром, молния».

Язык сиканов В. Пизани специально не касается. Напомним, что сиканов относят к иберо-ливийцам. Поскольку среди так называемых «сикульских» глосс имеются такие, которые носят явно неиндоевропейский характер, например *aksētila* «мирта», *kivāzōs* «лиса» и др., вероятнее всего, что перед нами сиканское языковое наследие.

Среди индоевропейских языков Италии встречаем кельтские, иллирийские и итальянские наречия. К кельтским языковым памятникам, кроме текстов на галльском языке (Пизани, №№ 141 и 142), относятся лигурские или лепонтийские надписи⁵. Такие фонетические черты, как переход и.-е. **ō* > *a* (в срединном слове), переход и.-е.

¹ *s* — *z* и *f* — *h* чередуются в этрусских начертаниях.

² Значение этих слов неизвестно. В. Пизани предлагает в основе *rita-* видеть название богини *Reitia* (стр. 304).

³ Fr. Altheim, *Geschichte der lateinischen Sprache von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur*, Frankfurt a/M., 1951, стр. 92 и сл. См. также В. И. Надаль, Проблема языка и населения доримской Италии, ВДИ, 1957, № 1, стр. 158—159.

⁴ Попытка акад. В. Георгиева вскрыть индоевропейский характер этрусского *sec, sex* (В. Георгиев, Вопросы родства средиземноморских языков, ВЯ, 1954, № 4) не является убедительной, так как при этом постулируются столь сложные фонетические переходы, что уже априори они кажутся маловероятными. Согласно В. Георгиеву, этрусск. *sec, sex* через **seχr, *seδr, *tuāth(e)r, *dughatēr* восходит к и.-е. **dhughatēr*, где имело место: 1) опадение конечного *r*; 2) переход *δr* > *χr*; 3) изменение *tu* > *s*; 4) умлаут *a* > *ā*; 5) передвижение согласных *d* > *t* и 6) диссимилиация придыхательных *dh* > *d*.

⁵ Под лигурским понимают иногда местный неиндоевропейский язык, свидетельствующий о каких-то связях с ретийским и отличный от кельто-лепонтийского. В. Пизани делает попытку выделить в лигурском индоевропейские и доиндоевропейские элементы (стр. 277—279).

*ō > u (в конечном слоге) и взоглосса q^u — p, встречаются в кельтских языках. Ср. имя собственное *latumaro* — др.-ирл. *mar* «большой» по сравнению с греч. *μαρος* в *αγροσιμαρος* («сражающийся» копьем) (буквально «большим копьем») и союз *pe* из и.-е. **que* (Пизани, № 124). Аналогичные явления находим в кельтских языках, например ирл. *dán* — лат. *dōnum* «дар»; ирл. *cú* из и.-е. **k^uō* «собака» (ср. др.-инд. *śvā*); валлийск. *pedwar*, корнуэльск. *pesuar*, бретонск. *pevar* — лат. *quattuor* «четыре» (ирл. *ceithir*).

К иллирийским языкам причисляют мессанский. Необходимо заметить, что, несмотря на наличие свыше двухсот надписей, язык этот истолкован чрезвычайно плохо¹. Индоевропейский характер его не бросается в глаза, как, например, у венетского языка². Все же наиболее вероятно его принадлежность к иллиро-фракийским языкам, что доказывается главным образом данными ономастики, топонимики и античной традиции³. Ср.: и.-е. **au* — мессанск. *ai*, *a* (топоним Ваўста — *basta*), алб. *a* из *ai* (например, *ar* «золото» — лат. *aureum*); и.-е. **g^hh* — мессанск. *z* — *s* [*αζουν* «я» из **eg^h* (*h*)*ōn-e*, алб. *une*; *σελτη* «золото» из **g^hhello* — фракийск. *ζηλτα*].

Думается также, что палатализацию в мессанском мы должны рассматривать как признак его принадлежности к диалектам «*satem*», а не как вторичное явление в группе «*centum*» по аналогии с умбрским или романскими языками⁴.

Что же касается венетского языка, то, несмотря на наличие фонетических черт, роднящих его с итальянскими языками (например, и.-е. **dh* — венетск. *zh* и лат. *f* в начале слова; венетск. *φ*, *z* и лат. *b*, *d* в середине слова), приходится считать его отдельной ветвью индоевропейских наречий. Весьма интересны связи венетского с германскими (ср. венетск. *mezo* — гот. *mik* «меня», венетск. *sselboisselboi* «мне самому» — др.-в.-нем. *der selb selbo*) и кельтскими языками. Сюда относятся переход *eu* — *ou*, окончание род. падежа ед. числа на *-i* и др.

О независимом развитии венетского языка в эпоху итальянской языковой общности свидетельствуют также, например, факты: окончание дат. падежа мн. числа основ на *-o oφos* (например, *louzeroφos* — итал. **-ois* (лат. *-īs*: *Liberis*) — кельтск. **othis* (др.-ирл. *feraiβ* «мужам»); окончание 3-го лица ед. числа среднего залога *-to* (*zoto*, *zonasto* — родств. греч. *ἐδστο*, лат. *dōnāvīl*), наряду с изолированной формой на *r* (*tolar* — лат. *obtulit* по типу оскск. *ferar*, ирл. *canar*⁵).

В отношении языка сикулов трудно согласиться с выводом автора о том, что установившееся в науке мнение о близком родстве сикульского и латинского языков является необоснованным⁶. Вывод В. Пизани, базирующийся, кстати, почти исключительно на лексических сопоставлениях, неправилен. Автор не учитывает в достаточной степени и данные топонимики (например, *Enna*, *Anxa*, *Norba*, которые встречаются не только в Сицилии, но и в Южной и даже Центральной Италии и свидетельствуют о «прото»латино-сикульских связях).

Наконец, отметим, что автор не останавливается специально и на дебатированном вопросе о том, входит ли оскско-умбрский в состав итальянской ветви индоевропейских языков. Как известно, некоторые ученые (Дж. Девото и др.) пытаются обосновать тезис об отсутствии близкого родства между латино-фалийскими и оскско-умбрскими языками и считают их независимыми ветвями индоевропейских языков. К данной точке зрения примыкает и В. Пизани. Однако взгляды эти не получили признания в науке⁷.

¹ Новый опыт чтения мессанских надписей предпринял О. Хаасом, который видит в слове *derandōa* (*daranḡoa*) не название города (ср. греч. *Ταρας*, *Ταραντος* — лат. *Tarentum*), а и.-е. **g^heroniā* «совет старейшин» (ср. греч. *γερονσία*) и на этом основании строит свою дешифровку (см. О. Хаас, *Die vier längeren messapischen Inschriften*, «Lingua Posnaniensis», IV, 1953, стр. 64 и сл.).

² Утверждение А. А. Реформатского, что «вопрос о принадлежности к индоевропейским языкам венетского, мессинского (в Италии)... еще не решен наукой...», — недоразумение по отношению к венетскому языку (см. ниже). Что же касается мессинского языка, то такой вообще неизвестен науке. Может быть, имеется в виду мессапский? (см. А. А. Реформатский, *Введение в языковедение*, М., 1955, стр. 327).

³ Ср. И. М. Тронский, *Очерки из истории латинского языка*, М.—Л., 1953, стр. 57—58.

⁴ Последней точки зрения придерживаются О. Хаас (см. О. Хаас, указ. статья, стр. 80, 84), Х. Крае (см. H. Krahe, *Das Venetische, seine Stellung im Kreise der verwandten Sprachen*, Heidelberg, 1950, стр. 13 и 31, прим. 75) и Д. Дечев, (см. Д. Дечев, *Характеристика на тракийския език*, София, 1952, стр. 53, прим. 2 и стр. 114, прим. 3).

⁵ J. S a f a r e w i c z, *Stosunk pokrewieństwa języka wenetyjskiego*, «Sprawozdania Pol. Akad. Um.», t. LII, № 6, 1951, стр. 408.

⁶ Ср. Б. И. Н е д э л ь, указ. обзор, стр. 158.

⁷ См.: H. Lejeune, *La position du latin sur la domaine indo-européen*, «Revue des études latines», 1943, стр. 7 и сл.; И. М. Т р о н с к и й, указ. соч., стр. 49 и 79.

*

Мы пытались кратко охарактеризовать книгу В. Пизани и дать читателю представление о богатстве ее содержания. Не вдаваясь в критические подробности¹, в заключение необходимо подчеркнуть, что книга В. Пизани представляет собой ценное пособие, отражающее достижения современной науки в области изучения античных языков Италии и как таковое может служить с пользой не только для учебных надобностей (о больших методических и дидактических достоинствах книги уже упоминалось выше), но и для научных целей. Автор приводит в каждой главе подробные и новейшие библиографические данные. В связи с этим мы считаем, что желательно обеспечить издание этой книги на русском языке.

D. H. Наваль

Frieda N. Politzer and Robert L. Politzer. Romance trends in 7th and 8th century Latin documents.— Chapel Hill, 1953. 68 стр. («Studies in the Romance languages and literatures [of North Carolina Univ.], № 21).

Судьба «протороманизмов» в позднелатинских памятниках — вопрос не новый. Этой проблеме уже с конца XIX в. посвящены специальные исследования Г. Шухардта, Ж. Парсона, П. Скока, Э. Рихтер и др. Последние тридцать лет проблема «протороманизмов» находится в центре внимания американских романистов (школа Г. Ф. Меллера). В своем анализе американские романисты исходили обычно из статистической обработки ошибок авторов и переписчиков позднелатинских документов. Однако лингвостатистика применялась здесь слишком прямолинейно, без языковедческих поправок и без одновременного использования других приемов анализа. Это приводило исследователей (особенно М. Пея и Л. Саса) к неточным и даже ошибочным выводам².

Ценность рецензируемой работы заключается в комбинированном использовании ее авторами лингвистической статистики, лингвистической географии и структурального анализа, что дает возможность, как мы увидим дальше, получить в целом положительные результаты и делает работу интересной для широкого круга языковедов.

Исследование Ф. Н. и Р. Л. Полицеров состоит из трех частей. В первой (стр. 1—35) рассматриваются диалектные черты в латинских документах Италии VIII в. Во второй (стр. 36—43) — изучаются диалектные явления в протороманской речи Галлии. В третьей (стр. 44—50) — дается сопоставление данных первых двух частей и выводы.

Такое построение работы подсказано современной проблематикой и уровнем лингвистических сведений о протороманской эпохе. Во-первых, галло- и апенинско-романская зоны всегда являлись центрами инноваций. Во-вторых, можно считать установленным, что в VIII в. уже имела диалектная дифференциация между романской речью южной Галлии и северной Италии³. Проблема географической дифференциации и посвящена первая часть рецензируемого исследования. Автор (Ф. Н. Полицер) рассматривает здесь средневековые латинские документы, происходящие из различных пунктов Италии.

Она подвергает статистической обработке ошибки составителей и переписчиков, которые отражают следующие фонетические и морфонетические процессы: изменение качества конечных гласных *ē, ī, ū*, озвончение интервокальных взрывных, упрощение геминат и геминация простых согласных, падение конечного *t* и *s* (дается среднее количество отклонений против латинских классических норм на 100 строк текста). Кроме того, приводится морфологическая классификация падения конечного *s* в парадигме склонения, а также изменения в некоторых падежных окончаниях (в процентном отношении к общему числу соответствующих форм).

Результаты подсчетов, взятые в целом (стр. 33), показывают, что, с одной стороны, изменение конечных гласных и озвончение интервокальных согласных характерно для языка тех документов, которые происходят из городов, расположенных к северу от Р. По. С другой стороны, падение конечных *t* и *s* и связанные с ним морфологические явления чаще встречаются в языке документов центральной Италии.

¹ Так, например, мы не касались вопроса о том, что В. Пизани стоит на точке зрения «смешанного» характера этрусского языка (стр. 311 и др.), явно отождествляя этнические и языковое смешение. Отдельные ценные критические замечания в адрес книги В. Пизани, хотя и частного порядка, см. в рецензиях: P. M e r i g g i, «Athenaeum», vol. XLI, Serie XXXI, 1953, стр. 349—352; G. R e d a r d, «Revue belge de philologie et d'histoire», t. XXXIII, 1953, стр. 361—366 и особенно в обстоятельном отзыве проф. Я. Сафаревича («Eos», год XLVI, zesz. 2, 1955, стр. 237—247).

² Cp. об этом H. M e i e r, Über das Verhältnis der romanischen Sprachen zum Lateinischen, «Rom. Forsch.», Bd. 54, Hf. 2, 1940.

³ Cp. R. L. P o l i t z e r, A study of the language of eighth century Lombardic documents, New York, 1949.

Автор проецирует полученные лингвостатистические и историко-географические данные на современную диалектную картину Италии. Оказывается, что географическое размещение документов, содержащих большое количество тех или иных диалектных ошибок, совпадает с современным диалектным ландшафтом Италии. Так, смещение конечных гласных и сохранение конечных *t* и *s*, широко представленные в документах севернее р. По, характерны для современных североитальянских документов. Падение конечных согласных при сохранении гласных (документы Лукки, Пизы, Сиены и др.) присуще современным говорам центральной и южной Италии.

Все эти явления выступают также в качестве различающих признаков для западно-романских и восточно-романских языков. В итоге автор приходит к неоспоримому выводу, согласно которому начало фонологической дифференциации между народно-разговорной романской речью в северной и южной Италии относится к периоду до VIII в. (стр. 35). Линия размежевания этих протороманских диалектов совпадает с современной границей между североитальянскими и центральноитальянскими диалектами (см. стр. 33).

Центр иррадиации протороманского ослабления конечных согласных находился в южной Италии. Его продвижение на север сопровождалось постепенным затуханием. Что касается ослабления конечных и вообще неударенных гласных, то распространение этого явления шло в обратном направлении: с севера на юг — из Галлии в Италию, постепенно затухая на линии Специя — Римини.

Вопрос о хронологии и причинах возникновения последнего явления ставится во второй части рецензируемой работы. Материал рассматривается здесь в плане временной дифференциации. Методика эксперимента — та же, что и в первой части. Статистика ошибок употребления гласных и согласных в мерovingских документах¹ ясно показывает, что в VIII в. значительный рост отклонений от классических норм дают фонетические явления, связанные с интенсификацией силового ударения (ослабление неударных гласных, упрощение геминат и т. п.), которое относят за счет германского (франкского) адстрата².

В третьей части книги Р. Л. Полицер обобщает лингво-географические данные итало-латинских документов и хронологической кривой, полученной в результате статистического обследования латинских документов Галлии. Одновременно он пытается скорректировать случайные отклонения (связанные с индивидуальными особенностями языка отдельных писцов) от общих тенденций. Здесь применяется иной метод статистической обработки материала. Так, в документах Италии учитывается не количество ошибок в определенном отрезке текста, а сравнивается число писцов, в документах которых обнаруживаются ошибки соответствующего типа, с общим числом писцов из того или иного пункта, участвовавших в составлении документов. Что касается документов Галлии, то они группируются по хронологическому принципу.

Полученные данные подтверждают предположение о диалектной дифференциации Романии. При этом фонетические явления, связанные с интенсификацией силового ударения, имеют галло-романское происхождение, а сохранение конечных гласных с одновременным исчезновением конечных согласных развилось в протороманской речи центральной и южной Италии.

Одним из постулатов в теории формирования западно-романских языков и культур, выдвигаемой американской романистической школой Г. Мэллера (к ней принадлежат также авторы рецензируемой работы), является идея о языковом единстве Западной Романии вплоть до начала IX в. Выводы, к которым приходят в своей работе Ф. и Р. Полицеры, косвенным образом опровергают эту идею.

Среди недочетов лингвистического и статистического анализа, проводимого авторами рецензируемой книги, отметим следующие:

1. Авторы не учитывают того, что ввиду традиционности канцелярского стиля в деловых документах с большим опозданием фиксируются те или иные языковые изменения. Поэтому для определения истинной хронологии изучаемых явлений следовало бы использовать так называемую хронологическую поправку³. Использование указанной поправки заставляет нас, например, относить озвончение интервокальных глухих не к VII в., как это считает Р. Полицер (стр. 42), а к концу V в.

¹ Используются издания: «Monuments historiques, cartons des rois par J. Tardif», «Archives de l'Empire (Archives nationales)», Paris, 1866; «Les diplômes originaux des Mérovingiens... publiés par Ph. Lauer et Ch. Samaran», Paris, 1908.

² Ср.: W. von Wartburg, *Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume*, Berne, 1950, стр. 65 и сл.; E. Richter, *Beiträge zur Geschichte der Romanismen*, I — *Chronologische Phonetik des Französischen bis zum Ende des VIII Jahrhunderts*, Halle/Saale, 1934, стр. 7, 15.

³ О приемах определения этой поправки см. Р. Г. Пиотровский, *О формировании определенного артикля в романских языках*. Автореф. докт. диссерт., Л., 1956, стр. 6—7.

2. Авторы совершенно не учитывают стилевую характеристику отдельных документов (ее можно было бы определить исходя из содержания документов). Учет стиля документов помог бы более точно и дифференцированно подойти к отбору, классификации и статистической обработке материала.

3. Некоторые статистические данные не очень убедительны, поскольку они опираются на малые величины. Ср. стр. 37 и 39.

4. Авторы часто используют среднеарифметические величины (число случаев на 100 строк, процентное соотношение и т. п.). При этом бывает, что отдельные величины признаков дают значительные колебания. В этих случаях необходимо было специально проанализировать колеблемость значений величины признака по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 M}{\sum M}},$$

где $x - \bar{x}$ — отклонения от средней величины признака, M — общее количество материала.

5. Авторы не полностью используют возможности лингвостатистики. Так, например, анализ хронологических рядов, приводимых в главе II, следовало бы производить в связи с теорией вероятности при использовании так называемой функции χ^2 .

Р. Г. Пиотровский

Р. С. Гиляревский и В. С. Гривнин. Языки мира. Определитель иностранных языков для библиотечных, редакционно-издательских и книготорговых работников. Под ред. Е. С. Кубряковой. — М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1957. 100 стр. (Всесоюзная гос. б-ка иностр. лит-ры).

Рецензируемая книга представляет собой определитель языков для неязыковедов. В ней рассматриваются только зарубежные языки, точнее — 60 из них. Принципы отбора языков неясны: в предисловии говорится, что определитель охватывает самые употребительные языки, однако наиболее распространенные в Черной Африке языки суахили и хауса даже не упомянуты; если отбирались государственные языки, то непонятно отсутствие тагальского (Филиппины), амхарского (Эфиопия) и румантш (одного из государственных языков Швейцарии); если отбирались национальные языки, то следовало включить еще раджастан, бихари, кашмири, ассам, мальгашский и баскский.

Языки сгруппированы по типам принятой ими графики: пользующиеся русским, латинским, арабским письмом, деванагари, иероглифическим письмом; все остальные объединены в группу, которой дано неудачное название: «языки, пользующиеся национальным письмом».

В определителе по каждому из языков дается образец текста, указываются отличительные признаки графики, определяется сфера распространения и статус языка, в восточных письменностях приводятся первые десять цифр.

Досадным пробелом является полное отсутствие каких бы то ни было сведений о новом китайском алфавите. Под рубрикой *я в а н с к и й* (стр. 81) дана только устаревшая графика (в настоящее время книги на яванском языке печатаются вариантом латиницы, очень близким к общегосударственной индонезийской письменности). На стр. 69 *к х м е р с к и й* язык назван «камбоджским», что неправильно: национальное название этого языка — *(пхмеса) кхмер*; кроме того, нужно было привести наряду со скорописным вариантом алфавита «муль» печатный вариант алфавита «тьриенг». На стр. 77 *т х а й с к и й* язык назван языком «тай»: национальное название этого языка — *(пхаса) тай*. В характеристике *б и р м а н с к о г о* письма (стр. 64) не указано, что той же графикой пользуются для монского, шанского, чипского, качинского и каренского языков. Под рубрикой *и н д о н е з и й с к и й* (стр. 21) сообщается, что латинская транскрипция двух видов использовалась до 1945 г.; это не так: в Малайской федерации малайский («английский») вариант письменности используется и поныне как основной. Там же указывается, что индонезийский язык распространен также на о-ве Мадагаскар, что представляет собой грубую ошибку: на Мадагаскаре говорят по-мальгашски, а не по-индонезийски. Под рубрикой *г о л л а н д с к и й* (стр. 19) сообщается, что буры говорят на разновидности голландского языка; германисты возразят против этого: язык африкаанс не в большей степени является разновидностью голландского, чем норвежский язык — разновидностью датского; африкандеры (= буры) суть нация, отличная от голландской, и африкаанс — национальный язык этой нации.

¹ Подробнее см. A. S. C. R o s s, *Philologica mathematica*, «Časopis pro moderní filologii», роён. XXXI, 1948, стр. 104 и 187—188.

Под рубрикой *и с п а н с к и й* (стр. 23) ошибочно утверждается, что испанский является государственным языком всех стран Центральной и Южной Америки, кроме Бразилии; есть еще одно исключение: в республике Гаити национальным языком является французско-креольский, а государственным — французский. Носители языка *б е н г а л и* (стр. 63) живут не только в Индии, но и в Пакистане (причем во втором их значительно больше, чем в первой). Область распространения *а р а б с к о г о* языка (стр. 45) описана неполно: пропущены Иордания, Оман, Маскат, Аден, Кувейт.

Под рубрикой *в ь е т н а м с к и й* (стр. 18) приведена невозможная в письменности этого языка графема *ѳ* (сочетание акута и подстрочной точки означало бы сразу *д в а* тона у гласного, что исключается); на стр. 85—87 пропущен целый ряд знаков вьетнамского письма: *ѳ̃, ѳ̂, ѳ̄, ѳ̅, ѳ̆, ѳ̇, ѳ̈, ѳ̉, ѳ̊, ѳ̋, ѳ̌, ѳ̍, ѳ̎, ѳ̏, ѳ̐, ѳ̑, ѳ̒, ѳ̓, ѳ̔, ѳ̕, ѳ̖, ѳ̗, ѳ̘, ѳ̙, ѳ̚, ѳ̛, ѳ̜, ѳ̝, ѳ̞, ѳ̟, ѳ̠, ѳ̡, ѳ̢, ѳ̣, ѳ̤, ѳ̥, ѳ̦, ѳ̧, ѳ̨, ѳ̩, ѳ̪, ѳ̫, ѳ̬, ѳ̭, ѳ̮, ѳ̯, ѳ̰, ѳ̱, ѳ̲, ѳ̳, ѳ̴, ѳ̵, ѳ̶, ѳ̷, ѳ̸, ѳ̹, ѳ̺, ѳ̻, ѳ̼, ѳ̽, ѳ̾, ѳ̿, ѳ̺̄, ѳ̻̄, ѳ̼̄, ѳ̽̄, ѳ̾̄, ѳ̿̄, ѳ̺̆, ѳ̻̆, ѳ̼̆, ѳ̽̆, ѳ̾̆, ѳ̿̆, ѳ̺̈, ѳ̻̈, ѳ̼̈, ѳ̽̈, ѳ̾̈, ѳ̿̈, ѳ̺̊, ѳ̻̊, ѳ̼̊, ѳ̽̊, ѳ̾̊, ѳ̿̊, ѳ̺̌, ѳ̻̌, ѳ̼̌, ѳ̽̌, ѳ̾̌, ѳ̿̌, ѳ̺̎, ѳ̻̎, ѳ̼̎, ѳ̽̎, ѳ̾̎, ѳ̿̎, ѳ̺̐, ѳ̻̐, ѳ̼̐, ѳ̽̐, ѳ̾̐, ѳ̿̐, ѳ̺̒, ѳ̻̒, ѳ̼̒, ѳ̽̒, ѳ̾̒, ѳ̿̒, ѳ̺̔, ѳ̻̔, ѳ̼̔, ѳ̽̔, ѳ̾̔, ѳ̿̔, ѳ̺̖, ѳ̻̖, ѳ̼̖, ѳ̖̽, ѳ̖̾, ѳ̖̿, ѳ̺̘, ѳ̻̘, ѳ̼̘, ѳ̘̽, ѳ̘̾, ѳ̘̿, ѳ̺̚, ѳ̻̚, ѳ̼̚, ѳ̽̚, ѳ̾̚, ѳ̿̚, ѳ̛̺, ѳ̛̻, ѳ̛̼, ѳ̛̽, ѳ̛̾, ѳ̛̿, ѳ̺̝, ѳ̻̝, ѳ̼̝, ѳ̝̽, ѳ̝̾, ѳ̝̿, ѳ̺̞, ѳ̻̞, ѳ̼̞, ѳ̞̽, ѳ̞̾, ѳ̞̿, ѳ̺̟, ѳ̻̟, ѳ̼̟, ѳ̟̽, ѳ̟̾, ѳ̟̿, ѳ̺̠, ѳ̻̠, ѳ̼̠, ѳ̠̽, ѳ̠̾, ѳ̠̿, ѳ̡̺, ѳ̡̻, ѳ̡̼, ѳ̡̽, ѳ̡̾, ѳ̡̿, ѳ̢̺, ѳ̢̻, ѳ̢̼, ѳ̢̽, ѳ̢̾, ѳ̢̿, ѳ̺̣, ѳ̻̣, ѳ̼̣, ѳ̣̽, ѳ̣̾, ѳ̣̿, ѳ̺̤, ѳ̻̤, ѳ̼̤, ѳ̤̽, ѳ̤̾, ѳ̤̿, ѳ̺̥, ѳ̻̥, ѳ̼̥, ѳ̥̽, ѳ̥̾, ѳ̥̿, ѳ̺̦, ѳ̻̦, ѳ̼̦, ѳ̦̽, ѳ̦̾, ѳ̦̿, ѳ̧̺, ѳ̧̻, ѳ̧̼, ѳ̧̽, ѳ̧̾, ѳ̧̿, ѳ̨̺, ѳ̨̻, ѳ̨̼, ѳ̨̽, ѳ̨̾, ѳ̨̿, ѳ̺̩, ѳ̻̩, ѳ̼̩, ѳ̩̽, ѳ̩̾, ѳ̩̿, ѳ̺̪, ѳ̻̪, ѳ̼̪, ѳ̪̽, ѳ̪̾, ѳ̪̿, ѳ̺̫, ѳ̻̫, ѳ̼̫, ѳ̫̽, ѳ̫̾, ѳ̫̿, ѳ̺̬, ѳ̻̬, ѳ̼̬, ѳ̬̽, ѳ̬̾, ѳ̬̿, ѳ̺̭, ѳ̻̭, ѳ̼̭, ѳ̭̽, ѳ̭̾, ѳ̭̿, ѳ̺̮, ѳ̻̮, ѳ̼̮, ѳ̮̽, ѳ̮̾, ѳ̮̿, ѳ̺̯, ѳ̻̯, ѳ̼̯, ѳ̯̽, ѳ̯̾, ѳ̯̿, ѳ̺̰, ѳ̻̰, ѳ̼̰, ѳ̰̽, ѳ̰̾, ѳ̰̿, ѳ̺̱, ѳ̻̱, ѳ̼̱, ѳ̱̽, ѳ̱̾, ѳ̱̿, ѳ̺̲, ѳ̻̲, ѳ̼̲, ѳ̲̽, ѳ̲̾, ѳ̲̿, ѳ̺̳, ѳ̻̳, ѳ̼̳, ѳ̳̽, ѳ̳̾, ѳ̳̿, ѳ̴̺, ѳ̴̻, ѳ̴̼, ѳ̴̽, ѳ̴̾, ѳ̴̿, ѳ̵̺, ѳ̵̻, ѳ̵̼, ѳ̵̽, ѳ̵̾, ѳ̵̿, ѳ̶̺, ѳ̶̻, ѳ̶̼, ѳ̶̽, ѳ̶̾, ѳ̶̿, ѳ̷̺, ѳ̷̻, ѳ̷̼, ѳ̷̽, ѳ̷̾, ѳ̷̿, ѳ̸̺, ѳ̸̻, ѳ̸̼, ѳ̸̽, ѳ̸̾, ѳ̸̿, ѳ̺̹, ѳ̻̹, ѳ̼̹, ѳ̹̽, ѳ̹̾, ѳ̹̿, ѳ̺̺̄, ѳ̻̺̄, ѳ̼̺̄, ѳ̺̽̄, ѳ̺̾̄, ѳ̺̿̄, ѳ̺̺̆, ѳ̻̺̆, ѳ̼̺̆, ѳ̺̽̆, ѳ̺̾̆, ѳ̺̿̆, ѳ̺̺̈, ѳ̻̺̈, ѳ̼̺̈, ѳ̺̽̈, ѳ̺̾̈, ѳ̺̿̈, ѳ̺̺̊, ѳ̻̺̊, ѳ̼̺̊, ѳ̺̽̊, ѳ̺̾̊, ѳ̺̿̊, ѳ̺̺̌, ѳ̻̺̌, ѳ̼̺̌, ѳ̺̽̌, ѳ̺̾̌, ѳ̺̿̌, ѳ̺̺̎, ѳ̻̺̎, ѳ̼̺̎, ѳ̺̽̎, ѳ̺̾̎, ѳ̺̿̎, ѳ̺̺̐, ѳ̻̺̐, ѳ̼̺̐, ѳ̺̽̐, ѳ̺̾̐, ѳ̺̿̐, ѳ̺̺̒, ѳ̻̺̒, ѳ̼̺̒, ѳ̺̽̒, ѳ̺̾̒, ѳ̺̿̒, ѳ̺̺̔, ѳ̻̺̔, ѳ̼̺̔, ѳ̺̽̔, ѳ̺̾̔, ѳ̺̿̔, ѳ̺̺̖, ѳ̻̺̖, ѳ̼̺̖, ѳ̺̖̽, ѳ̺̖̾, ѳ̺̖̿, ѳ̺̺̘, ѳ̻̺̘, ѳ̼̺̘, ѳ̺̘̽, ѳ̺̘̾, ѳ̺̘̿, ѳ̺̺̚, ѳ̻̺̚, ѳ̼̺̚, ѳ̺̽̚, ѳ̺̾̚, ѳ̺̿̚, ѳ̛̺̺, ѳ̛̻̺, ѳ̛̼̺, ѳ̛̺̽, ѳ̛̺̾, ѳ̛̺̿, ѳ̺̺̝, ѳ̻̺̝, ѳ̼̺̝, ѳ̺̝̽, ѳ̺̝̾, ѳ̺̝̿, ѳ̺̺̞, ѳ̻̺̞, ѳ̼̺̞, ѳ̺̞̽, ѳ̺̞̾, ѳ̺̞̿, ѳ̺̺̟, ѳ̻̺̟, ѳ̼̺̟, ѳ̺̟̽, ѳ̺̟̾, ѳ̺̟̿, ѳ̺̺̠, ѳ̻̺̠, ѳ̼̺̠, ѳ̺̠̽, ѳ̺̠̾, ѳ̺̠̿, ѳ̡̺̺, ѳ̡̻̺, ѳ̡̼̺, ѳ̡̺̽, ѳ̡̺̾, ѳ̡̺̿, ѳ̢̺̺, ѳ̢̻̺, ѳ̢̼̺, ѳ̢̺̽, ѳ̢̺̾, ѳ̢̺̿, ѳ̺̺̣, ѳ̻̺̣, ѳ̼̺̣, ѳ̺̣̽, ѳ̺̣̾, ѳ̺̣̿, ѳ̺̺̤, ѳ̻̺̤, ѳ̼̺̤, ѳ̺̤̽, ѳ̺̤̾, ѳ̺̤̿, ѳ̺̺̥, ѳ̻̺̥, ѳ̼̺̥, ѳ̺̥̽, ѳ̺̥̾, ѳ̺̥̿, ѳ̺̺̦, ѳ̻̺̦, ѳ̼̺̦, ѳ̺̦̽, ѳ̺̦̾, ѳ̺̦̿, ѳ̧̺̺, ѳ̧̻̺, ѳ̧̼̺, ѳ̧̺̽, ѳ̧̺̾, ѳ̧̺̿, ѳ̨̺̺, ѳ̨̻̺, ѳ̨̼̺, ѳ̨̺̽, ѳ̨̺̾, ѳ̨̺̿, ѳ̺̺̩, ѳ̻̺̩, ѳ̼̺̩, ѳ̺̩̽, ѳ̺̩̾, ѳ̺̩̿, ѳ̺̺̪, ѳ̻̺̪, ѳ̼̺̪, ѳ̺̪̽, ѳ̺̪̾, ѳ̺̪̿, ѳ̺̺̫, ѳ̻̺̫, ѳ̼̺̫, ѳ̺̫̽, ѳ̺̫̾, ѳ̺̫̿, ѳ̺̺̬, ѳ̻̺̬, ѳ̼̺̬, ѳ̺̬̽, ѳ̺̬̾, ѳ̺̬̿, ѳ̺̺̭, ѳ̻̺̭, ѳ̼̺̭, ѳ̺̭̽, ѳ̺̭̾, ѳ̺̭̿, ѳ̺̺̮, ѳ̻̺̮, ѳ̼̺̮, ѳ̺̮̽, ѳ̺̮̾, ѳ̺̮̿, ѳ̺̺̯, ѳ̻̺̯, ѳ̼̺̯, ѳ̺̯̽, ѳ̺̯̾, ѳ̺̯̿, ѳ̺̺̰, ѳ̻̺̰, ѳ̼̺̰, ѳ̺̰̽, ѳ̺̰̾, ѳ̺̰̿, ѳ̺̺̱, ѳ̻̺̱, ѳ̼̺̱, ѳ̺̱̽, ѳ̺̱̾, ѳ̺̱̿, ѳ̺̺̲, ѳ̻̺̲, ѳ̼̺̲, ѳ̺̲̽, ѳ̺̲̾, ѳ̺̲̿, ѳ̺̺̳, ѳ̻̺̳, ѳ̼̺̳, ѳ̺̳̽, ѳ̺̳̾, ѳ̺̳̿, ѳ̴̺̺, ѳ̴̻̺, ѳ̴̼̺, ѳ̴̺̽, ѳ̴̺̾, ѳ̴̺̿, ѳ̵̺̺, ѳ̵̻̺, ѳ̵̼̺, ѳ̵̺̽, ѳ̵̺̾, ѳ̵̺̿, ѳ̶̺̺, ѳ̶̻̺, ѳ̶̼̺, ѳ̶̺̽, ѳ̶̺̾, ѳ̶̺̿, ѳ̷̺̺, ѳ̷̻̺, ѳ̷̼̺, ѳ̷̺̽, ѳ̷̺̾, ѳ̷̺̿, ѳ̸̺̺, ѳ̸̻̺, ѳ̸̼̺, ѳ̸̺̽, ѳ̸̺̾, ѳ̸̺̿, ѳ̺̺̹, ѳ̻̺̹, ѳ̼̺̹, ѳ̺̹̽, ѳ̺̹̾, ѳ̺̹̿, ѳ̺̺̺̄, ѳ̻̺̺̄, ѳ̼̺̺̄, ѳ̺̺̽̄, ѳ̺̺̾̄, ѳ̺̺̿̄, ѳ̺̺̺̆, ѳ̻̺̺̆, ѳ̼̺̺̆, ѳ̺̺̽̆, ѳ̺̺̾̆, ѳ̺̺̿̆, ѳ̺̺̺̈, ѳ̻̺̺̈, ѳ̼̺̺̈, ѳ̺̺̽̈, ѳ̺̺̾̈, ѳ̺̺̿̈, ѳ̺̺̺̊, ѳ̻̺̺̊, ѳ̼̺̺̊, ѳ̺̺̽̊, ѳ̺̺̾̊, ѳ̺̺̿̊, ѳ̺̺̺̌, ѳ̻̺̺̌, ѳ̼̺̺̌, ѳ̺̺̽̌, ѳ̺̺̾̌, ѳ̺̺̿̌, ѳ̺̺̺̎, ѳ̻̺̺̎, ѳ̼̺̺̎, ѳ̺̺̽̎, ѳ̺̺̾̎, ѳ̺̺̿̎, ѳ̺̺̺̐, ѳ̻̺̺̐, ѳ̼̺̺̐, ѳ̺̺̽̐, ѳ̺̺̾̐, ѳ̺̺̿̐, ѳ̺̺̺̒, ѳ̻̺̺̒, ѳ̼̺̺̒, ѳ̺̺̽̒, ѳ̺̺̾̒, ѳ̺̺̿̒, ѳ̺̺̺̔, ѳ̻̺̺̔, ѳ̼̺̺̔, ѳ̺̺̽̔, ѳ̺̺̾̔, ѳ̺̺̿̔, ѳ̺̺̺̖, ѳ̻̺̺̖, ѳ̼̺̺̖, ѳ̺̺̖̽, ѳ̺̺̖̾, ѳ̺̺̖̿, ѳ̺̺̺̘, ѳ̻̺̺̘, ѳ̼̺̺̘, ѳ̺̺̘̽, ѳ̺̺̘̾, ѳ̺̺̘̿, ѳ̺̺̺̚, ѳ̻̺̺̚, ѳ̼̺̺̚, ѳ̺̺̽̚, ѳ̺̺̾̚, ѳ̺̺̿̚, ѳ̛̺̺̺, ѳ̛̻̺̺, ѳ̛̼̺̺, ѳ̛̺̺̽, ѳ̛̺̺̾, ѳ̛̺̺̿, ѳ̺̺̺̝, ѳ̻̺̺̝, ѳ̼̺̺̝, ѳ̺̺̝̽, ѳ̺̺̝̾, ѳ̺̺̝̿, ѳ̺̺̺̞, ѳ̻̺̺̞, ѳ̼̺̺̞, ѳ̺̺̞̽, ѳ̺̺̞̾, ѳ̺̺̞̿, ѳ̺̺̺̟, ѳ̻̺̺̟, ѳ̼̺̺̟, ѳ̺̺̟̽, ѳ̺̺̟̾, ѳ̺̺̟̿, ѳ̺̺̺̠, ѳ̻̺̺̠, ѳ̼̺̺̠, ѳ̺̺̠̽, ѳ̺̺̠̾, ѳ̺̺̠̿, ѳ̡̺̺̺, ѳ̡̻̺̺, ѳ̡̼̺̺, ѳ̡̺̺̽, ѳ̡̺̺̾, ѳ̡̺̺̿, ѳ̢̺̺̺, ѳ̢̻̺̺, ѳ̢̼̺̺, ѳ̢̺̺̽, ѳ̢̺̺̾, ѳ̢̺̺̿, ѳ̺̺̺̣, ѳ̻̺̺̣, ѳ̼̺̺̣, ѳ̺̺̣̽, ѳ̺̺̣̾, ѳ̺̺̣̿, ѳ̺̺̺̤, ѳ̻̺̺̤, ѳ̼̺̺̤, ѳ̺̺̤̽, ѳ̺̺̤̾, ѳ̺̺̤̿, ѳ̺̺̺̥, ѳ̻̺̺̥, ѳ̼̺̺̥, ѳ̺̺̥̽, ѳ̺̺̥̾, ѳ̺̺̥̿, ѳ̺̺̺̦, ѳ̻̺̺̦, ѳ̼̺̺̦, ѳ̺̺̦̽, ѳ̺̺̦̾, ѳ̺̺̦̿, ѳ̧̺̺̺, ѳ̧̻̺̺, ѳ̧̼̺̺, ѳ̧̺̺̽, ѳ̧̺̺̾, ѳ̧̺̺̿, ѳ̨̺̺̺, ѳ̨̻̺̺, ѳ̨̼̺̺, ѳ̨̺̺̽, ѳ̨̺̺̾, ѳ̨̺̺̿, ѳ̺̺̺̩, ѳ̻̺̺̩, ѳ̼̺̺̩, ѳ̺̺̩̽, ѳ̺̺̩̾, ѳ̺̺̩̿, ѳ̺̺̺̪, ѳ̻̺̺̪, ѳ̼̺̺̪, ѳ̺̺̪̽, ѳ̺̺̪̾, ѳ̺̺̪̿, ѳ̺̺̺̫, ѳ̻̺̺̫, ѳ̼̺̺̫, ѳ̺̺̫̽, ѳ̺̺̫̾, ѳ̺̺̫̿, ѳ̺̺̺̬, ѳ̻̺̺̬, ѳ̼̺̺̬, ѳ̺̺̬̽, ѳ̺̺̬̾, ѳ̺̺̬̿, ѳ̺̺̺̭, ѳ̻̺̺̭, ѳ̼̺̺̭, ѳ̺̺̭̽, ѳ̺̺̭̾, ѳ̺̺̭̿, ѳ̺̺̺̮, ѳ̻̺̺̮, ѳ̼̺̺̮, ѳ̺̺̮̽, ѳ̺̺̮̾, ѳ̺̺̮̿, ѳ̺̺̺̯, ѳ̻̺̺̯, ѳ̼̺̺̯, ѳ̺̺̯̽, ѳ̺̺̯̾, ѳ̺̺̯̿, ѳ̺̺̺̰, ѳ̻̺̺̰, ѳ̼̺̺̰, ѳ̺̺̰̽, ѳ̺̺̰̾, ѳ̺̺̰̿, ѳ̺̺̺̱, ѳ̻̺̺̱, ѳ̼̺̺̱, ѳ̺̺̱̽, ѳ̺̺̱̾, ѳ̺̺̱̿, ѳ̺̺̺̲, ѳ̻̺̺̲, ѳ̼̺̺̲, ѳ̺̺̲̽, ѳ̺̺̲̾, ѳ̺̺̲̿, ѳ̺̺̺̳, ѳ̻̺̺̳, ѳ̼̺̺̳, ѳ̺̺̳̽, ѳ̺̺̳̾, ѳ̺̺̳̿, ѳ̴̺̺̺, ѳ̴̻̺̺, ѳ̴̼̺̺, ѳ̴̺̺̽, ѳ̴̺̺̾, ѳ̴̺̺̿, ѳ̵̺̺̺, ѳ̵̻̺̺, ѳ̵̼̺̺, ѳ̵̺̺̽, ѳ̵̺̺̾, ѳ̵̺̺̿, ѳ̶̺̺̺, ѳ̶̻̺̺, ѳ̶̼̺̺, ѳ̶̺̺̽, ѳ̶̺̺̾, ѳ̶̺̺̿, ѳ̷̺̺̺, ѳ̷̻̺̺, ѳ̷̼̺̺, ѳ̷̺̺̽, ѳ̷̺̺̾, ѳ̷̺̺̿, ѳ̸̺̺̺, ѳ̸̻̺̺, ѳ̸̼̺̺, ѳ̸̺̺̽, ѳ̸̺̺̾, ѳ̸̺̺̿, ѳ̺̺̺̹, ѳ̻̺̺̹, ѳ̼̺̺̹, ѳ̺̺̹̽, ѳ̺̺̹̾, ѳ̺̺̹̿, ѳ̺̺̺̺̄, ѳ̻̺̺̺̄, ѳ̼̺̺̺̄, ѳ̺̺̺̽̄, ѳ̺̺̺̾̄, ѳ̺̺̺̿̄, ѳ̺̺̺̺̆, ѳ̻̺̺̺̆, ѳ̼̺̺̺̆, ѳ̺̺̺̽̆, ѳ̺̺̺̾̆, ѳ̺̺̺̿̆, ѳ̺̺̺̺̈, ѳ̻̺̺̺̈, ѳ̼̺̺̺̈, ѳ̺̺̺̽̈, ѳ̺̺̺̾̈, ѳ̺̺̺̿̈, ѳ̺̺̺̺̊, ѳ̻̺̺̺̊, ѳ̼̺̺̺̊, ѳ̺̺̺̽̊, ѳ̺̺̺̾̊, ѳ̺̺̺̿̊, ѳ̺̺̺̺̌, ѳ̻̺̺̺̌, ѳ̼̺̺̺̌, ѳ̺̺̺̽̌, ѳ̺̺̺̾̌, ѳ̺̺̺̿̌, ѳ̺̺̺̺̎, ѳ̻̺̺̺̎, ѳ̼̺̺̺̎, ѳ̺̺̺̽̎, ѳ̺̺̺̾̎, ѳ̺̺̺̿̎, ѳ̺̺̺̺̐, ѳ̻̺̺̺̐, ѳ̼̺̺̺̐, ѳ̺̺̺̽̐, ѳ̺̺̺̾̐, ѳ̺̺̺̿̐, ѳ̺̺̺̺̒, ѳ̻̺̺̺̒, ѳ̼̺̺̺̒, ѳ̺̺̺̽̒, ѳ̺̺̺̾̒, ѳ̺̺̺̿̒, ѳ̺̺̺̺̔, ѳ̻̺̺̺̔, ѳ̼̺̺̺̔, ѳ̺̺̺̽̔, ѳ̺̺̺̾̔, ѳ̺̺̺̿̔, ѳ̺̺̺̺̖, ѳ̻̺̺̺̖, ѳ̼̺̺̺̖, ѳ̺̺̺̖̽, ѳ̺̺̺̖̾, ѳ̺̺̺̖̿, ѳ̺̺̺̺̘, ѳ̻̺̺̺̘, ѳ̼̺̺̺̘, ѳ̺̺̺̘̽, ѳ̺̺̺̘̾, ѳ̺̺̺̘̿, ѳ̺̺̺̺̚, ѳ̻̺̺̺̚, ѳ̼̺̺̺̚, ѳ̺̺̺̽̚, ѳ̺̺̺̾̚, ѳ̺̺̺̿̚, ѳ̛̺̺̺̺, ѳ̛̻̺̺̺, ѳ̛̼̺̺̺, ѳ̛̺̺̺̽, ѳ̛̺̺̺̾, ѳ̛̺̺̺̿, ѳ̺̺̺̺̝, ѳ̻̺̺̺̝, ѳ̼̺̺̺̝, ѳ̺̺̺̝̽, ѳ̺̺̺̝̾, ѳ̺̺̺̝̿, ѳ̺̺̺̺̞, ѳ̻̺̺̺̞, ѳ̼̺̺̺̞, ѳ̺̺̺̞̽, ѳ̺̺̺̞̾, ѳ̺̺̺̞̿, ѳ̺̺̺̺̟, ѳ̻̺̺̺̟, ѳ̼̺̺̺̟, ѳ̺̺̺̟̽, ѳ̺̺̺̟̾, ѳ̺̺̺̟̿, ѳ̺̺̺̺̠, ѳ̻̺̺̺̠, ѳ̼̺̺̺̠, ѳ̺̺̺̠̽, ѳ̺̺̺̠̾, ѳ̺̺̺̠̿, ѳ̡̺̺̺̺, ѳ̡̻̺̺̺, ѳ̡̼̺̺̺, ѳ̡̺̺̺̽, ѳ̡̺̺̺̾, ѳ̡̺̺̺̿, ѳ̢̺̺̺̺, ѳ̢̻̺̺̺, ѳ̢̼̺̺̺, ѳ̢̺̺̺̽, ѳ̢̺̺̺̾, ѳ̢̺̺̺̿, ѳ̺̺̺̺̣, ѳ̻̺̺̺̣, ѳ̼̺̺̺̣, ѳ̺̺̺̣̽, ѳ̺̺̺̣̾, ѳ̺̺̺̣̿, ѳ̺̺̺̺̤, ѳ̻̺̺̺̤, ѳ̼̺̺̺̤, ѳ̺̺̺̤̽, ѳ̺̺̺̤̾, ѳ̺̺̺̤̿, ѳ̺̺̺̺̥, ѳ̻̺̺̺̥, ѳ̼̺̺̺̥, ѳ̺̺̺̥̽, ѳ̺̺̺̥̾, ѳ̺̺̺̥̿, ѳ̺̺̺̺̦, ѳ̻̺̺̺̦, ѳ̼̺̺̺̦, ѳ̺̺̺̦̽, ѳ̺̺̺̦̾, ѳ̺̺̺̦̿, ѳ̧̺̺̺̺, ѳ̧̻̺̺̺, ѳ̧̼̺̺̺, ѳ̧̺̺̺̽, ѳ̧̺̺̺̾, ѳ̧̺̺̺̿, ѳ̨̺̺̺̺, ѳ̨̻̺̺̺, ѳ̨̼̺̺̺, ѳ̨̺̺̺̽, ѳ̨̺̺̺̾, ѳ̨̺̺̺̿, ѳ̺̺̺̺̩, ѳ̻̺̺̺̩, ѳ̼̺̺̺̩, ѳ̺̺̺̩̽, ѳ̺̺̺̩̾, ѳ̺̺̺̩̿, ѳ̺̺̺̺̪, ѳ̻̺̺̺̪, ѳ̼̺̺̺̪, ѳ̺̺̺̪̽, ѳ̺̺̺̪̾, ѳ̺̺̺̪̿, ѳ̺̺̺̺̫, ѳ̻̺̺̺̫, ѳ̼̺̺̺̫, ѳ̺̺̺̫̽, ѳ̺̺̺̫̾, ѳ̺̺̺̫̿, ѳ̺̺̺̺̬, ѳ̻̺̺̺̬, ѳ̼̺̺̺̬, ѳ̺̺̺̬̽, ѳ̺̺̺̬̾, ѳ̺̺̺̬̿, ѳ̺̺̺̺̭, ѳ̻̺̺̺̭, ѳ̼̺̺̺̭, ѳ̺̺̺̭̽, ѳ̺̺̺̭̾, ѳ̺̺̺̭̿, ѳ̺̺̺̺̮, ѳ̻̺̺̺̮, ѳ̼̺̺̺̮, ѳ̺̺̺̮̽, ѳ̺̺̺̮̾, ѳ̺̺̺̮̿, ѳ̺̺̺̺̯, ѳ̻̺̺̺̯, ѳ̼̺̺̺̯, ѳ̺̺̺̯̽, ѳ̺̺̺̯̾, ѳ̺̺̺̯̿, ѳ̺̺̺̺̰, ѳ̻̺̺̺̰, ѳ̼̺̺̺̰, ѳ̺̺̺̰̽, ѳ̺̺̺̰̾, ѳ̺̺̺̰̿, ѳ̺̺̺̺̱, ѳ̻̺̺̺̱, ѳ̼̺̺̺̱, ѳ̺̺̺̱̽, ѳ̺̺̺̱̾, ѳ̺̺̺̱̿, ѳ̺̺̺̺̲, ѳ̻̺̺̺̲, ѳ̼̺̺̺̲, ѳ̺̺̺̲̽, ѳ̺̺̺̲̾, ѳ̺̺̺̲̿, ѳ̺̺̺̺̳, ѳ̻̺̺̺̳, ѳ̼̺̺̺̳, ѳ̺̺̺̳̽, ѳ̺̺̺̳̾, ѳ̺̺̺̳̿, ѳ̴̺̺̺̺, ѳ̴̻̺̺̺, ѳ̴̼̺̺̺, ѳ̴̺̺̺̽, ѳ̴̺̺̺̾, ѳ̴̺̺̺̿, ѳ̵̺̺̺̺, ѳ̵̻̺̺̺, ѳ̵̼̺̺̺, ѳ̵̺̺̺̽, ѳ̵̺̺̺̾, ѳ̵̺̺̺̿, ѳ̶̺̺̺̺, ѳ̶̻̺̺̺, ѳ̶̼̺̺̺, ѳ̶̺̺̺̽, ѳ̶̺̺̺̾, ѳ̶̺̺̺̿, ѳ̷̺̺̺̺, ѳ̷̻̺̺̺, ѳ̷̼̺̺̺, ѳ̷̺̺̺̽, ѳ̷̺̺̺̾, ѳ̷̺̺̺̿, ѳ̸̺̺̺̺, ѳ̸̻̺̺̺, ѳ̸̼̺̺̺, ѳ̸̺̺̺̽, ѳ̸̺̺̺̾, ѳ̸̺̺̺̿, ѳ̺̺̺̺̹, ѳ̻̺̺̺̹, ѳ̼̺̺̺̹, ѳ̺̺̺̹̽, ѳ̺̺̺̹̾, ѳ̺̺̺̹̿, ѳ̺̺̺̺̺̄, ѳ̻̺̺̺̺̄, ѳ̼̺̺̺̺̄, ѳ̺̺̺̺̽̄, ѳ̺̺̺̺̾̄, ѳ̺̺̺̺̿̄, ѳ̺̺̺̺̺̆, ѳ̻̺̺̺̺̆, ѳ̼̺̺̺̺̆, ѳ̺̺̺̺̽̆, ѳ̺̺̺̺̾̆, ѳ̺̺̺̺̿̆, ѳ̺̺̺̺̺̈, ѳ̻̺̺̺̺̈, ѳ̼̺̺̺̺̈, ѳ̺̺̺̺̽̈, ѳ̺̺̺̺̾̈, ѳ̺̺̺̺̿̈, ѳ̺̺̺̺̺̊, ѳ̻̺̺̺̺̊, ѳ̼̺̺̺̺̊, ѳ̺̺̺̺̽̊, ѳ̺̺̺̺̾̊, ѳ̺̺̺̺̿̊, ѳ̺̺̺̺̺̌, ѳ̻̺̺̺̺̌, ѳ̼̺̺̺̺̌, ѳ̺̺̺̺̽̌, ѳ̺̺̺̺̾̌, ѳ̺̺̺̺̿̌, ѳ̺̺̺̺̺̎, ѳ̻̺̺̺̺̎, ѳ̼̺̺̺̺̎, ѳ̺̺̺̺̽̎, ѳ̺̺̺̺̾̎, ѳ̺̺̺̺̿̎, ѳ̺̺̺̺̺̐, ѳ̻̺̺̺̺̐, ѳ̼̺̺̺̺̐, ѳ̺̺̺̺̽̐, ѳ̺̺̺̺̾̐, ѳ̺̺̺̺̿̐, ѳ̺̺̺̺̺̒, ѳ̻̺̺̺̺̒, ѳ̼̺̺̺̺̒, ѳ̺̺̺̺̽̒, ѳ̺̺̺̺̾̒, ѳ̺̺̺̺̿̒, ѳ̺̺̺̺̺̔, ѳ̻̺̺̺̺̔, ѳ̼̺̺̺̺̔, ѳ̺̺̺̺̽̔, ѳ̺̺̺̺̾̔, ѳ̺̺̺̺̿̔, ѳ̺̺̺̺̺̖, ѳ̻̺̺̺̺̖, ѳ̼̺̺̺̺̖, ѳ̺̺̺̺̖̽, ѳ̺̺̺̺̖̾, ѳ̺̺̺̺̖̿, ѳ̺̺̺̺̺̘, ѳ̻̺̺̺̺̘, ѳ̼̺̺̺̺̘, ѳ̺̺̺̺̘̽, ѳ̺̺̺̺̘̾, ѳ̺̺̺̺̘̿, ѳ̺̺̺̺̺̚, ѳ̻̺̺̺̺̚, ѳ̼̺̺̺̺̚, ѳ̺̺̺̺̽̚, ѳ̺̺̺̺̾̚, ѳ̺̺̺̺̿̚, ѳ̛̺̺̺̺̺, ѳ̛̻̺̺̺̺, ѳ̛̼̺̺̺̺, ѳ̛̺̺̺̺̽, ѳ̛̺̺̺̺̾, ѳ̛̺̺̺̺̿, ѳ̺̺̺̺̺̝, ѳ̻̺̺̺̺̝, ѳ̼̺̺̺̺̝, ѳ̺̺̺̺̝̽, ѳ̺̺̺̺̝̾, ѳ̺̺̺̺̝̿, ѳ̺̺̺̺̺̞, ѳ̻̺̺̺̺̞, ѳ̼̺̺̺̺̞, ѳ̺̺̺̺̞̽, ѳ̺̺̺̺̞̾, ѳ̺̺̺̺̞̿, ѳ̺̺̺̺̺̟, ѳ̻̺̺̺̺̟, ѳ̼̺̺̺̺̟, ѳ̺̺̺̺̟̽, ѳ̺̺̺̺̟̾, ѳ̺̺̺̺̟̿, ѳ̺̺̺̺̺̠, ѳ̻̺̺̺̺̠, ѳ̼̺̺̺̺̠, ѳ̺̺̺̺̠̽, ѳ̺̺̺̺̠̾, ѳ̺̺̺̺̠̿, ѳ̡̺̺̺̺̺, ѳ̡̻̺̺̺̺,*

Морфология составляет основное содержание первого (начиная с VI занятия) и второго разделов учебника. Надо отметить, что при изложении склонения именных основ упущено склонение существительных на *o*, *e* и дифтонги (типа *rai*, *nau*, *go*). Кроме того, нам кажется, что при изложении именного склонения для большей наглядности следовало бы привести образец склонения хотя бы одного прилагательного. При объяснении причастия страдательного залога будущего времени следовало бы подчеркнуть особый характер этого причастия, выражающего должествование или необходимость и поэтому получившего в грамматической литературе название *participium necessitatis*. Хорошо было бы также указать на его близость по значению с латинским *gerundium* на *-ndus*, как отмечает Уитни¹. Это помогло бы учащимся при переводе, так как *participium necessitatis* — форма, часто встречающаяся в текстах.

На стр. 70 сказано, что описательное будущее время «образуется из *nominis agentis* на *-tar* в именительном падеже ед. числа и настоящего времени глагола *as* — «быть» (эта конструкция имеет значение причастия будущего времени действительного залога). Нам кажется, что это не совсем точное выражение, так как не вся конструкция имеет значение причастия будущего времени действительного залога, а только *nomens agentis* на *-tar*, входящее в эту конструкцию, а вся конструкция имеет значение не причастия будущего времени, а самого будущего времени.

Неточное выражение следует отметить и на стр. 77, где говорится, что «описательный перфект образуется сочетанием о т ы м е н н о й неизменяемой формы на *-am* и вспомогательных глаголов *ās*, *kar* и *bhū* в форме *perfectum*». Здесь же даются примеры образования описательного перфекта от глаголов *darç*, *ās* и *vid*, которые показывают, что описательный перфект образуется не при помощи отыменной основы, а при помощи основы отглагольной, которая представляет собой отглагольное существительное в винительном падеже на *-ām* (причем *a* долгое, а не краткое). Нам кажется, что автору следовало бы указать, что в состав описательного перфекта входит именная основа (или отглагольная), но не отыменная.

Мы считаем, что следовало бы несколько расширить раздел словообразования, включив туда, кроме словосложения, понятие о важнейших морфологических словообразовательных типах древнеиндийского языка: привести наиболее употребительные суффиксы существительных и глагольные префиксы. Это представляло бы большой интерес для занимающихся сравнительным языкознанием.

В некоторых случаях было бы не лишним дать сравнение с русским языком, как это удачно делается в разделе о сложных словах (стр. 86—87), и особенно с древними языками. Поскольку учебник рассчитан в первую очередь на студентов и аспирантов, занимающихся вопросами сравнительного языкознания, это не затрудняло бы, а, напротив, облегчало понимание и запоминание многих явлений грамматики санскрита. Например, при объяснении конструкции *locativus absolutus* следовало бы сослаться на аналогичные конструкции в древнерусском языке (дательный самостоятельный), в латинском языке (*ablativus absolutus*), в греческом (*genitivus absolutus*), дать сравнение с латинским и греческим языками при объяснении степеней сравнения прилагательных, как, например, это делается у Риттера².

Указанные нами некоторые недостатки учебника легко исправимы в процессе работы над второй частью и при переиздании первой. При издании учебника полностью (первая и вторая часть) было бы целесообразным предпослать ему очерк, характеризующий значение санскрита для сравнительной грамматики индоевропейских языков и для истории развития языков Индии. Рецензируемый учебник В. А. Кочергиной «Начальный курс санскрита» найдет широкое применение среди языковедов разных специальностей и среди востоковедов.

М. Н. Петерсон и В. В. Вертоградова

J. Marouzeau. Notre langue. Enquêtes et récréations philologiques.— Paris, Delagrave, 1955. 279 стр. (Bibliothèque des chercheurs et des curieux).

Книга известного французского лингвиста Ж. Марузо «Наш язык. Филологические разыскания и развлечення» вышла в научно-популярной серии «Библиотека исследований и любопытных». Как и предыдущие лингвистические выпуски серии, принадлежавшие перу А. Дармстедера, А. Доза, М. Граммона и других крупных ученых, книга Марузо является не только популяризацией уже известных в науке фактов. Будучи написана на базе статей, опубликованных ранее в серьезных лингвистических

¹ W. D. Whitney, Indische Grammatik, Leipzig, 1879, стр. 332.

² П. Г. Риттер, Санскрит, Харьков, 1916, стр. 73 [литогр. изд.].

журналах, эта книга представляет собой собрание интереснейших наблюдений и размышлений о своеобразных явлениях французского языка.

Автор предлагает рассматривать свой труд как продолжение его книги «Aspects du français» (1950) и иллюстрацию к его работе «Précis de stylistique française» (3-е изд., 1950).

На страницах книги «Наш язык» в поле зрения автора находятся самые различные аспекты и проблемы французского языка: интонация (глава I), образование сложных слов (глава IV), проблема синтаксических неологизмов (глава VIII), соотношение стиля языка и стиля писателя, вопросы стихосложения и т. д. Столь разные по содержанию главы объединяются основной задачей, поставленной автором: изучать живую речь народа, уловить сам процесс ее изменения, тенденции развития. Автор указывает, что значительная часть фактов была собрана им в процессе наблюдений над речью пассажиров метро.

Марузо призывает лингвистов к более углубленному изучению особенностей устной речи, интонации, смыслового ударения, ибо от этих моментов нельзя абстрагироваться и при изучении литературного языка. Интересно замечание автора о семантической неоднозначности интонации, в противоположность семантической многозначности слова.

Марузо уделяет большое внимание грамматическим отклонениям от норм литературного языка, ставшим своеобразной нормой разговорной речи. Так, впервые отмечается появление в последней нового типа инфинитива с окончанием на зубную согласную, возникающего в результате исчезновения *r* в потоке речи: *bat' la campagne, rend' la monnaie*. Это явление стало продуктивным: автором зарегистрирована целая группа инфинитивов с окончанием на разные согласные: *j' te vais flang' un pain* и даже *Crois-tu qu'il va pleuv'*?

Значительное место в книге уделено проблемам словообразования. Как и в остальных случаях, автор останавливается прежде всего на спорных вопросах, например его внимание привлекает способ образования существительных по типу *cloche-pied*. Интересно замечание Марузо по поводу неологизмов типа *Paris-Press*, *France-Illustration*, калькирующих распространенный в английском языке словообразовательный тип.

Во многих случаях автор ограничивается лишь постановкой вопроса, предлагая лингвистам заняться дальнейшей разработкой темы. Сюда относится вопрос о причинах ограниченной возможности образования прилагательных от существительных во французском языке, об отсутствии субстантивации инфинитива для образования существительного с абстрактным значением (ср. ст.-франц. *li doners*, совр. исп. *el pensar* и т. д.), об исчезновении из французского языка глаголов *ester*, *gésir*, *seoir*, которые сохранились в других романских языках, и т. д.

В небольшой главе «Что такое стиль?» содержатся интересные мысли по вопросу о методе стилистических исследований: Марузо считает нецелесообразным посвящать обширные монографии особенностям языка и стиля отдельных писателей, поскольку перечень характерных для данного автора стилистических особенностей важен для литературоведения, но ничем не обогащает стилистику как лингвистическую дисциплину. По мнению Марузо, следует создавать монографии, посвященные отдельным стилистическим явлениям или процессам, тогда будут заложены основы стилистики как одного из разделов общего языкознания.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и представляет несомненный интерес для специалистов.

Р. М. Фрумкина

Arthur Thibert. English-Eskimo, Eskimo-English dictionary. — Ottawa, Ont., Canada, 1954. 174 стр. (Research center of Amerindian anthropology. Univ. of Ottawa).

Выпущенный в свет университетом в Оттаве (Канада) «Англо-эскимосский и эскимосско-английский словарь» А. Тиберта составлен на основе одного из диалектов языка канадских эскимосов, обитающих в пунктах Chesterfield, Eskimo Point, Southampton Island, Baker и Churchill. Автор прожил среди этой группы эскимосов двадцать семь лет и хорошо изучил их язык и обычаи. Аннотируемый нами словарь, по замыслу А. Тиберта, предназначен для лиц, работающих среди эскимосов и заботящихся об их «социальном благополучии». Между тем словарь этот — не только практическое пособие, служащее целям взаимного языкового контакта между эскимосами и лицами, говорящими на английском языке. Он представляет собою ценный в научном отношении источник для диалектологических и грамматических исследований по эскимосскому языку.

Эскимосский язык объединяет около тридцати территориальных диалектов, основанием для выделения которых являются значительные различия в лексике, в звуковом составе и в отдельных частях грамматического строя. Эти различия между диалектами обнаруживаются посредством их сравнительного изучения, поэтому любая работа по лексике, фонетике и грамматике отдельного диалекта может быть полезным источником для теоретических изысканий в области эскимосской диалектологии. Имеющиеся эскимосские словари лишь в незначительной степени отражают диалектные особенности языка. Многие диалекты его до сих пор остаются не изученными или мало изученными. Словарь А. Тиберта в известной мере восполняет этот пробел.

В книгу А. Тиберта включены разделы англо-эскимосского и эскимосско-английского словарей. Каждый раздел содержит около 2 тыс. корневых и производных от них слов. Особую ценность представляют приложения к словарю. В приложениях под рубрикой «Инфиксы и их употребление» автор справедливо указывает, что инфиксация имеет решающее значение при образовании новых слов. Зная значение эскимосских инфиксов, краткий словарь можно расширить до полного. Характеризуя полисинтезизм эскимосского производного слова, автор приводит пример со словом *нуна* «страна», от которого образуется производное слово предикативного значения *нуна-тэсу-н'-и-то-к'* «страна-не-приветливая-есть», что указывает на специфику грамматического строя эскимосского языка, где от любой именной основы образуются глагольные формы, если имя оказывается в положении предиката. Автор приводит в указанном приложении 192 инфикса с соответствующими примерами их употребления в слове. В последующих четырех приложениях дается краткая характеристика системы эскимосского склонения, притяжательных и других грамматических форм имен и глаголов. Остальные приложения посвящены топонимике, классификации терминов родства и свойства, названиям частей человеческого тела и названиям животных.

Сравнение лексических значений и грамматических форм эскимосских слов канадского диалекта и диалектов языка азиатских эскимосов указывает как на значительные языковые различия, происшедшие в результате длительного изолированного развития этих территориальных групп, так и на общность многих элементов в лексике и грамматике, обусловленную устойчивостью древнейших элементов языка-основы.

Недостатком, свойственным всему словарю, является непоследовательность в обозначении заднеязычного звука *ж* и увулярного *ж'* (*гк*), которые часто не различаются автором, хотя во введении он и указывает на фоновое значение каждого из этих звуков. Так, например, все глагольные формы с конечными компонентами *-лок'*, *-ток'* даются А. Тибертом формами *-нок*, *-ток*, что обозначает не единственное, а двойственное число глаголов 3-го лица (закономерность, общая для всех эскимосских диалектов). Отбор слов, помещенных в словарь, в известной мере случаен, так как наряду с незначительным количеством корневых слов дается много производных, которые одинаково образуются от любых именных или глагольных непроезводных основ. Между тем многие корневые слова, общие для большинства эскимосских диалектов и идущие от языка-основы, в словаре А. Тиберта совершенно не представлены. Тем не менее рассматриваемый словарь, несмотря на свой малый объем и некоторую неточность написания, представляет большую ценность как источник для диалектологических и грамматических исследований по эскимосским языкам.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НА ВОСЬМОМ СЪЕЗДЕ ОБЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

С 1 по 5 июля 1957 г. в Анкаре проходил очередной восьмой съезд Общества турецкого языка (Türk Dil Kurumu) — организации, объединяющей в своих рядах не только ученых-языковедов и преподавателей, но вообще лиц, участвующих в работе по изучению и дальнейшему развитию турецкого языка, видных литераторов, общественных деятелей и др.

Восьмой съезд оказался юбилейным — по времени совпал с двадцатипятилетием со дня организации Общества по изучению турецкого языка (Türk Dili Tedkik Cemiyeti, в дальнейшем Общество турецкого языка). Общество было учреждено в 1932 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемали Ататюрка. Оно и до сих пор существует в основном на средства завещанного им фонда.

Впервые после двадцатитрехлетнего перерыва в работе съезда принимала участие приглашенная Обществом делегация советских тюркологов в составе Г. М. Араслы, А. Н. Кононова, Э. В. Севортяна и М. Ш. Ширалиева. Советские языковеды были встречены весьма радушно как участниками съезда, так и руководством Общества в лице его генерального секретаря Агяха Сырры Левенда и других членов Президиума Общества турецкого языка.

Заседания съезда распадались на научные и организационные. На научных, в сущности пленарных, заседаниях были заслушаны сообщения, относящиеся к турецкому и другим тюркским языкам, а также их литературным памятникам. Организационные заседания были посвящены работам комиссий, перечень которых соответствовал постоянным отделам Общества турецкого языка, а именно: Комиссия по сбору и выборке слов из диалектов и памятников турецкого языка (Derleme-Tarama Komisyonu), Словарная комиссия (Sözlük Komisyonu), Терминологическая комиссия (Terim Komisyonu), Грамматическая комиссия (Grammer Komisyonu). Кроме того, работали Комиссия по изданиям (Yayın Komisyonu), Отчетно-бюджетная комиссия (Hesap ve bütçe Komisyonu) и Уставная комиссия (Tüzük Komisyonu).

Основная часть сообщений на научных заседаниях была посвящена вопросам фонетики, грамматики, лексики, истории и диалектологии турецкого языка, а также памятникам турецкой литературы или же фольклору, как это и предусматривалось с самого начала программой съезда. Из 29 докладов, включенных в повестку дня съезда, почти двадцать докладов были отведены турецкому языку и турецкой литературе.

Характеризуя в целом научные сообщения, сделанные на восьмом съезде, можно сказать, что большая часть их была ориентирована на конкретные и частные вопросы турецкого языкознания. Более общий характер носили, судя по заглавиям, доклады действительного члена Венгерской Академии наук проф. Дьюлы Немета о «Новых путях исторического изучения турецкого языка», старейшего турецкого языковеда проф. Бесима Аталя «Грамматика турецкого языка и строение предложения», проф. Исфендиара Эсаг-Кадастера «Проблема технических терминов», д-ра Яноша Экмана «Образование гласных в турецком языке», д-ра Мухаррема Эргина «Синтаксические единства в турецком языке», Тахира Неджата Генджана «Инверсионное предложение», Аюпа Диличара «Проблема проницаемости языка», д-ра Андреас Титце «Словарь анатолийско-турецкого языка и его деление на слои с исторической точки зрения». Ввиду того, что нам не удалось прибыть к началу работы съезда, мы не могли заслушать первые шесть докладов — интересные, судя по их темам. Два последних доклада, на которых присутствовала и наша делегация, хотя и не могут дать полного представления о теоретических вопросах, вынесенных на обсуждение восьмого съезда, но до известной степени позволяют уяснить себе некоторые направления в тюркологии, привлекающие внимание турецких языковедов. В докладе старейшего члена Общества турецкого языка А. Диличара развивалось положение о необходимости сохранения чистоты языка во всех его сферах, что вытекает, как говорил докладчик, из основных установок структуральной лингвистики, рассматривающей язык в качестве системы и структуры. Таким образом, в выступлении А. Диличара была сделана попытка теоретически

обосновать тезис очищения турецкого словаря от иноязычных элементов с позиций структурализма.

Во втором сообщении преподаватель английского языка в Стамбульском университете д-р Андреас Титце высказал мысль о целесообразности изучения турецкого словаря по лексическим слоям, благодаря чему, по мнению автора, установится, в частности, возможным приблизительно установить время проникновения отдельных заимствований в турецкий язык.

На съезде были сделаны также некоторые сообщения обзорного характера. Заведующий кафедрой турецкого языка и литературы Стамбульского университета проф. Ахмед Джафероглу, сообщая съезду о состоянии исследовательской работы в области анатолийских и румелийских диалектов турецкого языка, отметил недостаточный размах диалектологической работы и трудности, сопряженные с последней. Доцент Пражского университета д-р Иосиф Блашкович сделал сообщение на тему «Современное состояние и ближайшие задачи чехословацкой тюркологии».

Из значительного числа докладов или сообщений по более конкретным и специальным вопросам отметим сообщение генерального секретаря Общества Агяха Сырры Левенда о поэме «Гюль и Хосров» Тутмаджи, интересный этюд проф. Ахмеда Джафероглу о терминах *serpiş* или *baş* в турецкой ономастике, сообщение действительного члена Польской Академии наук проф. Анапьяша Зайончковского о поэме «Хосров и Ширин» Кутба, сообщение действительного члена Венгерской Академии наук проф. Лайоша Лигети о «Языке авансаров в Афганистане». Проф. Феридун Нафиз Узлук доложил о своих наблюдениях в области турецкой медицинской терминологии, начало развития которой автор относит к XIV в. В другом сообщении проф. Узлук привел образцы некоторых поговорок и пословиц. Молодой венгерский тюрколог Георг Хазаи сообщил о новом транскрипционном турецком тексте, обнаруженном в одном из книгохранилищ Сопи. Другое сообщение Г. Хазаи было посвящено турецким родным говорам в Болгарии. Али Сараджоглу говорил о некоторых древних тюркских словах из словаря Махмуда Кашгарского, зарегистрированных им в районе верхней части озера Ван. Молодой лингвист Осман Недим Туна сделал сообщение на тему «Слова и выражения, связанные с понятием «смерти» в древнетюркских надписях; разъяснение выражения *kergek bolmak*».

Из остальных сообщений, включенных в повестку дня научных заседаний, необходимо отметить следующие: сообщение проф. Хильми Зия Улькена «Изменения в обществе и изменения в языке», проф. Сюейль Унвера «О двух стихотворениях XVII века, написанных на чисто турецком языке», доц. Стамбульского университета Меджлуда Мансуроглу на тему «Некоторые предложения к решению проблем современного турецкого языка», доц. Бедии Шехсувароглу на тему «Медицинские термины в первых турецких сочинениях по медицине», доц. Иосифа Блашковича на тему «Исследование языка турецких памятников в Чехословакии».

С докладами и сообщениями на восьмом съезде выступали также советские тюркологи. К сожалению, тезисы наших докладов, посланные до съезда в Турцию, вовремя не попали в Общество турецкого языка и, таким образом, не могли войти в повестку дня съезда. Тем не менее руководство съезда любезно предоставило нашей делегации одно из заседаний, на котором советские тюркологи выступили со следующими сообщениями: М. Ш. Ширалев — «Сравнительное изучение диалектов турецкого и азербайджанского языков», Х. М. Араслы — «О Книге Деде-Коркуд», Э. В. Севордян — «О переходности и непереходности глагола в тюркских языках». Еще раньше, на вечернем заседании первого дня съезда, выступил с сообщением на тему «Проблема сложноподчиненного предложения в турецком языке» А. Н. Кононов, которому удалось попасть в Анкару в первый день съезда. Сообщения советских тюркологов были выслушаны делегатами съезда с большим вниманием и приняты с одобрением. По просьбе руководства тексты наших докладов были переданы Обществу для их публикации.

Последние два дня работы съезда были посвящены рассмотрению докладов комиссий и выбором руководящих органов Общества турецкого языка. В связи с докладами комиссий на съезде развернулась общая дискуссия, сосредоточившая свое внимание на вопросе об очищении турецкого языка от иноязычных слов и путях его дальнейшего развития (главным образом дальнейшего обогащения словаря и, в частности, терминологии). В высказываниях на этот счет соображениях были вновь повторены уже знакомые специалистам взгляды, многократно выраженные в печати и в выступлениях турецких языковедов. Начавшееся в 30-х годах движение за освобождение словаря от арабско-персидских элементов в дальнейшем столкнулось с трудностями объективного и субъективного порядка. Наиболее существенными из них оказались, во-первых, давление, испытываемое литературным языком со стороны разговорного языка городского населения, сохраняющего в своем словаре значительную прослойку арабских и персидских заимствований (внушительная часть их, между прочим, вошла в основную часть лексики турецкого языка); во-вторых, сознательное стремление некоторой части турецкой интеллигенции сохранить в языке давно освоенные в речевой практике ино-

язычные элементы. Курс на очищение турецкого языка от иноязычных элементов сохраняет свое значение и в настоящее время, о нем довольно часто говорится в выступлениях и в печати — общей и специальной, в частности, на страницах массового и популярного среди интеллигенции журнала «Türk dili» («Турецкий язык»). Однако современные установки отличаются от установок 30-х годов большей умеренностью, хотя в иных случаях можно встретить и крайние точки зрения, выражающиеся в отказе от каких бы то ни было заимствований вообще. Вместе с тем достаточно велико количество научных или практических работников в области турецкого языка, которые для обогащения турецкого словаря считают целесообразным, наряду со всемерным использованием богатого арсенала словообразовательных средств и диалектальной лексики турецкого языка, также и заимствование интернациональных основ или корней (в первую очередь для нужд все разрастающейся терминологии в области науки, экономики и т. д.) или же калькирование заимствуемых терминов либо терминированных выражений. Уместно заметить, что как в терминологических словарях, изданных Обществом турецкого языка для нужд начальной и средней школ¹, так и в словарях, выпущенных Обществом для широкого круга читателей², довольно богато представлены интернациональные термины или кальки.

На последнем заседании съезда были избраны руководящие органы Общества турецкого языка. В состав нового руководства вошли: председатель Общества Меджит Гёкберк, заместитель председателя Энвер Зия Карат, генеральный секретарь Агях Сырры Левенд, руководитель отдела публикаций Али Гюндюз Акынджи, руководитель словарного отдела Мехмед Али Агакай, руководитель отдела сбора и выборки слов Омер Асым Аксой, руководитель грамматического отдела Самит Синаноглу и руководитель терминологического отдела Юнус Кязим Кёни.

За 25 лет своего существования Общество турецкого языка выполнило значительную работу в области турецкого и древнетюркских языков. Трудами Общества в распоряжение науки предоставлены обширные материалы из области диалектальной лексики, проведены и опубликованы фундаментальные исследования по некоторым малоизученным турецким диалектам, изданы важнейшие памятники древних или старых тюркских языков, нередко с исследованиями по ним, подготовлены и изданы некоторые критически сверенные сводные тексты наиболее ценных памятников тюркских языков и т. д. О выполненной научной работе можно судить по издательской деятельности Общества, опубликовавшего за 25 лет своего существования почти 200 названий, среди которых такие трудоемкие издания, как шеститомный словарь турецкой диалектальной лексики («Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi», İstanbul. 1939—1952), большой четырехтомный выборочный словарь, составленный по памятникам турецкого языка («XIII asırdan günümüze kadar kitaplardan toplanmış tanıklarıyle tarama sözlüğü», İstanbul — Ankara, 1943—1957), обширные материалы по турецким диалектам в 7 томах, собранные проф. Ахмедом Джафероглу (Ahmet Caferoğlu, Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme..., I—VII, İstanbul, 1940—1946), исследование диалекта Газивтеба в трех частях, выполненное Омером Асымом Аксом (Ömer Asım Aksoy, Gaziantep ağzı, I—III, İstanbul, 1945—1946), турецкий перевод известного средневекового сочинения о тюркских народно-племенных языках Махмуда Кашгарского в трех частях с подробным указателем и факсимиле, выполненный проф. Бесимом Аталаем («Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi», с. I—III, Ankara, 1939—1941; Tıpkıbasım — 1941; Dizin — 1943), «Древнетюркские надписи» проф. Хюсейна Намыка Оркуна в четырех частях (Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk yazıtları, I—IV, İstanbul, 1936—1941), сводный текст средневекового уйгурского дидактического памятника «Наука быть счастливым», подготовленный проф. Репшидом Рахмети Аратом (Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, I — Metin, İstanbul, 1947), важные кыпчакские памятники средневековья, подготовленные к изданию проф. Бесимом Аталаем и проф. Р. Р. Аратом (B. Atalay, Ettuhfet-üz-zekiyye fil-lûgat-it-Türkiyye, İstanbul, 1945; R. R. Arat, Atebet'ül-hakayik, İstanbul, 1951), турецкая грамматика XVI века Бергамалы Кадри, подготовленная к изданию неутонченным проф. Бесимом Аталаем (Bergamalı Kadri, Müessiet-ül-Ulûm, İstanbul, 1946), «Турецкий словарь», подготовленный Мехмедом Али Агакаем (Mehmet Ali Ağakay, Türkçe sözlük, Ankara, 1945, 1955), турецкий перевод якутского словаря Э. Пикарского («Yakut dili sözlüğü», с. I. A—M, İstanbul, 1945), киргизского словаря К. К. Юдахина, выполненный Абдулла Таймасом (Kırgız sözlüğü: I — Ankara, 1945; II — İstanbul, 1948), перевод известной грамматики турецкого языка проф. Жама Дени, выполненный Али Ульви Элёве (J. Deny, Türk dili grameri, çeviren Ali Ulvi Elöve, İstanbul, 1941) и др.

¹ См. серию школьных словарей по физике, химии, математике, астрономии, языкознанию, биологии и т. д., изданную под общим названием «İlk ve orta öğretim... terimleri» (Ankara, 1951—1952, — всего девять выпусков), помимо значительного числа более обстоятельных терминологических словарей, изданных Обществом и другими организациями.

² Ср.: «Türkçe sözlük», Ankara, 1945 (2 baskı — 1955); «İmlâ kılavuzu», 4 baskı, Ankara, 1956.

В активе Общества несколько сот постоянных добровольных корреспондентов, которые из различных уголков Турции пересылают Обществу списки диалектальной лексики, пополняя имеющиеся в Анкаре фонды.

Обращаясь к кадрам турецких тюркологов, необходимо отметить, что наряду с языковедами старшего и среднего поколений, часть которых получила свою тюркологическую подготовку за границей, в частности у известного тюрколога проф. Вильгельма Банга-Каупа (проф. Р. Р. Арат, проф. А. Джафероглу, доц. С. Чагатай), работают также молодые лингвисты, среди которых имеются способные специалисты. С некоторыми из них, как и с их учителями, а также с другими тюркологами старшего и среднего поколений советская делегация встречалась в кулуарах съезда и на официальных приемах. В дружеских и непринужденных беседах с турецкими лингвистами неоднократно подчеркивалась необходимость и желательность укрепления научных связей между тюркологами обеих стран, организации регулярного обмена научной литературой, более близкого ознакомления с научной жизнью тюркологических центров. Регулярный научный контакт между тюркологами СССР и Турции бесспорно может стать реальной действительностью.

Э. В. Сесортян

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

С 27 по 30 августа текущего года в Уфе проходило координационное совещание по вопросам грамматики языков народов СССР, организованное Институтом языкознания АН СССР совместно с Институтом истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. В работе совещания приняли участие представители различных научно-исследовательских учреждений и учебных заведений нашей страны — специалисты по самым разнообразным языкам народов СССР: тюркским, финно-угорским, монгольским, индоевропейским.

Совещание носило характер широкой дискуссии, предметом которой явились две проблемы: проблема простого предложения и категории залога. По первой проблеме с докладом на тему «Простое предложение как проблема описательной грамматики» выступил доктор филол. наук А. Б. Шапиро. Центральным вопросом доклада явился вопрос об общности основных грамматических понятий для всех языков как необходимым условии установления структурных типов предложения в различных языках. Вместе с тем было подчеркнуто, что сами грамматические способы формирования типов предложений не совпадают в языках различного грамматического строя.

Целый ряд вопросов, поднятых в докладе А. Б. Шапиро, получил освещение с новых позиций, а потому естественно вызвал и оживленное обсуждение (ср. вопрос о модальности и предикативности как неотъемлемых признаках предложения, о согласовании и пр.).

Затем был заслушан доклад канд. филол. наук К. З. Ахмедова «К вопросу об обособлении второстепенных членов предложения в башкирском языке».

В ряде выступлений, построенных на материале различных языков народов СССР, докладчики освещали состояние изученности тех или иных вопросов синтаксиса простого предложения, а также предлагали свое понимание обсуждаемых синтаксических категорий (выступления А. М. Джавадова, М. З. Закиева, Н. З. Гаджиевой, М. Н. Коляденкова, Н. А. Баскакова, Б. А. Серебренникова, Н. Т. Пенгитова, Е. И. Убритовой, Н. Х. Ишбулатова, Ф. Г. Исламовой-Биккуловой, А. А. Мансурова, А. Э. Микельсоне).

Вторая проблема — проблема категории залога — впервые получила широкое обсуждение на настоящем совещании. В докладах члена-корр. АН СССР Б. А. Серебренникова «О залогах в финно-угорских и тюркских языках» и канд. филол. наук А. Х. Фатыхова «Категория залога в башкирском языке» по ряду вопросов данной проблемы были представлены диаметрально противоположные точки зрения, вызвавшие оживленную дискуссию. Доклад А. Х. Фатыхова был посвящен обоснованию существования в башкирском языке всех пяти залоговых форм, образующих самостоятельную грамматическую категорию залога. В докладе же Б. А. Серебренникова выдвигался ряд положений, ставящих под сомнение существование в тюркских и финно-угорских языках некоторых залоговых форм (например, понуцительного залога).

Основными вопросами, вызвавшими обсуждение, были: а) критерии, необходимые для выделения залогов как грамматической категории; б) отношение к категории залога категории переходности и непереходности; в) отношение залога к словообразованию и словозменению.

Большинством выступавших (В. И. Алатырев, Б. Ч. Чарыяров, С. К. Кудайбергенов, В. Г. Карпов, А. Калыбаева-Хасенова, М. З. Закиев, Н. А. Баскаков, Т. М. Га-

рипов, А. А. Дарбеева, М. Я. Лепика) на материале конкретных языков приводились доказательства в пользу существования залогов как самостоятельной грамматической категории. Вместе с тем обсуждение настоящей проблемы выявило и наличие разногласий, связанных с проблемой залогов (И. Е. Маманов, Т. З. Козырева, А. А. Юлдашев); например, по вопросу о взаимоотношении категории переходности и непереходности и категории залога; по вопросу об отношении к залогу производных образований с залоговыми аффиксами, лишенными значения данного залога или обозначающими лишь один из его оттенков; по вопросу о принципах выделения, с одной стороны, страдательного и возвратного залогов, а с другой — понуцительного залога.

Наиболее плодотворной оказалась дискуссия по вопросу о природе залоговых форм. В докладах и в выступлениях содержались новые наблюдения, которые будут учтены нашими лингвистами в их дальнейших исследованиях вопросов залога.

Н. З. Гаджиева

СОВЕЩАНИЕ ПО СТАТИСТИКЕ РЕЧИ

С 1 по 4 октября 1957 г. в Ленинграде происходило совещание, посвященное статистике речи, созванное Секцией речи Комиссии по акустике АН СССР и Ленинградским университетом. В совещании приняли участие также представители МГУ и МГПИИЯ, НИИ Министерства радиотехнической промышленности, Институты физиологии и языкознания АН СССР, Лаборатории электро моделирования ВИНТИ АН СССР, Военно-воздушной академии им. А. Ф. Можайского и ряда других организаций.

Совещание открылось вступительным словом Л. Р. З и н д е р а. В центре внимания совещания было два основных круга вопросов: 1) применение статистических исследований устной и письменной речи к разработке проблем, выдвигаемых теми разделами современной техники, которые связаны так или иначе с хранением, обработкой и передачей информации; 2) соотношение структурных и статистических методов в языкознании.

Доклад «Значение статистических исследований речи для техники» сделал Л. А. В а р ш а в с к и й. Докладчик указал основные направления в исследовании устной речи, развитие которых существенно для техники телефонной (проводной и непереводной) связи. К таким направлениям относится прежде всего исследование (в том числе статистическое) физических характеристик звуковых и электрических сигналов, служащих для передачи речи. В этой связи представляется целесообразным развитие общей теории сигналов, как это подчеркнул в своем докладе «Энергетические характеристики интервалов корреляции электрических сигналов», в частности, речевых сигналов» Н. А. Ж е л е з н о в.

Другой круг проблем, указанный Л. А. Варшавским, касается восприятия устной речи, передаваемой по каналам связи. Качество канала измеряется его артикуляцией, под которой в технике связи понимают процент правильно воспринятых звуковых единиц, переданных по каналу. Для определения артикуляции используются специальные звуко сочетания, которые и передаются по каналу. Уже при составлении таблиц таких звуко сочетаний необходимо учитывать статистические соотношения. Но наибольший интерес представляет вопрос о связях между артикуляциями звуковых единиц разного порядка: отдельных звуков, слогов, морфем, слов и т. п. При этом решающую роль играет изучение влияния, которое оказывает на восприятие данного звука восприятие окружающих его звуков. Это влияние обусловлено вероятностной зависимостью (корреляцией), имеющей место между соседними звуками.

Изучению подобной корреляции между соседними элементами речи (т. е. следующими друг за другом звуками, словами и т. п.) был посвящен доклад Л. Р. З и н д е р а «О лингвистической вероятности». Как отмечалось в докладе, каждый элемент речи несет определенную информацию (в ряде случаев весьма большую) о непосредственно следующем за ним элементе. Лингвистические вероятности нулевого порядка (т. е. абсолютные вероятности появления в речи тех или иных элементов) не совпадают, как правило, с лингвистическими вероятностями первого порядка (т. е. условными вероятностями появления одних элементов после других). Лингвистические вероятности как нулевого, так и высших порядков подразделяются на лексические (вероятности появления тех или иных лексем), грамматические (вероятности появления тех или иных грамматических форм) и звуковые (вероятности появления тех или иных звуковых единиц). Лингвистические вероятности оказывают значительное влияние на восприятие и, в конечном счете, понимание устной речи (в большей степени это относится к грамматическим и в меньшей к звуковым вероятностям). Доклад Л. Р. Зиндера сопровождался демонстрацией трех таблиц звуковых вероятностей первого порядка для русского языка. Были показаны составленные на основе статистического обследования

текстов общим объемом около 90 000 фонем отдельные таблицы для сочетаний звуков внутри слова, на стыке слов и сводная таблица.

Доклад Е. В. Падучевой «Статистическое исследование структуры слога (в связи с применением методов теории информации)» был посвящен сравнительному анализу сочетаний фонем внутри слога и на стыке слов. По мнению докладчицы, лишь сочетания фонем внутри слога могут составить предмет фонологического изучения; сочетания на стыке слогов — скорее следствие словообразования. Естественно ожидать, что на стыке слогов будут ослабляться ограничения, накладываемые на сочетаемость фонем внутри слога. В то же время, как показала докладчица на примере испанского языка, простое деление сочетаний фонем на возможные и невозможные оказывается недостаточным; к более удовлетворительным результатам (для русского языка) приводят вероятностные соображения.

Из перечисленных в докладе Л. А. Варшавского проблем важнейшими являются, по-видимому, проблемы компрессии, связанные с наиболее эффективным использованием каналов связи. Одним из способов повышения пропускной способности канала служит уменьшение времени, затрачиваемого на передачу одного звука; встает вопрос, до каких пределов можно сокращать длительность звука. Как показал в своих докладах «Статистика длительности глухих согласных и их восприятие» и «Статистика характерных участков звучания гласных звуков русского языка» М. Ф. Деркач, акустический состав звуков неоднороден во времени. Поэтому, если из временного промежутка, в течение которого произносится некоторый звук, выделить меньший интервал и воспроизвести звук только в этом интервале, то восприятие может нарушиться. Участники совещания имели возможность прослушать магнитофонную запись слога *та*, искусственно полученного из слога *са* посредством «отрезания» начала звука *с* (в то же время, если в слоге *ас* отрезать конец звука *с*, то нарушения восприятия не произойдет).

Более радикальным путем повышения пропускной способности канала связи явилось бы выделение минимальной информации, необходимой для различения единиц устной речи (например, фонем) и передача по каналу только этой минимальной информации. (При этом становится очевидной ведущая роль исследований по выяснению семантической нагрузки речевых единиц, прежде всего фонологических исследований.) Имеется в виду помещение на передающем конце линии связи анализирующего устройства, способного различать фонемы и превращающего их в последовательности дискретных сигналов, а на приемном конце — синтезирующего устройства, способного превращать воспринятые сигналы в звуки. Принципиально более сложным является создание различающего устройства. Одним из возможных вариантов такого устройства явилось бы устройство, способное определять фонетическую принадлежность звука по его спектрограмме.

Новый метод, отличающийся от обычно применяемого формантного анализа, предложила Л. А. Чистович в докладе «Применение статистических методов к определению фонетической принадлежности индивидуального гласного звука». Л. А. Чистович отказалась от поисков в спектрограмме инвариантов, которые позволили бы точно определить фонетическую принадлежность звука; ее идея состоит в том, что ответ на вопрос о фонетической принадлежности звука может быть дан не в категорической форме, а с определенной вероятностью. Рассматриваются огибающие спектрограмм разных звуков, произнесенных разными лицами. Для каждого звука производится усреднение этих огибающих (разных у разных лиц); так получается основная кривая для данного звука. Эта основная кривая рассматривается как сигнал, а реальная огибающая (для конкретного произносителя) как сигнал, искаженный некоторым шумом, внесенным произносителем. Чтобы определить фонетическую принадлежность конкретного произнесенного звука, вычерчивается огибающая его спектрограммы и определяются отклонения ее от основных кривых. При этом вычисляются вероятности того, что данная конкретная огибающая получилась искажением той или иной основной кривой или, что то же самое, того, что данный конкретный звук есть звук *а*, *о*, *у* и т. д. Метод Л. А. Чистович может быть без изменения применен и к определению фонетической принадлежности звуков связной речи с учетом влияния на их восприятие восприятия соседних звуков.

В докладе «Применение статистических методов в экспериментально-фонетическом и психологическом изучении речи» В. А. Артемов рассказал о работах, проводимых в Лаборатории экспериментальной фонетики МГПИИЯ.

Для техники телеграфной связи (проводной и непроводной) большое значение имеет статистическое исследование письменной речи, в частности вычисление энтропии распределения сочетаний букв. Как сообщили в своем докладе «Статистика трехбуквенных сочетаний русского печатного текста» В. А. Гармаш и Д. С. Лебедев, в Лаборатории по разработке научных проблем проводной связи АН СССР был произведен подсчет частот трехбуквенных сочетаний, встречающихся в отрывке из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» объемом в 30 000 букв (пропуск между словами также считается «буквой» и обозначается дефисом «-»). В докладе были приведены частоты некоторых сочетаний, причем наиболее частыми оказались сочетания «и-»

(частота $82 \cdot 10^{-4}$) и «-не» (частота $71 \cdot 10^{-4}$). Вычисление соответствующей энтропии показало, что подходящим кодированием трехбуквенных сочетаний объем текста может быть сокращен в среднем в $\frac{5}{3}$ раза.

Роль статистических методов в языкознании не определяется исключительно потребностями технических приложений. Доклад «Соотношение структурных и статистических методов в языкознании» сделал И. И. Ревзин, подчеркнувший, что было бы большой ошибкой недооценивать значение вероятностных и статистических соображений для развития самой лингвистической теории (хотя бы потому, что структура языка, по мнению докладчика, в значительной степени обусловлена избыточностью языка как кода; эта избыточность вызвана в свою очередь тем, что язык по необходимости должен быть помехоустойчивым). Как указал И. И. Ревзин, обычные лингвистические методы должны дополняться статистическими.

В докладе Ю. К. Лекомцева «Порядковые и функциональные отношения вьетнамского глагола» было показано, что во вьетнамском языке после выделения некоторых полнзначных глаголов служебные глаголы могут быть опознаны на основе чисто статистических подсчетов их сочетаемости с полнзначными.

Статистические методы с успехом применяются и для получения новых лингвистических результатов. Так, в докладе И. А. Мельчук «Применение статистики к вопросу о категории рода во французском и испанском языках» было доказано, что во французском языке грамматическая категория рода формально выражена окончанием существительного. При этом автор доклада выдвинул следующий статистический критерий выраженности категории рода: категория рода в данном языке считается выраженной, если существуют правила не слишком большого объема (не превосходящие, скажем, объема аналогичных правил для испанского языка, выраженность рода в котором не подвергается обычно сомнению), позволяющие узнавать род по окончанию существительного и охватывающие не менее 94% существительных рассматриваемого языка (соответствующие правила для испанского охватывают свыше 98%).

Как отмечалось на совещании, статистика может быть использована и в текстологии, для определения автора того или иного текста.

В докладе «Вероятностное определение лингвистического времени (в связи с проблемой применения статистических методов в сравнительно-историческом языкознании)» Вяч. Вс. Иванов продемонстрировал возможность применения статистических методов к внутренней реконструкции. Анализируя состояние языка в данный момент, можно установить направление лингвистического времени. Так, часто встречающиеся в текстах языковые единицы имеют тенденцию встречаться в последующем состоянии языка, если они обладают малой степенью изолированности в системе; если же эти часто встречающиеся единицы имеют высокую степень изолированности, то они характерны для предыдущих состояний. Частота встречаемости и степень изолированности определяют статистически. Другой способ реконструкции и предсказания связан со статистическим исследованием стилей языка. Родство языков наиболее достоверно определяется в терминах изоморфизма реконструируемых систем. Что же касается часто применяемых для установления степени родства языков подсчетов совпадений, то, как указал докладчик, здесь необходим тщательный вероятностный анализ (так как вероятность случайных совпадений может быть велика и, таким образом, наличие совпадений ни о чем не говорит).

И. И. Ревзин подчеркнул в своем докладе необходимость развития специальной отрасли языкознания — лингвистической статистики. Уже сейчас полученные в лингвистической статистике соотношения между такими величинами, как частота слова, его ранг (т. е. номер по порядку в частотном словаре), его длина и т. п., проливают свет на теоретико-информационную природу языка как кода. Об этом же говорил в докладе «Некоторые вопросы статистического обследования лексических групп» Р. Г. Пиотровский.

В докладе И. И. Ревзина был выяснен также двусторонний характер соотношения структурных и статистических методов. Не только статистика помогает лучше разобраться в структуре языка, но, в свою очередь, единицы, число которых подсчитывается, нуждаются в точном структурном определении. Так, по мнению автора доклада, недостатком глоттохронологии является отсутствие точного определения родственных слов. (В. В. Иванов в своем докладе указал на недостаточную мотивированность самого выбора базисного словаря.) Ясно, что статистическое исследование структуры слога невозможно без строгого определения понятия «слог» (в первой части доклада Е. В. Падучевой было дано такое определение испанского слога, которое, по-видимому, позволяет однозначно разбивать слово на слоги). Роль структурных категорий обнаруживается и при проведении статистических работ, имеющих непосредственное практическое приложение. Для создания оптимальных правил машинного перевода необходимо статистическое обследование языков отдельных наук. В докладе «О статистическом словаре русских математических текстов» И. А. Мельчук, Т. Н. Мошная, А. Л. Шумилина, З. М. Володка и И. Н. Шелимов в сообщении о результатах статистического обследования языка математической литературы;

при этом возникла необходимость четкого определения таких понятий, как «синтагма», «тип синтагмы», «связь слов в предложении» и т. п.

Совещание в Ленинграде, бесспорно, имело принципиальное значение, не ограниченное кругом вопросов, указанных в его названии. На совещании отчетливо выявились два обстоятельства:

1. Проникновение математических, в частности статистических, методов в языкознание, несомненно, плодотворно. Эти методы могут играть очень важную, но все же подчиненную роль при решении лингвистических проблем. Полностью формализовать реальный язык в виде некоей математической системы, по-видимому, никогда не удастся, однако можно ставить вопрос о тех или иных формализованных приближениях к реальному языку, причем расхождение между реальным языком и таким приближением должно оцениваться статистически.

2. Лингвистические исследования начинают приобретать все большее и большее практическое значение, не укладывающееся, как раньше, в рамки составления школьных грамматик и орфографических правил. Это не означает, что языкознание утрачивает свой теоретический профиль. Наоборот, с развитием техники оказывается, что наиболее тонкие теоретические построения наиболее важны для приложений. Положение дел в лингвистике можно сравнить в этом отношении с положением в математике, теоретические отрасли которой (такие, как математическая логика) приобрели в последнее время особое, прикладное значение.

Большим достоинством совещания явилось разнообразие представленных на нем специальностей, от радиотехники до физиологии. Совещание показало необходимость и дальнейшей координации деятельности представителей разных наук в области прикладной лингвистики.

В. А. Успенский

О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА

Летом 1956 г. Институт болгарского языка Болгарской Академии наук (БАН) совместно с Институтом славяноведения АН СССР начал работу по составлению атласа болгарских говоров, распространенных на территории Болгарии. (Атлас болгарских говоров на территории СССР уже завершен и находится в печати.)

Предварительно проф. С. Стойковым была составлена «Программа для сбора материала по болгарскому диалектологическому атласу», содержащая 379 вопросов (122 — по фонетике, 141 — по морфологии, 6 — по синтаксису и 110 — по лексике). Эта программа была подробно обсуждена осенью 1955 г. в Софии и весной 1956 г. в Москве.

Первая экспедиция под руководством проф. С. Стойкова и проф. С. В. Бернштейна работала в составе 28 человек в августе — сентябре 1956 г. Ею было обследовано 70 сел в Бургасской, Малкотырновской, Грудовской, Елховской, Поморийской и Поповградской околиях, — из них в 28 селах собран полный, а в 16 — частичный материал по «Программе» атласа.

В 1957 г. объем работы над атласом значительно расширился. В экспедиции, которая проводилась с 1 августа по 10 сентября, принял участие 51 человек: 9 сотрудников АН СССР, сотрудники БАН, преподаватели, аспиранты и студенты Софийского гос. университета. В ней участвовали также научные работники из ГДР, Румынии и Чехословакии. Было обследовано еще 93 села с исконным населением в Грудовской, Елховской, Тополовградской, Ямбольской, Харманлийской, Свиленградской, Хасковской и Ивайловградской околиях. Кроме того, были собраны сведения в ряде сел со смешанным населением.

В результате двух экспедиций был собран ценный материал, подтвердивший в основном известные в науке факты о юго-восточных болгарских говорах (см., например, Lj. Miličič, *Das Ostbulgarische*, Wien, 1903), но внесший в них известные коррективы и дополнения. В юго-западной части Елховской околии проходит западная граница так называемого грудовского, «загорского» *о*-говора, однако участники экспедиции обнаружили здесь ряд «рупских» особенностей, характерных для самого восточного из исследованных диалектов — страджанского. Большое разнообразие обнаружено в употреблении частицы будущего времени; все же достаточно четко вырисовываются три диалектные группы: страджанская (*ше, шь*; членная форма муж. рода — *ѣт*), грудовская (*ке, ки, кь*; членная форма муж. рода — *о*) и более западная группа от Тополовградской околии до Родопов (*зъ, жъ, жи*; членная форма муж. рода — *ъ*). Следует отметить, что *о*-говоры имели в прошлом глубокий тыл на юге, главным образом в Адрианопольской области. Ряд особенностей, зафиксированных в изученных говорах, свидетельствует о их связи с западноболгарскими и македонскими диалектами.

13 сентября 1957 г. в Софии состоялась диалектологическая конференция, на которой обсуждались методы и итоги проведенной работы, а также велась дискуссия в связи с предложенной проф. С. Стойковым Инструкцией по сбору материала для болгарского лингвистического атласа. В настоящее время проводится подготовка к следующей, третьей диалектологической экспедиции, намеченной на лето 1958 г.

Работа над «Болгарским диалектологическим атласом» будет проводиться в течение 10 лет, до 1965 г. Он будет состоять из двух томов: первый том — говоры Восточной Болгарии, второй том — говоры Западной Болгарии. Границей между двумя территориями является 25-й меридиан.

Ц. Младенов и К. Костов

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 11 по 15 сентября 1957 г. в Белграде (Югославия) состоялся I конгресс славистов Югославии. В конгрессе участвовало около 400 делегатов из народных республик Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, а также ряд иностранных ученых. Конгресс открыл президент Сербской Академии наук и председатель Югославского комитета славистов акад. А. Белич. Он отметил значительные достижения югославской славистики в послевоенный период, успешное развитие научных связей со славянскими странами в течение последних лет и активную подготовку в Югославии к предстоящему IV Международному съезду славистов (Москва, 1—10 сентября 1958 г.). Работа конгресса проходила в двух секциях — лингвистической и историко-литературной. На лингвистической секции были прочитаны доклады: проф. М. Стефанович (Белград) «О характере определения самостоятельных слов и о различии между ними»; проф. Т. Логар (Люблина) «Об утере номинальных окончаний в некоторых приморских говорах»; проф. Б. Конески (Скопье) «О развитии македонского литературного языка»; проф. Й. Франгеш (Загреб), проф. М. Павлович (Нови Сад), проф. Й. Вукович (Сараево) «Основы изучения языка и стиля наших писателей»; акад. А. Белич (Белград) «Значение западношотоавского диалекта для истории и диалектологии сербохорватского языка» (содокладчиком по той же теме выступил проф. М. Храсте из Загреба); проф. И. Безлай (Люблина) «Стратиграфия славян в свете ономастики». С докладом «Значение изучения метрики славянских языков» выступил на литературоведческой секции проф. К. Тараповский (Белград). Дискуссия на конгрессе была оживленной и плодотворной. Ряд важных и значительных проблем был поставлен на литературоведческой секции, где, в частности, обсуждался вопрос о сравнительном изучении славянских литератур (докладчик проф. Р. Лалич — Белград). В заключение было избрано новое правление Союза славистических обществ Югославии, постоянное пребывание которого переносится на два года из Белграда в Загреб. Председателем правления утвержден проф. М. Храсте, секретарем — проф. Л. Йонке; почетным председателем избран акад. А. Белич.

С 26 по 30 августа 1957 г. в Гейдельберге (Западная Германия) состоялся VII Конгресс Международной федерации современных языков и литератур, посвященный общей проблеме «стиля и формы в литературе». Работа конгресса проходила в основном в четырех секциях: 1) Принципиальные и методические вопросы; 2) Проблема стиля и формы в литературе до 1600 г.; 3) Проблема стиля и формы в литературе XVII и XVIII вв.; 4) Стиль и форма в современной литературе. Всего было прочитано более 70 докладов. Из них для лингвистов наибольший интерес представляли следующие доклады: по общим проблемам — проф. Г. Майер (Бонн) «Стилистический спитаксис и литературная интерпретация»; проф. Ж. Марузо (Париж) «Степень, природа и качество стилистической экспрессии»; проф. Д. Герхардт (Мюнстер) «Стиль и влияние»; проф. П. Губерина (Загреб) «Стилеграфия или стилематика — наука о стиле»; проф. Д. Чижевский (Гейдельберг) «Лексика и стиль»; по русской литературе — проф. А. В. Соловьев (Женева) «Влияние „высокого стиля“ в русской поэзии XIX в.»; Л. М. Радойс (Принстон) «Проблема стиля в русской литературной критике. 1850—1880»; проф. В. Леттенбауэр (Эрланген) «Стиль Л. Толстого в освещении русских формалистов»; проф. М. Маркович (Нанси) «Проблема стиля „Братьев Карамазовых“ Достоевского»; проф. Э. Ло-Гатто (Рим) «Проблема формы пушкинского „Онегина“»; проф. Г. Виссмапп (Тюбинген) «Структура и идейное содержание гоголевской „Шинели“»; Е. Кутайсова (Вирмингем) «Стиль как отражение социальных перемен — по произведениям А. Н. Толстого»; по французской литературе — проф. А. Ронкалья (Павия) «Стиль и структура канцоны трубадуров»; проф. Ф. Бар (Клермон-Ферран) «Стиль французского реалистического романа XVII в.»;

С. Вернио (Безансон) «Метод в стилистике — опыт применения к поэтическому творчеству Верлена»; проф. Ж. А. Вир (Ренн) «Различные виды стиля в современной французской трагедии»; по немецкой литературе — проф. Г. Кун (Мюнхен) «Стиль как проблема эпохи, жанра и художественной ценности в немецкой средневековой литературе»; проф. Э. А. Блэкол (Кембридж) «Язык бури и натиска»; проф. В. Рани (Бюрцбург) «Некоторые наблюдения над повествовательной формой в немецкой литературе около 1900 г.»; проф. Е. Алкер (Фрибург) «О влиянии переводов со скандинавских языков на стиль немецкой прозы после 1890 г.»; по английской литературе — проф. Л. Стивенсон (Дархэм) «Меридит и проблема стиля в романе»; проф. Дж. Дж. Линч (Калифорния) «Структурные элементы в романе Фильдингга „Том Джонс“»; по итальянской литературе — проф. Дж. Ди-Пино (Мессина) «Стиль стихотворений Боккаччо»; проф. В. Сантоли (Флоренция) «Да Молисе и литературная стилистика»; по чешской литературе — проф. Г. Г. Бильфельд (Берлин, ГДР) «Стиль чешских поэтических произведений XIII в.»; по японской литературе — проф. К. Хаяши (Киото) «Стиль и форма в современной японской литературе».

В Мюнхене (ФРГ) с 28 августа по 4 сентября 1957 г. проходил XXIV Международный конгресс востоковедов. В его работе приняло участие 1500 делегатов и множество гостей. Советскую делегацию, в составе 23 ученых, возглавлял директор Института востоковедения АН СССР академик АН Тадж. ССР, доктор историч. наук В. Г. Гафуров.

На заседаниях 14 секций конгресса было заслушано большое количество докладов по филологии и лингвистике. В ряде секций (например, индологии, тюркологии, семитологии, Центральной Азии и алтаистики) доклады на эти темы преобладали. Значительный интерес вызвали доклады известного востоковеда Г. Гутербока о народах и языках древней Малой Азии, голландского профессора Гонды о ведическом стихосложении, английского исследователя Гедда о недавно обнаруженной надписи вавилонского царя Набоида, французского ученого Э. Лароша о нерасшифрованных документах на хурритском языке из Рас-Шамры, проф. В. Рубеда (ГДР) по проблемам санскритской литературы и ряд других.

Весьма содержательными были доклады, сделанные учеными из стран Востока. Голшисе внимание участников конгресса привлекли доклады иранского ученого Саида Нафиси об изучении пехлевийского (среднеперсидского языка) в современном Иране, афганского исследователя Гафура Фархади о современной диалектологии, выступления ученых Египта, Турции и других стран.

Большой интерес вызвали доклады, сделанные членами советской делегации. Вопросы, связанные с проблемами лингвистики, текстологии и эпиграфики Востока, освещались в докладах: «Сравнительно-грамматический обзор хурритского и урартского языков» канд. историч. наук И. М. Дьяконова, «Достижения в области изучения урартской культуры» члена-корр. АН Арм. ССР В. Б. Пиотровского, «Изучение урартской эпиграфики и некоторые вопросы истории Урарту» доктора историч. наук Г. А. Меликишвили, «Ленинградская рукопись по истории халифов Ас-Сули» канд. филол. наук В. И. Беляева, «О турецкой рукописи летописного свода Ходжи Хуссейна „Бедаи ул-венан“» (из ленинградского собрания Института востоковедения АН СССР) канд. историч. наук А. С. Тверитиновой, «Об авторе „Шахиншах-наме“» академика АН Тадж. ССР А. Мирзоева, «Достижения советской науки в изучении проблем индийской филологии» канд. филол. наук Е. П. Чельшева и ряд других. По многим из этих докладов развернулись оживленные и плодотворные научные дискуссии.

На заключительном заседании конгресса было принято решение созвать очередной XXV Международный конгресс востоковедов в Ленинграде в 1960 г.

Летом 1956 г. экспедицией А. В. Ардиховского найдено одиннадцать новых берестяных грамот, автором которых, по предположению А. В. Ардиховского, был мальчик не старше шестилетнего возраста (об этом свидетельствуют рисунки, имеющиеся на семи грамотах). Грамоты содержат краткие записи бытового характера; записаны также азбука, склады, отрывки церковных песнопений. (См. подробнее А. В. Ардиховский, Берестяные грамоты мальчика Онфима, «Сов. археология», 1957, № 3.)

При Президиуме Верховного Совета Татарской АССР создана правительственная комиссия по усовершенствованию терминологии татарского языка. В состав комиссии вошли С. Г. Батыев (председатель), У. Ф. Бакиров, Г. Б. Ваширов, А. Г. Валиуллина, Г. Г. Галеев, Л. З. Залай, А. А. Исхаков, Ф. М. Махиянов, Г. М. Рябков, Х. У. Усманов, С. Г. Файзуллин, К. Ф. Фасеев, Г. Х. Хабиб, Х. Ф. Хайруллин, Д. С. Шакирзянов, А. Шамов, Л. Н. Яфаров.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Ученые записки [Башк. гос. пед. ин-та им. К. А. Тимирязева]. Серия филологическая, вып. VIII, № 2.— Уфа, 1956.

Ученые записки [Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина]. Т. II. Кафедра русского языка, вып. 5.— М., 1956.

Научные труды [Ерев. гос. ун-та им. В. М. Молотова]. Т. 57. Серия филол. наук, вып. 4, ч. II.— Ереван, Изд-во Ерев. ун-та, 1956.— На армянск. и русск. яз.

Наукові записки [Слов. держ. пед. ін-ту]. Т. I. Серія історико-філологічна, вып. 1.— Слов'янськ, 1956.

О. М. А с о е в. Сложные имена прилагательные и эквивалентные им словосочетания в современном французском языке. Автореф. канд. диссерт.— М., 1956. (Ин-т языкознания АН СССР).

А. Г. Г у л я м о в. Проблемы исторического словообразования узбекского языка. I. Аффикация. Ч. I. Словообразующие аффиксы имен. Автореф. докт. диссерт. (Ин-т языкознания АН СССР. Ин-т языка и литературы им. А. С. Пушкина АН Узб. ССР).— Ташкент, Изд-во АН Узб. ССР, 1955.

Л. Л. Г у м е ц к а я. Очерк словообразовательной системы украинского актового языка 14—15 ст. Автореф. докт. диссерт.— Киев — Львов, 1956. (Отд-ние обществ. наук АН УССР).

В. К. Ж у р а в л е в. Говор села Криничное. Автореф. канд. диссерт.— М., 1957. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

Г. М и х а и л э. Слова древнеславянского происхождения в румынском языке. Автореф. канд. диссерт.— М., 1957. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

Н. П. Р у д н е в а. Лексика романа А. И. Герцена «Кто виноват?» Автореф. канд. диссерт.— М., 1957. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Ročn. V.— Brno, 1956. (Řady archeologicko-klasické (E), č. 1).

Słownik polszczyzny XVI wieku. Zeszyt próbny.— Wrocław, Wyd-wo Pol. Acad. nauk, 1956. (In-t badań literackich Pol. Akad. nauk).

Slovník staročeský. Pracovní zásady a ukázky hesel.— Praha, 1956. (Ustav pro jazyk český Českoslov. Akad. věd).

Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae. T. II. Fasc. 1—4. 1956.

Cosmoglotta. Organ oficial del Interlingueunion, St. Gallen [Svissia]; № 195—1956; № 196—1957.

E. C o s e r i u. Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje.— Montevideo, 1954. (Un-d de la Republica. Fac-d de humanidades u ciencias. In-to de filologia — departamento de lingüística).

E. C o s e r i u. La geografía lingüística.— Montevideo, 1956. (Un-d de la republica. Fac-d de humanidades y ciencias. In-to de filologia — departamento de lingüística).

B. F e r r a r i o. Tres textos en lengua tsóneka.— Montevideo, 1956. (Un-d de la republica. Fac-d de humanidades y ciencias. In-to de filologia — departamento de lingüística).

A. G o m e n s o r o. John Dewey y la filosofía del lenguaje.— Montevideo, 1956. (Un-d de la republica. Fac-d de humanidades y ciencias. In-to de filología — departamento de lingüística).

R. J a k o b s o n and M. H a l l e. Fundamentals of language.— 's-Gravenhage, 1956.

A. L e i s c h n e r. Die Störungen der Schriftsprache. (Agraphie und Alexie).— Stuttgart, 1957.

F. P a p p. A szófajok meghatározásának kérdéséhez. (Az orosz nyelv anyaga alapján). Különlenvomat a Kossuth Lajos Tudományegyetem 1956. évi Actájából.— Debrecen, 1956. (A Debreceni, Kossuth Lajos tudományegyetem orosz nyelv — és irodalomtudományi intézetének, közleményei).

L. J. P i c c a r d o. Gramática y Enseñanza. Enseñanza secundaria In-to de prof. «Artigas».— Montevideo, 1956. (Apartado de los «Anales» del In-to, № 1, año 1).

F. S ł a w s k i. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I. A—J.— Kraków, 1952—1956. (Nakładem towarzystwa miłośników języka polskiego).

B. O. U n b e g a u n. Russian Grammar.— Oxford, 1957.

SOMMAIRE

Articles: P. I v i t c h (Novy Sad). Les tendances principales du développement du vocalisme serbo-croate; P. Y. S k o r i k (Léninegrad). Sur la classification des langues tchoukoto-kamtchates; **Discussions:** Matériaux au IV congrès international des slavistes; P. S. K o u z n e t z o v (Moscou). Sur les traits distinctifs des phonèmes; A. G r a u r (Bucarest). Le structuralisme et la linguistique marxiste; **De l'histoire de la linguistique:** N. S. T r o u b e t z k o i. Sur le problème indo-européen; **Communications et notices:** M. Ch. C h i r a l i e v (Baku). Sur la base dialectale de la langue nationale littéraire azerbaïdjane; N. I. D o u k e l s k i (Léninegrad). La méthode de transplantation des sons de discours en phonétique; D. E. I b a r r a G r a s s o (Bolivie). L'écriture hiéroglyphique des indiens—habitants des Andes; V. Z. P a n f i l o v (Léninegrad). Noms composés en nivkh et leur différence des groupes des mots (sur le problème du mot); V. G. A d m o n i (Léninegrad). Le caractère terminé des constructions — phénomène de forme syntactique; V. I. A b a y e v (Moscou). De l'histoire des mots. I; A. G. L y k o v (Krasnodar). A propos du suffixe agentif-*щик(-чик)* en russe; Z. Y. F o u t e r m a n (Kiev). Sur les pronoms réflexifs et emphatiques et les prétendus «verbes réflexifs» en anglais moderne; L. R. Z i n d e r (Léninegrad). Quelques remarques sur l'importance de la phonétique comparative; **Essais de traduction mécanique:** L. S. B a r k h o u d a r o v et G. V. K o l c h a n s k i (Moscou). Sur les possibilités de traduction mécanique; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** E. V. S é v o r t i a n e (Moscou). Au huitième congrès de la Société pour l'étude de la langue turque; N. Z. G a d j i e v a (Moscou). La conférence de coordination consacrée à l'étude de la grammaire des langues de l'URSS; V. A. O u s p e n s k i (Moscou). La conférence consacrée à la statistique de discours; Z. M l a d e n o v, K. K o s t o v (Sofia). Sur l'atlas dialectal de la langue bulgare.

CONTENTS

Articles: P. I v i t c h (Novy Sad). The main trends in the development of Serbo-Croatian vocalism; P. Y. S k o r i k (Leningrad). On the classification of the Chukchee-Kamchatkan languages; **Discussions:** Materials to the IV International congress of slavists; P. S. K u z n e t z o v (Moscow). On phonemic distinctive features; A. G r a u r (Bucarest). Structuralism and marxist linguistics; **From the history of linguistics:** N. S. T r u b e t z k o y. On the Indo-European problem; **Notes and queries:** M. Sh. S h i r a l i e v (Baku). On the dialectal basis of the Azerbaïdjan national literary language; N. I. D u k e l s k y (Leningrad). The method of transplanting the sounds of speech in phonetics; D. E. I b a r r a G r a s s o (Bolivia). The hieroglyphic writing of the Andes Indians; V. Z. P a n t i l o v (Leningrad). Compound nouns in the Nivkh language and their difference from word-combinations (in connection with the problem of the word); V. G. A d m o n i (Leningrad). The completeness of constructions as a phenomenon of syntactic form; V. I. A b a y e v (Moscow). From the history of words. I; A. G. L y k o v (Krasnodar). Some features of the agentive suffix -*щик(-чик)* in Russian; Z. Y. F u t e r m a n (Kiev). On the reflexive and emphatic pronouns and the so-called «reflexive verbs» in modern English; L. R. Z i n d e r (Leningrad). Some remarks on the importance of comparative phonetics; **Experiments in machine translation:** L. S. B a r k h u d a r o v and G. V. K o l s h a n s k y (Moscow). On the possibilities of machine translation; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** E. V. S e v o r t i a n (Moscow). At the eighth congress of the Society for the study of the Turkish language; N. Z. G a d j i e v a (Moscow). The coordination conference on grammatical problems of languages of the USSR; V. A. U s p e n s k y (Moscow). A conference on the statistics of speech; Z. M l a d e n o v and K. K o s t o v (Sofia). On the dialectal atlas of the Bulgarian language.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. П. Григорьев (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов
(и. о. зам. главного редактора), Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42